

И.А.
БУТЧИН

Иван Алексеевич Бунин

Том 4. Повести и рассказы 1912-1916

(Собрание сочинений в девяти томах #4)

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходявших в свет до сих пор.

В четвертый том собрания входят рассказы с 1912 по 1916 год: «Игнат», «Захар Воробьев», «Ермил», «Князь во князьях», «Последнее свидание», «Жертва», «Забобота», «Будни», «Личарда», «Последний день», «Всходы новые» и др.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Иван Алексеевич Бунин
Собрание сочинений в
деяти томах
Том 4. Повести и рассказы
1912-1916

Повести и рассказы 1912-1916

Игнат

I

Любка вторую зиму жила на барском дворе в Извалах, у господ Паниных, когда нанялся к ним в пастухи Игнат.

Ему шел двадцать первый год, ей двадцатый. Он был из бедного дома в Чесменке, одной из деревень, составляющих Извалы, она из такого же в Шатилове, что неподалеку от Извал. Но говорили, что она «полукровка», незаконная дочь шатиловского барина. Да и выросла она при господах. И поэтому, чем более волновала пастуха ее красота, тем более думал он о горничной, тем более робел. А чем более робел, тем чаще думал, тем сумрачнее и молчаливее становился.

В черных блестящих глазах Любки была какая-то ясность, откровенность. Ловко и спокойно крала она одеколон и мыло у барыни, седой вдовы, курившей тонкие душистые па-

пиросы. Иногда была она жива, наивна и казалась моложе своих лет, иногда — старше, все испытавшей женщиной. Да и груди были у нее как у женщины. А для Игната, еще не знавшего женщин, отношения между мужчинами и женщинами становились все страшнее и желаннее. Непроще, скрытнее его не было малого во всех Извалах. Даже едучи на розвальнях на гумно, за колосом для скотины, никогда не отвечал он прямо и сразу на вопрос: куда едешь? Избегая взгляда Любки, не поднимая угрюмых глаз, стыдясь своих лаптей, шапки и ошмыганного полушубка, он исподлобья следил за ней, и спокойное бесстыдство ее, смутно им понимаемое, было для него и жутко и пленительно.

Усиливали его любовь и барчуки.

Барчуки, — уже лечившийся на Кавказе офицер Алексей Кузьмич и Николай, все переходивший из одного учебного заведения в другое, — приезжали зимой только на большие праздники. В этом году на масленицу приехал сперва младший. И Любка была особенно оживлена, вид имела особенно откровенный, не будучи, впрочем, откровенной ни

с кем. Так и сияли ее неподвижные глаза, когда она, черноволосая, крепкая, с сизым румянцем на смуглых щеках, в зеленом шерстяном платье, во весь дух носилась то за тем, то за другим из людской к дому и от дома к людской, по темнеющей среди снежного двора тропинке. И за масленицу, за эти серые дни, слегка туманившие, делавшие тусклыми сосны и ели в палисаднике, слегка кружившие голову своим теплом и праздничным чадом из труб, Игнату не раз приходилось натывать на игру барчуков с Любкой.

Как-то в сумерки он видел: она выскочила из дома с злым, покрасневшимся лицом и растрепанными волосами. За ней, смеясь и что-то крича, выбежал на крыльцо, на тающий снег, Николай Кузьмич, приземистый, большеголовый, с тупым и властным профилем, в косоворотке из белого ластика и лакированных сапогах. А вечером Любка, веселая, запыхавшаяся, столкнулась в темных сенях людской с Игнатом.

— Разорвал баску и целый пузырь персидской сирени подарил, — неожиданно и быстро сказала она, задерживая бег. — Поню-

хай-ка, как от меня пахнет!

И через мгновение исчезла, а Игнат долго простоял на одном месте, тупо глядя в темноту; пахло кухней, предвесенней свежестью, собаками, глаза которых парными красноватыми изумрудами горели, двигались перед ним, он же слышал только дурманящий сладкий запах духов и еще более дурманящий запах волос, гвоздичной помады, шерстяного платья, пропотевшего под мышками...

Приехал офицер: худой, с карими острыми глазами, с длинным бледно-серым лицом в лиловых, припудренных прыщах. Тяжело, вся сотрясаясь, выбежала на крыльцо молочно-седая барыня, подвитая, наряженная, в туго стянутом корсете, замахала белым платочком на звон тройки, выносившей сани из-под горы. У крыльца кучер осадил тройку, и офицер заговорил быстро, не заботясь о том, слушают ли его; потом откинул полость саней размашисто, как у подъезда ресторана, на крыльцо взбежал, ловко и развязно притопывая раскоряченными, очень тонкими ногами в легких и блестящих сапожках, звеня серебряными шпорами и дергая, поправляя при-

поднятыми плечами широкую николаевскую шинель с бобровым стоячим воротником. Был канун прощенного дня. Масленица выпала поздняя, и порой казалось, что совсем одолевает зиму весна. С утра горело солнце, сияло голубое небо, сияли его отсветы на снегу, капали капли. Но после полудня стало хмуро, пронзительно-сыро, опять затуманившийся, тускло посиневший палисадник застыл в дремоте. Не обращая внимания на сырость и ветер, Любка в одном платье таскала из троечных саней какие-то кульки. И пастух следил за ней, за тем, как наклонялась она.

Он стоял на широком грязном крыльце людской, пропахнувшей блинным чадом. Крупные хлопья снега падали и таяли перед крыльцом в луже, по которой важно ходил только что прилетевший грач. Работник и кухарка, подоткнутая, в сапогах, вытащили большую лохань, продев в ее ушки палку. В лохани дымилась густая желтая овсянка. Борзые стаей кинулись к ней и, дрожа, горбясь, пропуская между ног судорожно изогнутые тугие хвосты, стали пожирать ее. Кухаркин мальчишка, в красной, праздничной рубаш-

ке, ворочал овсянку лопатой и бил то ту, то другую глухо рычавшую собаку. Уже были по двору лысины — чернела кое-где земля. Вытаскивая из лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, терлись по земле, потом гурьбой протянулись через двор к саду за домом. Рядом с красавицей Стрелкой, черноглазой борзой в атласной белой шерсти, шел большой рыжий кобель, дворовый, и, яростно скаля зубы, рыча, захлебываясь, не подпускал к ней никого из борзых. Томимый вождением, Игнат двинулся за собаками — посмотреть на их совокупление. Но в аллее они свернули, побежали по серому насту под ветвистыми яблонями куда-то в сторону. Игнат вышел в сад, в серое поле, на которое косо летели белые хлопья, снял шапку и достал из разорванного потного dna ее заветный двугривенный.

Мимо садового вала, по задворкам, он поплелся на деревню, черневшую обтаявшими избами на косогоре. Желтоватые, замасленные санями горбы сугробов, с гладко втертым в них конским навозом, и выбоины, полные студеной вешней воды, тянулись между изба-

ми и пуньками. Игнат стукнул в окошечко особенно черной и хилой избы, под стенкой которой, нахохлившись, дремали куры. Изнутри примкнуло к окошечку старое, желтое лицо. Игнат показал двугривенный. И, надернув на босые ноги старые валенки, с головой накрывшись полушубком, баба провела Игната через дорогу в холодную пахучую пуньку с железной дверкой и сунула в подставленный карман его растянувшихся порток четверть бутылки.

За пунькой, на скате косогора, покрытом зернистым снегом, он постоял, думая о Любке. Потом запрокинул голову и, не переводя духа, выпил все до капельки. И, пряча пустую посуду в карман, почувствовал, как горячо, хорошо пошла отравка по всему его телу. Он присел на корячки и стал ждать дурману; потом упал, хохоча, наслаждаясь тем, что пьян.

Очнувшись, он долго не мог понять, где он. Он стал маленьким, легким — промерз весь, насквозь. Дул сырой ветер, смеркалось, снег уже не падал. Со страхом вспомнив, что еще не привезено в дом соломы, — дом топили соломой, — Игнат каждый вечер набивал ею

задние крыльца, — он вскочил и побежал через деревню, потом через сад к господскому дому. Все чувства его были обострены, ветер особенно волновал их, — он был сладок, хотелось глотать его всей грудью. Игнат знал, что забыл веревку на дальнем крыльце, и, запыхавшись, шлепая лаптями по мокрому снегу, повернул из аллеи прямо к нему. В сумраке под навесом крыльца стоял кто-то, прижимал кого-то к стене и на шаги Игната повернул голову.

— Чего тебе? — крикнул он.

Это был офицер, его голос, его длинное бледное лицо, бобриком стриженная, узкая и длинная к затылку голова. За два пальца офицера, не пуская его руку, держала прижатая к стене Любка. Игнат, не сводя глаз с ее слабо белевшего в сумраке передника, отошел, постоял... Сумрачными, смутными клубами нависали над садом дождевые облака. Дул западный ветер — и была в нем пьянящая влажность, сила ранней весны, одолевающей зиму...

А на другой день одолела зима, еще гуще валил снег, к вечеру поля потерялись в тумане...

не вьюги. Барыня уехала к соседке. Офицер, звеня шпорами, вышел на крыльцо, закричал через двор, чтобы запрягали в бегунки Королька, и, наклонясь к сидевшим на крыльце собакам, на спинах и лбах которых снег лежал толстым слоем, стал сладострастно трясти то ту, то другую за ушами и сквозь зубы приговаривать: «А-а, та, та, та, та!» Любка обошла его с блюдом жареной наваги, понесла блюдо в людскую. Он покосился и забормотал еще сладострастнее:

— А-а, собаки, собакаки, собачики!

Был прощенный день. Из-под горы, с реки, глухо доносились голоса, песни, громыхание бубенчиков, звон колокольников: лавочник, сапожник, урядник, мужики — все катались со своими гостями, с барышнями, девками, сватами. Когда Королька запрягли, офицер, в серой ловкой шинельке и папахе, вытащил на крыльцо хохочущую нарумяненную Любку. На ней была шубка с воротником из орехового меха, зеленое платье свое она подобрала, подоткнула. Голова ее была закутана серой талью, она гнула голову, смеясь, упираясь, сходя с крыльца мелкими, тупыми шажками.

Игнат, подав золотисто-рыжего жеребчика, держал его под уздцы, и жеребчик зло и умно косил большим блестяще-лиловым яблоком на офицера, на его шелковый шарфик, красневший из ворота шинели, вокруг тонкой шеи, покрытой зажившими, стянувшимися следами прыщей. А Игнат все глядел на белый подол Любки, на ее грубые полсапожки, намазанные салом, к которому не прилипал мокрый снег...

Потом он тащился на розвальнях к гумну. И Королек, екая и злясь, стучая ледяными глудками в передок, фыркая от свежего снега, летевшего ему навстречу, в горячие ноздри, обогнал, обдал дыханьем и стал пропадать вместе с бегунками в дыму вьюги, весело и сумрачно разыгравшейся в мутно-сизом поле. Снег хлопьями валил на сытую спину Королька, на папаху, на погоны, на блестящий сапожок со шпорой, крепко поставленный на железный отвод. Левой рукой в замшевой перчатке держал офицер голубые вожжи. Другой захватил голову в серой шали и припал к ней папахой...

И твердо решил Игнат променять работни-

ку Яшке свою гармонию, единственное свое богатство, на старые сапоги. Навозив соломы, он пошел на улицу, к толпе, что сбилась и смутно темнела среди ночной вьюги под застрехой крайней избы, на выгоне перед церковью. Там ловко и бешено перебивали друг друга две гармони, заглушаемые песнями и ветром, кружились в дыму поземки, носились, как ведьмы, пляшущие девки. Все были беззаботны, счастливы, один он несчастен!

II

Великий пост был серый, однообразный.

День за днем дул жесткий ветер, бледно белели поля, тускло синели, скучно напевали сосны и ели в палисаднике, слишком рано прилетевшие грачи куда-то скрылись. Офицер давно уехал. Но Николай Кузьмич зажился. Раз подъехал Игнат на розвальнях к заднему крыльцу дома. Розвальни зашуршали висящей на них старновкой по ступенькам крыльца, и барчук, игравший с Любкой, смеясь, поднялся с соломы. Любка, поправляя волосы, глядела спокойно.

— Вот вы так-то играете, — сказала она, — а по селу пойдут брехать... Хоть бы ты, Игнат,

меня замуж взял, — прибавила! она, тоже вставая.

Игнат покраснел и насупился. Ни малейшего значения не придал он ее словам, но с этого дня шевельнулась и стала расти в нем ревность, злоба. Косясь на дом, с завистью чувствуя его внутреннюю жизнь, он проезжал на розвальнях по аллее, выезжал на гумно. Собаки пегой стаей, трясясь, бежали за ним. В остатках ометов возились и пищали мыши. Собаки рыли солому, принюхивались, настораживались, еще яростнее рвали ее когтями, дрожа и скуля, и вдруг, подпрыгнув, кидались на добычу хищно и метко. Женственно красивую, с маслянистыми черными глазами Стрелку Игнат заманивал в ригу. Она вбегала, он с бьющимся сердцем припирал скрипучие ворота. Холодно пахло током, тепло — ржаным колосом. В сумрак огромного трехугольника, по застрехам, по решетнику и переметам которого серела густая бархатная пыль летней молотьбы, пробивался в длинную щель ворот холодный, бледный свет. Ветер шуршал за ними, дул по току...

В ясный солнечный день на третьей неде-

ле уехал и Николай Кузьмич. Внезапно вернулась весна. Крыши варка, сарая за одни сутки обтаяли, старая, бурая солома их золотилась против солнца, резко отделялась от голубого, умиляющего душу неба. Выпустили плюшевых, обросших за зиму жеребят и коров, они дремали, грелись на солнце. Резко, серебром сверкал сочащийся снег по двору. У парадного крыльца, в тени, возле синей лужи, стояла тройка. Отражались на луже и небо, и белый передник Любки. Вышел Николай Кузьмич в накинутой поверх поддевки енотовой шубе, вышла барыня. Долго прощались, долго, обращиваясь, кричал что-то уезжавший, когда тронулись и потянулись сани по ухабистой, текущей дрожащими ручейками дороге, по выступившему, накопившемуся за зиму навозу, похожему на мокрый табак. Где блестела вода по ухабам, лошади, тонконогие, с подрезанными хвостами, взмахивали особенно щеголевато точно вычищенной сталью подков. На солнце грело, много галок собралось на соснах и елях палисадника, зазеленевшего пышно и свежо. А в тени чувствовался северный резкий ветерок. Стоя на парадном

крыльце, Любка озябла, щеки ее посизели. Сани скрылись под горой, она напевала задумчиво, чуть слышно: «Мчится парочка вдвоем...» Потом вбежала в дом — и немного погодя выскочила на заднее крыльцо. Игнат, проходивший мимо, вдруг повернул к крыльцу. Она тупо, со страхом, не двигаясь, глядела на него. Игнат подошел вплотную и схватил ее за кисти. И оба смутились, не зная, что сказать, что делать дальше. Вдруг Любка нахмурилась и, вырвав руки, повернулась и хлопнула дверью.

Сад казался особенно редким на серебре снега, испещренным фиолетовыми тенями, аллея — веселой, широкой. И опять нахмуренный, злой, Игнат пошел по ней на деревню, к бабке-шинкарке. И опять очнулся перед вечером на скате в лужок, насквозь промерзший, изумленный. Небо из-под горы казалось необъятно-огромным и новым.

— Не пара она мне, — твердо и мрачно, вслух сказал Игнат, поднимаясь. — Пропал я.

Прошел пост, прошла Святая. Снега уже нигде, кроме оврагов, не было, в деревнях опушились легкой лимонной дымкой лози-

ны; вокруг деревень лилово чернели пашни, грело солнце, дрожало расплавленное стекло по горизонтам, пели жаворонки. Молодая пахучая травка чуть пробилась. Но Игнат уже ходил за стадом в поля, к милютинскому леску, еще голому, полному сухой дубовой листвы и подснежников. Коровы дремали на припеке, у опушки, и галки садились на них, дергали шерсть для своих гнезд. Игнат навивал кнут, лениво посматривал в солнечную даль, на дороги, где уже лежала пыль, радостно напоминавшая о лете, и загорал от солнца, от апрельского суховея.

Когда были деньги, он был счастлив. В поле, выбрав местечко посуше, он расстилал свой рваный пиджак, ставил на него бутылку, вытаскивал из кармана хлеб, заранее посоленный и отсыревший, холодные картошки. Вскоре голова его начинала кружиться. Солнечный южный горизонт за сереющими равнинами дрожал, тонко струился пар, чуть синевший на солнце над спекшимися кучами навоза, раскинутого по полю, коровы двойлись и плыли... Странно, — он все-таки чего-то ждал! Хмельной, он чувствовал это, чув-

ствовав, что связалась его жизнь с жизнью Любки, на беду связалась! Что-то придется сделать, чтобы покорить ее, чтобы стать равным с нею, чтобы вызвать ее любовь. Иначе, если он даже добьется своего, не будет она мужика любить... А весна требовала любви. Плывя, дрожа, опиралась на колени передних ног, потом неуклюже поднимала зад одна корова, другая, третья... Поднимался большой мышастый бык, широколобый, с гладким хвостом, на конце которого висел шелковисто-волнистый мохор, тяжело бежал, мотая нитями стекловидных слюней, — и вдруг, весь наливаясь мощью, вставал на дыбы... У Игната заходило сердце. Он опрокидывался навзничь, на сухие, черные шмоты навозной кучи. Он закрывал глаза, слезы выкатывались из-под его ресниц, он не стирал слез, и мухи пили их... Потом он крепко засыпал и спал до тех пор, пока дошедшее до зенита солнце не начинало печь его голову и плечи. Пригнав стадо домой, он молча обедал в людской и уходил спать в каретный сарай, где у каменной стены была сбита из кольев высокая кровать, покрытая соломой и клоками по-

поны. После сна он бывал зол и, выгоняя стадо, так драл коров своим длинным хлопающим кнутом, что на боках их вздувались рубцы.

Однажды, в мае, когда лесок уже густо опушился темной зеленью, зарос цветами и травами, когда рано утром уже полетному было жарко на солнечных полянах, а в росистой тени свежо и таились ландыши, увидал он, пригнав стадо на пар, сидящую на опушке бабу. Это была нищая, дурочка Фиона. Положив возле себя мешок и палку, она сидела, слегка раскрыв рот, вся в лохмотьях, с мокрым подолом, с блестящими глазами на опухшем лице. Она была пьяна. Когда Игнат подошел, она с гоготом, сдержанно-страстным, повалилась навзничь, выставила колени и стала тереть большими лаптями по росистой траве. В мешке ее были крендели, водка. И, выпив, Игнат не совладал с собой...

С этих пор дурочка стала приходить к нему чуть не каждый день. До солнца, по холодной крупной росе он выгонял стадо. В полдень напивался. Теперь пили уже на его деньги. Он забрал жалованье за месяц вперед. Но

и его деньги наконец иссякли. И дурочка стала зла, нахальна, требовательна, дурочкой уже не притворялась. Когда он являлся без водки, она отказывала ему, морила его по неделе. И раз даже крепко и ловко ударила его по голове палкой. Он поднялся и пошел прочь, странно, неумело рыдая. А наплакавшись, сел на межу и тупо стал думать все о том же, о чем он думал теперь беспрестанно: где бы достать денег? Но достать было негде, украсть — тоже. Сапоги он пропил...

Вся дворня знала его историю, за обедом и ужином над ним часто хохотали. Он багровел и молчал. Что было бы, будь Любка при этом? Но на счастье его, барчуки не приезжали, слышно было, что Николай Кузьмич у товарища под Харьковом, офицер — на маневрах под Смоленском. А барыня уехала на шесть недель в Липецк и увезла с собой Любку. В усадьбе было тихо и скучно. Да и дурочка стала являться все реже и реже — шаталась по ярмаркам. И вот лето пошло уже к концу — жаркое, длинное. Обмелела речка, дочерна выглодала скотина корма, хлеба поспели, пересохли и сыпались. Пошли косить их, — был

уже конец июля. В конце июля, возвращаясь однажды на закате со стадом в село, Игнат встретился с дурочкой. Она остановилась и показала на лесок.

— Как отделаюсь, так приду, — сказал он, не поднимая глаз.

Но как идти без водки? В унынии стоял он у ворот усадьбы, смотрел на закат. По дороге, наискось пролежавшей по горе, ехали с косьбы и вязки мужики и бабы на пыльных телегах; из телег торчали перевясла, косы и грабли. Малиновое, без лучей солнце село огромным кругом в сизую сухую муть за рекой, за полями, уже покрытыми звеньями копен. Игнат вышел из ворот, повернул на выгон, потом мимо сада, к гумну. Впереди него мелко перебирала босыми ножками по пыли очень грязная и кудрявая девочка. Перегнувшись налево, она правой рукой тащила дегтярницу, облитую красно-коричневым дегтем. Игнат ускорил шаг, догнал ее, оглянулся — и схватил ее за левый кулачок, в котором были зажаты деньги. Глаза ее стали круглыми от ужаса, личико исказилось, она заголосила и, с силой зверька, стиснула кулачок. Игнат схва-

тил ее за горло и повалил на дорогу. Девочка захрипела и распустила пальчики. Игнат выгреб из ее ладони деньги — тридцать копеек.

Купив водки, он пошел прямо к лесу. Справа было жнивье, чуть белеющее в сумраке поле, покрытое копнами. Слева, с тускло чернеющих пашен, с равнины, дул теплый ветер. Впереди, над темной каймой леса, поднимался большой красный Марс. И пастух остановился. Он вдруг вспомнил, что нынче должна приехать барыня, что за ней послали тройку и подводу для вещей. И тотчас же, задержав дыхание, услышал далекий звон колокольчиков.

Казалось ему летом, что минует его то неизбежное, что должно быть. Но теперь он почувствовал, что нет, не бывать тому — не минует. Оно уже близилось, росло, надвигалось... И, постояв, он двинулся вперед.

У перекрестка его оглушила звоном, топотом копыт и обдала пылью тройка. Он, сойдя с дороги, пропустил ее и опять пошел. Вдали слышался глухой грохот телеги. Он делался все явственней. И через минуту увидел Игнат на тусклом звездном небе дугу, лошадь, а за

лошадью — сидящую в телеге Любку. Она была лошадь вожжами и тряслась, прыгала, неслась прямо на него.

— Садись, подвезу! — крикнула она весело, сразу признав его в сумраке.

Он повернулся, догнал нагруженную чемоданами телегу, на бегу боком вскочил на грядку...

Что говорила Любка, он не запомнил. Запомнил только первые, ударившие его по сердцу слова, которые она звонко и ласково выкрикнула сквозь грохот телеги:

— Что ж, очень соскучился по мне?

Запомнил только тот момент, когда он вдруг схватил вожжи и, осадив лошадь, перекинул ноги в телегу.

— Постой, — шепотом сказала Любка, но так просто, точно они жили уже много лет, и от этой простоты у него еще больше помутилось в голове, — постой, юбку изомнешь... Дай хоть поправить-то...

III

Прошло четыре года. Стоял декабрь. Игнат, отбив солдатчину, возвращался из города Василькова на родину.

С женой он жил всего три месяца. Вскоре после той июльской ночи, в которую так неожиданно переломилась вся его судьба, Любка почувствовала себя беременной — и никогда не покидала его злая мысль, что только поэтому вышла она за него. Она говорила, что любит его, устроила его отца, большого старика, на барском дворе скотником; одела и снарядила его в дорогу, провожала со слезами. Он жестоко избил ее, гуляя, куражась рекрутом, вымещая барчуков. Она от побоев скинула, но перенесла их как должное. Когда его угнали в Васильков, она часто посылала ему вместе с письмами деньги, письма писала ласковые, обращалась к нему на вы. Но он не верил ни единому слову ее, жил в тоске, в непрестанной муке, в ревности, в изобретении самых жестоких наказаний за предполагаемые измены.

Едучи на побывку два года тому назад, он всю дорогу думал, что убьет ее, ежели узнает что плохое. Приехав и наведя справки на своей станции, он узнал, что Любка не отказывала только ленивому. Но она встретила его так радостно, разуверила в слухах так искренно и

просто, что у него руки опустились. А чтобы и совсем успокоить его, заявила, что бросает место на барском дворе и переселяется в избу, — будет ждать его дома, будет шить на машинке и тем кормиться. И он уехал унылый и сбитый с толку. Уныл, молчалив был он и на службе, но исполнительен, исправен и бережлив: копил деньги, взятки с молодых солдат. Все еще жила в нем надежда сравняться с Любкой, стать достойным ее настоящей, а не притворной любви. Но вдруг письма от нее перестали приходить. Он писал чуть не каждую неделю — ответа не было. Он грозил, молил — она молчала. Он опять стал пьянствовать — и отупел, измучился. Все же, отслужив свой срок, он ехал в Извалы. Он очень изменился. Теперь он был сух, довольно высок и ладен. Оловянные глаза его стали больше, лицо посерело и казалось еще худее от блестящих после бритья мослаков около оттопыренных круглых ушей. Красноватые усы он стриг щеткой, голову — бобриком, и кожа просвечивала в его коротких стальных волосах. От Киева до Орла он неподвижно сидел в вагоне возле своего грубо разделанного под орех сун-

дучка с привязанными к нему сапогами и чайником, не снимал ни фуражки, ни грубой серо-рыжей шинели, натиравшей шею, смотрел в пол и грыз подсолнухи. От Орла он стал тревожиться, выходить на станциях к буфету. На вокзале в своем городе он неожиданно встретился с бывшим товарищем по службе, выпил, оставил сундучок у сторожа, и товарищ вывел его на вокзальное крыльцо, нанял извозчика-старика, и старик во весь дух треногой кобылы помчал их, возбужденных, куривших папиросу за папиросой, в город. Проехали они прямо в слободу — и там Игнат почти сутки не расставался с маленькой, коротконогой, пожилой, с черными сухими волосами и сильно напудренной брюнеткой, курившей еще жаднее его. Очнулся же он в поле, возле слободы — и с трудом вспомнил, что его тяжко били, выталкивая. Был мягкий белый день, шел снежок и застревал в складках его шинели. Он встал, шатаясь, чувствуя себя больным, точно отравленным...

Ехать до Извал пришлось в вагоне товарного поезда, вместе с сидящими от жира на задах заводскими свиньями. Свиней везли бо-

гатуму помещику на племя, провожал их дряхлый садовник помещика, чистый и тихий, бывший дворовый. Но, кроме него, Игната и свиней, ехал в товарном вагоне еще еврей, серо-седой, кудрявый, большеголовый и бородатый, в очках, в полуцилиндре, в длинном, до пят, пальто, местами еще синем, а местами уже голубом, с очень низкими карманами. Он все время молчал, был задумчиво-озабочен, ныл какой-то напев и пил чай. Садовник дремал. Свиньи сидели на задах в деревянной загородке, покрытые серыми попонами с вензелями и коронами. Смеркалось, ветер с снегом дул в отворенную дверь и задира л мокрую солому под свиньями. Плыли мутно-белые поля, темневшие кустарники, медленно курившиеся дымом, падавшим на них с паровоза. И тяжелая, неразрешимая тоска давила Игната. Сдвинув брови, стиснув зубы, играя мослаками, он стоял у двери, грыз подсолнухи и косился на еврея. Еврей сидел на опрокинутом ящичке, держал в большой, покрытой крупными лиловыми жилами руке стакан чаю. Шелуха подсолнухов летела по ветру, попала в чай. Еврей долго, с раздраже-

нием смотрел сквозь очки на Игната. Игнат ждал, что скажет еврей, чтобы ударить его после первых же слов сапогом в грудь. Но еврей ничего не сказал; только приподнялся и вылил чай нарочно возле самых ног Игната, возле его плоских и широких казенных сапог.

На станции попутчиков до села не оказалось. И пришлось сидеть, ждать, не навернется ли кто случайно.

Оледенели его руки, помутилась голова, когда, в половине одиннадцатого, медленно надвинулся на него такой знакомый, такой особенный вокзал с его народом и освещенными окнами. Только что ушел пассажирский поезд. В зале третьего класса, холодном, полутемном, тусклом от дыма и потном от дыхания, нужно было пробиваться плечом — так много толпилось в нем на мокром полу мужиков. Двери поминутно с визгом отворялись, хлопали — свежий, легкий морозный воздух, врываясь в угрюмый, вонючий зал, волновал клубы белого пара над ведерным самоваром в буфете. Из отворенной, ярко и горячо освещенной конторы, где были касса и телеграф, не смолкая ни на секунду, дребез-

жал и звенел какой-то звонок, как будто кто завел и забыл остановить будильник. И от многолюдства, от этого звонка у Игната ломило в темени.

Расспрашивал он, нет ли попутчиков, тупо ходил как лунатик, но все видел и замечал с необыкновенной зоркостью. Толпа армяков и полушубков редела. Игнат вышел на крыльцо, посмотрел, сторонясь, пропуская мимо себя выходящих и разговаривающих, на лошадей, на сани, на мутно-лунное небо, выкурил сигарку, глубоко вдыхая вместе с дымом сладкий зимний деревенский воздух, и вернулся за своим сундучком. Уже буфетчик постепенно, по порядку, с края, убирал со стойки апельсины, папиросы, тарелки с колбасами, потный кусок сыра. Начальник станции под руку провел большую старуху-помещицу в шубе, опиравшуюся на костыль. В отворенную дверь видна была бледная, но светлая лунная ночь, деревья в инее. Лошади, стоявшие у крыльца, встряхивались, бормотали глухарями. Потом глухари загромыхали все сразу, заскрипел снег под полозьями... В зале осталась только баба в новом оранжевом по-

лушубке, неподвижно сидевшая на длинном деревянном диване у стены, на котором стоял сундучок Игната. Задом подойдя к дивану, Игнат присел, взвалил сундучок себе на спину, подсунув левое плечо в его ремень, и, думая о той весне, когда он жил с дурочкой, а был беззаботен, свободен, сладко напивался, закусывая холодными картошками, вышел из вокзала.

Шагал он твердо, ровно и споро, повизгивая по снегу сапогами; светлая снежная ночь была вокруг него. В поле было пусто, мертво и тихо, луна крылась за легкими облаками, дорога чуть темнела... И от своих смутных дум очнулся он уже в Извалах, почувствовав, что вошел в большую, просторно раскинутую и давно спящую деревню. Ни одного огня не было в занесенных снегом избах. Слабые тени лежали на большой дороге от водовозок и пунек. Еще тише как будто стало, воздух — еще слаще и пахучее. По дворам уже пели петухи.

Возле своей пустой избы, на краю деревни, над оврагом, он постоял, не зная, что дальше делать. Маленькая, она была наполовину занесена метелями. Дверь на замке, одно окно

забито дощечками. Острый сугроб, покрытый следом лаптей, поднимался возле дырявых ворот во двор, переходил через них. Игнат пошел по следу, заглянул внутрь двора. В раскрытой закутке неприятно ночевала чья-то телушка...

Невдалеке, в избе Марей, светился низкий огонек — из окошечка, почти сравнявшегося с высокой снежной улицей. Он заглянул в окошечко. Чуть не всю избу занимал стан. Немая, с тугим румяным лицом девка ткала кросна, гремела станом. Игнат стукнул. Девка взглянула со страхом и удивлением. Он вошел в избу. Девка дергала оборку торчавшего с печи лаптя, будя отца. Он долго не откликнулся, только откашливался. Потом стал слезать — задом, ища лаптем печурку. Слез и по стене, стараясь не наступать на одну, видно, больную ногу, дошел до скамейки возле стола. Бородатый, лохматый, с выпуклыми кровянистыми глазами и хрипучим голосом, вид он имел шальной. Игнат поставил сундук у двери, сел к столу. Девка, поджав руки, стояла у печки. А Марей, попросив закурить, затягиваясь так, что дымилась вся его борода, гово-

рил:

— Хозяйку твою видал... Видал, как же... Из церкви шла... Дома жить не пожелала, все у господ... Их давно нетути, в Москве, говорят, она приказчика согнала, всем сама правит, в барском доме живет... Не по закону живет, не по закону... любовника имеет...

— Знаю, знаю, — сказал Игнат, что-то думая.

— Известно, знаешь... Ну, потращаешь — бросит. Потращать можно... Не пара, значит, оказалась она тебе...

— Я сундук у тебя пока оставлю, — сказал Игнат, не поднимая глаз.

— Это можно... оставь... Оставить можно, — согласился Марей.

И на порог вышел проводить Игната. Морозило, ясно. Темно синяя в вышине, меж облаков, расчищалось небо. Месяц, яркий, полный, выкатывался на простор, косая белая туча с оранжевым полукругом, падавшим на нее от месяца, сдвигалась к горизонту, к северу. Тени от водовозок стали резче, улица заискрилась.

— Зима обозначается, — хрипло сказал Ма-

рей, высовывая голову из низкой двери темных сенец на светлую улицу.

И опять твердым шагом пошел Игнат, не поворачивая завязанной башлыком шеи. Пройдя версты две по деревням, выйдя на луг, на дорогу в гору, он увидел на горе знакомую усадьбу, темный палисадник во дворе и четыре освещенных окна за ним. Но пошел он к нижнему саду, спускавшемуся по горе от усадьбы до самого луга, перешел по плотине занесенной снегом сажалки, направляясь к длинной и мрачной бревенчатой избе скотного двора, черневшего в глубине сада, под вековыми деревьями. Небо над ними было синее, бездонное, с редкими крупными звездами. Месяц катился в вышине справа. Впереди, среди света и теней, то садясь на задние лапки и поднимая торчком уши, то делая короткие прыжки, двигался заяц, пробираясь на золотую поляну за сажалкой. Красно-золотой звездой казался огонь в небе под деревьями...

Почему не спал, почему так пристально посмотрел на Игната тот бледно-голубой лицом, беловолосый, длинноголовый пастушок, что отворил дверь этой большой, очень

теплой избы? Над столом привешена была к ее блестящему, как каменный уголь, потолку лампочка. В переднем углу — Николай-угольник в малиновом одеянии, с фиолетовой бородой. Коростовая свинка ходила по липкому земляному полу, хрустела, катала что-то по зубам. В загородке возле печи стояли телята, коричневые и желто-белые. Они не спали, клали морды с широкими, нежными, влажно-розовыми ноздрями на загородку, смотрели ясными глазами. Отдавало от них запахом мокрой коровьей шерсти, молоком парным, каким-то утробным теплом, — и долго вспоминал потом Игнат этот запах, простой, успокаивающий, а вслед за ним — старика-отца. На кровати возле загородки сидел он, спустив бледные волосатые ноги в узких синих портках, лысеющий со лба, худой, как скелет, и положив большие руки на колени, важно закрыв слепые глаза, шептал что-то.

— Он у нас сумасшедший, — тихо сказал пастушонок, пристально глядя на Игната. — Дюже стар стал.

И, услышав его голос, чувствуя чье-то присутствие, еще выше, важнее и печальнее от-

кинул старик голову, свой тонкий, горбившийся от худобы нос.

— Бог благословит, бог благословит, — побормотал он. Обнажив стриженую, в стенках башлыка, голову, но забыв поздороваться с отцом, Игнат спросил мальчика:

— Любовь в доме?

— В доме, в доме, — поспешно отозвался тот. — К ней купец приехал.

Игнат надел фуражку, вышел из избы и пологой горой, через фруктовый сад, по заячьим тропинкам среди яблонь и светлых полян, испещренных тенями, быстро дошел до калитки на барский двор, откинул ее и, согнувшись, утопая в снегу, перебежал в зеленоватый сумрак палисадника. И тотчас же за маленьким окном прихожей увидел жену. Но в доме вдруг глухо залаяла собака. Он отскочил — и застыл, замер, прижавшись к стене.

IV

Поставив в темных сенях самовар, Любка сидела в прихожей с перегородкой, выбеленной мелом, штопала чулок у стеаринового огарка, горевшего в медном подсвечнике на подоконнике. Полной казалась теперь эта

красивая черноглазая женщина в красной кофте, с мягкими грудями, в белом платочке, под который уходил среди черных волос широкий пробор.

Две большие тени, одна лилово-темная, другая светлее, падали от нее на перегородку, поднимались на потолок. Когда подошел под окно Игнат, она, задумчиво склонив голову набок, поглядела на заштопанную пятку чулка и вынула из него старинную серебряную суповую ложку. Белый, в коричневых пятнах пойнтер, спавший в зале в углу, на репсовой каретной подушке, вдруг басом брехнул, вскочил и с гремящим лаем, стуча ногтями по паркету, побежал к прихожей. Любка живо и серьезно взглянула на дверь в зал. Потом, загородки ладонью щеку от огня, прильнула к стеклу.

— Кто там? — сказала она громко, с хозяйственной строгостью, но тревожно, отдирая сперва одну, потом другую примерзшую форточку и заглядывая в открывшийся, пустой, полный легкого морозного воздуха, квадрат.

Светлая ночь, все звончеющая над мертвой белой окрестностью, над давно спящими

деревнями, над застывшей в молчании усадьбой, над живописными и неподвижными под звездным небом садами, крепла, достигала своей высшей красоты и силы. Пятна света на снегу в сумраке палисадника горели зелено. Месяца Любке не было видно, — только подняв голову, увидела она сквозь ветви сосен его зеркальный крут. За стволами их просторно белел светлый двор, и свежая колея, прорезанная по нем санками купца, розово сверкала. Любка, приглядываясь, сдвинула пьявки черных бровей. Но только на мгновение смутной тревогой дошло до нее в этой полночной тишине присутствие человека, так близко от нее прижавшегося к стене. Она подождала ответа, захлопнула фортки и пошла в зал накрывать на стол.

В прохладном большом зале было сдвинуто много мебели, много стульев и старинных кресел. У той стены, где была дверь в прихожую, стоял рояль. Высокие двери в гостиную были заперты. Стол у стены против окон освещала на цепях спускавшаяся с потолка лампа.

Проезжавший из города в купленный на сруб милютинский лесок и ночевавший в

усадыбе купец был невысокий, тяжелый человек в черной бороде с бурым подседом и с черными косыми глазками. Расстегнув верхние крючки сизого, очень полного и вонючего романовского полушубка, отвернув на груди пышную дымчатую овчину, он, мягко ступая черными поярковыми валенками, бродил по залу, рассматривал мебель, шифоньерки, бронзового коня под стеклянным колпаком на подзеркальнике. Вскочив, басом забрехал пойнтер, — и он с легкой улыбкой удивления и удовольствия послушал, как отдалось в пустом доме и зазвенели медные струны рояля; он приподнял его крышку, попробовал безымянным пальцем в разных местах клавиши...

— Хорошо у вас тут, тихо, — сказал он входившей и выходившей Любке.

— Скучно, — ответила Любка, чуть усмехнувшись.

Она накрыла стол, принесла вазочку с зеленым вареньем, солонку, в которой соль была перемешана с крошками хлеба, тарелку с куском солонины, радужно-ржавой, в застывшем жире, похожем на вату, и бутылку водки с матовым от мороза налетом на стекле.

— А ты бы забаву какую-нибудь прииска-
ла себе, — сказал купец, привычно намекая
на то, на что все намекают.

— И то правда, — тоже привычным, безза-
ботным тоном ответила Любка.

Теперь уже не было прежней живости в ее
ответах. Она стала спокойнее, говорила мень-
ше, проще и грубее, привыкнув распоряжать-
ся и ругаться с работниками, отвыкая от гос-
под. Ограниченная, она казалась умной, бла-
годаря этому умению, присущему женщинам,
подобным ей, не говорить лишнего.

Когда она принесла и, высоко подняв, по-
ставила на стол самовар, купец пролез за стол
на диван, не спуская косых глаз с ее груди.
Она вбок блеснула смуглыми белками и с рав-
нодушным видом, не спеша, отошла, стала,
как бы греясь, к холодной печке. Купец сдви-
нул рукав полушубка с круглившейся из него
дымчатой густой шерстью и взял нож в ле-
вую руку, а вилку в правую. Любка это заме-
тила. «Левша, — подумала она, — распутный
небось». Но опять грубо забрехал пойнтер,
глядя в прихожую, и она опять тревожно при-
слушалась.

— На кого это он все? — спросил купец, выпив и раздувая ноздри. — Как отзывается! — сказал он, послушав. — Как орган.

— Да все небось этот пьяница шатается, муж скотницы нашей, — ответила она и, подумав, насмешливо улыбнулась. — Тут такая потеха идет, не приведи бог.

Купец, отрезая кусочек солонины и намазывая его горчицей, равнодушно удивился:

— Да что ты!

— Ей-богу, — сказала Любка. — Закружилась тут с одним, да и другим не отказывает. Ну он и ходит. Грех судить, а только дойдет у них дело до беды.

— Что ж, еще дружка себе нашла?

— Да ай их мало! — сказала Любка, думая не о скотнице, а о себе и о своем любовнике, портном из Шатилова, бешено ревновавшем и все грозившем убить ее.

Говоря, она косилась на окно возле дверей в гостиную. Во всех окнах зелено и остро искрились обледеневшие нижние стекла. В это окно, незамерзшее, видны были редкие звезды на синем небе, зелень палисадника и застреха в снегу. Купец ел, что-то обдумывая.

Любка слабо зевнула и опять заговорила:

— А, должно, здоровый мороз будет. Куда вдаль так-то поохать, замерзнешь.

— Очень просто, — сказал купец и посмотрел на пойнтера, положившего морду на лапы. — А собака эта же чья?

— Да барина нашего молодого, Николая Кузьмича, — сказала Любка. — Надоела до крайности. На дворе никак не может жить, нежна очень. Голая вся. Два раза в неделю купаю, пропасти на нее нету. Он у нас чудак какой-то.

— Да и дурак, верно, хороший, — вставил купец.

— Дурак, нет ли, не мое бабье дело судить, — сказала Любка, думая, что такой скромный ответ понравится купцу. — Только, правда, никуда не гожаются и дома не живут, а об собаке в каждом письме пишет, беспокоится.

— А ты уж давно здесь проживаешь?

— Давно. Седьмой год, никак.

— И довольна, значит?

— Да чего ж мне? Сама себе голова. Они, господа-то, почесть и не живут тут.

— Муж-то в солдатах?

— В солдатах.

— И на войну не попал?

Любка засмеялась, держа руки за спиною, как бы грея их.

— Они, такие-то, счастливые, черти, — сказала она, смеясь.

— И отслужится небось скоро?

— То-то и беда, что скоро. Все писал, грозил: сопьюсь. А мне какая забота? Сам же будешь под забором лежать, — сказала Любка то, что часто говорила портному. — И опять же ревнив, надоел своей любовью до смерти... Все, бывало, грозит — убью, а скажи ласковое слово — сейчас слюни распустит. Да что ж, и убьет... Ночью, когда так-то кобель забрешет, жутко, правда...

— Ты жаловаться на него имеешь право, — сказал купец. — Это время прошло, чтобы судру, здорово живешь, людей бить.

Он съел всю солонину, обрезая ватный жир, допил водку. Глаза его стали маслянистей, полушубок он расстегнул. Икая, он вынул из кармана красную осьмушку табаку, камышовый мундштук, книжечку папиросной

бумаги, аккуратно раскрыл ее, отдул один листок, свернул своими короткими пальцами с выпуклыми круглыми ногтями толстую папиросу, с наслаждением закурил.

— Давно замуж-то вышла? — спросил он с мутной усмешкой.

— Пятый год пошел.

— А детей не было?

— Не было.

— Почему же так? Ты ведь, думается, крепка, хороша.

— Страшная хорошая! — сказала Любка, польщенная, но улыбаясь насмешливо, и начала врать: — А уж это, видно, не моя вина, я сама по детям скучаю. Значит, он чем-нибудь испорчен, а моя какая может быть вина? Он на то и зло на меня имеет, на то и обижается. А я смолоду горячая была — искусаю его, бывало, до синяков, а у него старанья много, а все без толку... Плохая наша бабья доля, — сказала она.

Купец уставился на нее прищуренными глазами. Затягивался он все глубже, пуская дым в потолок.

— Это верно, — сказал он, не зная, что гово-

рить. — Да что ты все около печки-то спасаешься?

— Греюсь, — ответила Любка с игривой скромностью и села к столу на стул.

Она понимала, что купец начал томиться, не зная, как приступить к делу. Купец, отвалившись к спинке дивана, порою вздыхал, отдувался, закрывая глаза и хмуро улыбаясь, порою тяжело смотрел на ее грудь, пробор, — и глаза его то стекленели, то вспыхивали. Делая вид, что она ничего не замечает, Любка, опустив ресницы, пила жидкий чай с лимоном, скромно вытирала концом головного платка потеющую верхнюю губу, покрытую черным пушком. Купец вздохнул еще шумнее и вдруг, не глядя на нее, стал торопливо и неловко расстегивать своей крепкой рукой пазуху синей фланелевой рубашки, под которой был жилет. Расстегнув и жилет, он запустил руку во внутренний боковой карман и вытащил бумажник. Любка сдвинула пальцем тонкий ломтик лимона к краю блюда, положила его в рот и стала высасывать, не в меру морщась, делая вид, что чувствует только одно — острую кислоту. Мгновенно заме-

тила она, что бумажник очень толстый и потертый, быстрым взглядом окинула пухлую пачку розовых кредиток, которую вынул купец из бумажника. Отделив одну кредитку, склеенную бумажной ленточкой, спрятав остальные, он стал левой рукой пихать бумажник обратно, а правую ковшиком положил на нее.

— Довольно, что ли? — спросил он.

Молча взяв и сунув деньги в карман юбки, она опять посмотрела на него долгим взглядом. Он, не зная, что говорить и делать, взял ее за правую руку, потянул за концы корявых снизу пальцев. Она отняла их и, тоже не зная, что сказать, спросила:

— Что ж сало-то не докушали?

И, взяв оставшийся на тарелке кусочек, положила его в рот.

— А я люблю, — сказала она, — она сладкая, причь если на сковородке поджарить. — И засмеялась: — Пост, а мы жрем... — И, помолчав, беззаботно добавила: — Ну, да авось, все одно в аду кипеть.

— За что же это? — спросил купец.

— Да за все. Наше место в аду. Старые лю-

ди говорят, все одно из мужиков в святые не выходят. Всегда из архиреев, алхимандритов.

И вдруг, разгибаясь, решительным шепотом сказала:

— Ну, пойдете, что ль...

V

Игнат, стоя на снегу, давно не чувствовал ног, окаменела и голова его, насквозь промерзла, стала тонкой, ледяной шинель. Сперва он пошевеливал пальцами в сапогах, двигал плечами. Потом уже не обращал внимания на то, что все последнее тепло сосредоточилось и дрожало у него где-то под ложечкой, что стали деревянными губы, обросли инеем края башлыка, ресницы и усы.

Он не замечал времени, весь поглощен был страстным желанием, чтобы оправдались его подозрения. Пропели вторые петухи. Сила, свет, красота ночи стали ослабевать. Месяц, бледнея, склонялся к западу. Орион, три поперечных звезды его низко стояли на юго-западном горизонте серебряными пуговицами, стал ближе и ярче. От людской, над которой склонялся месяц, пала, полдвора захватила тень. Было так морозно и тихо, что

слышно было, как возились на насесте ночевавшие в сенях людской куры, как в конюшне мерно хрустела овсом лошадь купца, как потом она, с глубоким вздохом, легла. Против крайнего незамерзшего окна зала торчала из снега, под нависшими ветвями ели, скамейка. Снег, местами атласный, местами хрупкий, как соль, рассыпчатый и все твердевший от мороза, визжал и хрустел при каждом, самом осторожном шаге. Затаив дыхание, Игнат добрался до скамьи, стал на нее и, разведя руками глянцевито-ледяную зелень хвои, все забыл, увидав внутренность зала, увидав эту страшную для него,двигающуюся, что-то говорящую и улыбающуюся женщину и человека, бывшего с ней в этот поздний час один на один во всем доме.

Но время шло, шло — и ничего особенного не происходило в зале. Вот Любка села, наконец, к столу, и купец стал вынимать что-то из-за пазухи. Но что? Как ни напрягал Игнат зрения, разглядеть не мог: мешал самовар, посуда... Вот Любка привстала, облокотилась на стол, подвинулась к купцу, и в незастегнутый разрез ее платья сзади стола видна нижняя

белая юбка. И в мире настала такая страшная тишина, что осталось в нем только бешеное биение сердца Игната. Но в тот же миг Любка внезапно разогнулась, быстро пошла по залу, к двери, ведущей внутрь дома, за нею двинулся купец, — и легко, уже ничего не думая, Игнат соскочил со скамейки и побежал под елями в сторону, противоположную парадному крыльцу, чтобы, обогнув дом, вскочить в него с заднего. На пустой синеве небосклона с новыми, предутренними звездами сквозил, чернея, потонувший в снегах низкий фруктовый сад. Еще давеча заметил Игнат, выходя из сада, кучи хвороста между ним и домом. В хворосте всегда валялся топор. И, добежав до хвороста, Игнат кинулся искать этот знакомый, зазубренный, ржавый топорико со скользкой рукояткой, — стал шарить, обдирая руки о ледяные прутья и обжигая их о снег, синевато блестящий против низко опустившейся сонной луны.

Купец, нащупав в кармане полушубка маленький и, как камень, тяжелый револьвер, вошел между тем в темный коридор и протянул вперед руки.

— Тут хворост на топку приготовлен, не упадите, — сказала Любка, и он, наступая на сучки и с треском ломая их, ощутил приятный, горьковатый запах холодной дубовой коры и сухой листвы в снегу.

Любка остановилась, говоря: «Это у нас задняя прихожая», — пошарила по стене и отворила дверь в большую нежилую комнату, очень холодную, пахнущую ветчиной, освещенную двумя тускло синеющими окнами с незамерзшими верхними стеклами. Месяц стоял далеко, с другой стороны дома, в этой комнате было сумрачно, но все-таки купец разглядел окорока, висевшие под потолком, кадку с соленым салом, сепаратор, слабо поблескивающий никелем велосипед, белеющие на полу крынки и кровать у стены — деревянную, без перины, с одной подушкой без наволочки. И, повернувшись, задом подвигаясь к кровати, Любка предупредила, но уже таинственно, отвечающим моменту шепотом:

— Смотрите, не попадите в масло...

Она стала так, чтобы удобнее было лечь, чтобы купцу можно было повалить ее. И у

него сразу отнялись ноги от се шепота. Она еще что-то шептала, ласково, с дрожью в голосе, во он уже не слушал, — он, охватив и прижимая к себе ее тяжелое тело, толкал ее к кровати все ближе, пока икры ее не уперлись в нее, пока кровать не пришлась под самые ее колени. И тут Любка, дотоле слабо сопротивлявшаяся, безмолвно повалилась. Она чувствовала боль от давления часов, цепочки, одной рукой разглаживала густую мягкую бороду, а другой крепко держала за указательный палец с большим золотым перстнем. Она чувствовала вступающую в тело сладкую муку, волны истомной силы, и, как бы сердясь, стала перекусывать волосы бороды, закрывавшей ее рот. Обеими руками охватила она и крепко прижала к себе бычью, сморщенную шею, лохматую голову... Но голова эта вдруг поползла из-под рук вниз, телу Любки стало легко, а ногам больно от тяжести. Она приподнялась. Купец грузно сел на пол, захрипел и упал навзничь, мягко стукнувшись затылком. Она вскочила и кинулась поднимать его. Но он дышал, как умирающий, хрипя и свистя горлом, тело его с высоким, раздуваю-

щимся животом, было огромно и тяжело, как мертвое. И страх холодом облил ее голову.

Задрожавшими руками она стала срывать с пуговиц ворот его фланелевой рубахи, растегнула пояс с серебряным набором. Потом схватила подушку с кровати и бросила ее на пол. Побежала в прихожую, зажгла огарок, сунула полотенце в ведро с водой и вернулась, освещая в коридоре во все стороны кинувшихся крыс. Поставив огарок на кровать, она накрыла полотенцем лоб и закатившиеся глаза купца, с ужасом глядя на его горой лежащее тело, на распахнутые полы полушубка и на белое полотенце на сизом лице с задранной кверху черной бородой. И вдруг, как гром, раздался стук двери. И, вскинув глаза, Любка окаменела, увидав над собой солдата, показавшегося ей чуть не до потолка ростом. Правой рукой, отведенной назад, он сжимал топор. Сделав к Любке шаг, он быстро перехватил его рукоятку, но еще быстрее, ловя последнюю секунду, она твердым голосом приковала его к месту.

— Мой грех, — быстро сказала она. — Добивай скорее. Богаты будем. Скажем, что его

удар расшиб. Скорее!

Игнат глянул на ее сразу похудевшее, обрешавшееся лицо, на расширенные и неподвижные черные глаза, красную кофту и засученные смуглые полные руки — и со всего размаху ударил обухом в мокрое полотенце.

VI

При третьих петухах в людской уже горела лампа и топилась печь. Кухарка, слабо зевая, сидела против нее на лавке, грелась и, не моргая, смотрела на жаркое разноцветное пламя, окликая спавшего на печи Федьку, работника купца, которому было приказано запрягать пораньше. Он, заспанный, мордастый, с бельмом на глазу, слез с печи, зачерпнул из кадки корец ледяной воды, умылся одной рукой, разодрал кухаркиным деревянным гребнем свои сбитые густые волосы, покрестился в угол, откашливаясь, залез за стол, съел чугуничек горячих картошек, насыпав кучку соли на доску стола и отрезав огромный ломоть хлеба, потом ладно оделся, очень туго и низко подпоясался, закурил и бодро, повизгивая по морозному утреннему снегу нагольными, твердыми, как дерево, и рыжи-

ми от снега сапогами, мотая закопченным фонарем, в котором горел сальной огарок, пошел запрягать.

Допевали петухи, ночь мешалась с днем. Из неопределенного рассветного сумрака с утренней определенностью выступали предметы. Снег на дворе, на крышах становился бледно-бел, чуть синяя. Бледнело, расширялось небо за садом, за сквозными деревьями. Воздух был чист и остер, как эфир. В густой зеленой хвое морозно-неподвижного палисадника возились проснувшиеся галки. А на западе еще чувствовалась ночь, ее тайна. Мертво блестел невысокий месяц на сумрачном горизонте, на синеватом небосклоне за снежной долиной реки. Отворив ворота сарая и поставив фонарь на старый тяжелый фаэтон, загаженный курами и покрытый замерзшей еще с осени грязью, Федька взялся за холодные оглобли маленьких крашенных санок и, пятясь, скребя по мерзлой земле железными подрезами, поволок их из темноты за порог, на бледный свет утра. Сняв затем с деревянного колка, вбитого в каменную стену сарая, наборную узду, он пошел по твердому, длин-

ному сугробу, мимо забитых снегом окошек конюшни, к деннику, где стоял тяжелый, мохнатый жеребец купца.

В навозном темном деннике тепло, хорошо пахло лошадьё, её свежим пометом и недоеденным сеном. Широкий, весь курчавый и седой от инея жеребец, услышав стук двери, повернул голову на свет и легонько заржал. Федька подошел к нему — и он, играя, опустил голову. Федька подвел узду под нее, — он согнул толстую шею в косматой, жесткой гриве еще круче. И, мотая головой, поталкивая лбом в грудь Федьке, в его тугий полушубок, долго не давался вложить удила. Наконец Федька втолкнул их в раздавшиеся желтые зубы, обтер руку, испачканную слюной и пеной, о хвост жеребца, делая сразу два дела — обтирая руку и приглаживая, оправляя загнувшиеся кверху, зачесавшиеся волосы на холке, — и повел его к водовозке, поить.

С парадного крыльца, из тихого, с мертвыми окнами, занесенного снегом дома вдруг выскочила белая, в коричневых пятнах собака. Отрывисто брехнув, она, как шальная, сделала два круга возле крыльца и опять кину-

лась в дом. Федька с удивлением поглядел на нее. Но жеребец тянулся к кадке с водой, ударил мордой в лед, покрывший воду, пробил его — и вода слегка задымилась. Жеребец прильнул к ней своими бархатными губами и, посапывая, долго-долго тянул ее; он отрывался, разгрызал льдинки, слегка повернув голову к Федьке, — и Федька ласково, поощрительно посвистывал, глядя на его светлый крупный глаз и светлые капли, падающие с губ.

— Ну, будя, навек все одно не напьешься, — сказал он звучным голосом и повел жеребца к санкам.

Совсем стало светло. В саду, в голых кустах, уже трещали воробьи. Небо за садом помутнело, окрасилось ало-оранжевым. Месяц, краснея, садился за деревней, выделившейся и белевшей крышами на сумрачно-лиловом западе. Заложив жеребца, застегнув вожжи, Федька, не выпуская их из рук, кинулся к сиденью в одну сторону, а жеребец, рванув с места, в другую. На бегу ввалившись в санки, раздрав ему удилами челюсти и на повороте крепко взрезав подрезами рассыпчатый наст,

Федька с атласным скрипом перевалился через мягкий, новый сугроб в воротах и помчался в поле, на светлый, веселый восток — погреть лошадь.

И старый, тяжелый жеребец быстро запыхался. Федька, сделав версты полторы, обжегши лицо встречным острым ветром, широко завернул и шагом поехал обратно. Шагом въехал он во двор, направляясь к парадному крыльцу — и вдруг раскрыл глаза и натянул вожжи: кухарка с плачем, исказив бледное при золотистом утреннем свете лицо, бежала от крыльца к людской, а на крыльце сидел человек в серо-рыжей шипели, в башлыке, стояком завязанном вокруг шеи, с обнаженной стриженной головою. Наклоняя ее, он правой рукой сгребал с серого наста возле ступенек свежий, белый снег и прикладывал его к тмени.

Капри. Февраль 1912

Захар Воробьев

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь, — ему было сорок лет, — не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества; в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один вроде меня, — говорил он порою, — да тот далеко, под Задонском».

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласко-

востью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко кованных сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку: он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зиму и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слянули. Бурый котик, — опушка борта и воротника, — был еще остист и жесток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел он в Красную Пальню, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипово и пошел в Осиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

— Что? — удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом. — Срок верст?

И добродушно добавил бы:

— Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы теперь для праздничка выпить маленько», — шутя сказал он в Шипове знакомому, петрицевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. «Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес», — ответил кучер. «Не на что, потратился, и так в грузовом вагоне ехал», — сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятеле-

лю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой, — он выезжал за Петрищевым, да тот не приехал, — урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

— А с закуской? — спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осяживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно, на полтинник, — сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

— А проспоришь, — прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом, — а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по-вашему, — снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну, — где дело кончилось превосходно, миром, — не только не истомился, промучив-

шись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть — это не бог весть какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера — невелик интерес... Но все-таки на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой, — есть очень хотелось, каждый кусок был сладок, — потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, на просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестящие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал —

подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонами, — урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

— Чем дело-то кончилось? — говорил он. — Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал эти свары. А тут и свара-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три — из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, что делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила бога, чтобы Захар упал замертво. А он только расстегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, покраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого луку и пять

французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

— А на судах этих чудно! Я и итить-то туда не хотел. Слышу — подал прошение. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ничего не поделаешь — надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужасная, пыль по дороге как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутыль под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнувшей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, крякал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутыль возле себя. Кучер не спускал с него своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно перегляды-

вался с Алешкой. А Захар, поставив бутылку, брал две-три стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль, и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно насмешлив.

— Ну, являюсь, — говорил он, пожевывая и раздувая ноздри. — Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом, — Захар повел рукой налево, — урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» — «Здесь». — «Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слушается, доедает...

— По морде бы его этой грушой, — сказал кучер.

— Верно! — подтвердил Захар, разламывая

седьмую, последнюю булку. — Стоит и лопа-
ет! Обращается заседатель к уряднику. «Вот,
говорит, господин урядник, этот самый хре-
стьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с
описью приезжал, отказался платить по ис-
полнительному листу сорок восемь рублей
восемь гривен, а когда я хотел описать какой
есть его лесишко и анбар, то, говорит, этот са-
мый Галкин со своими дружьями, двумя бра-
тьями Иваном и Богданом, сели на деревья, на
бревна эти возле избе, и не дозволили мне
свершить опись. А когда я взошел к нему в из-
бу, то он будто невзначай спросил у своей жа-
не, где тут у нас безмен, что было сказано про
меня, и я это принял на свой счет, а Богдан
этим временем подошел к окну и с косою на
плече, когда косить ему нечего было, все дав-
но скошено. А как я был один, то принужден
был удалиться. Вот извольте испросить его
жану Катерину и мать Феклу и показания от
ней занести в протокол. А еще в опросный
лист занесите показанье церковного старо-
сти, хрестьянина Федота Легонова. А еще, что
сельский староста Герасим Савельев в этот
день пропал без вести и на мои требования

не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да, слава богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...»

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передав заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянька на часы-то.

— Успеется, успеется, — ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, черт курносый! — гаркнул он добродушно. — Дай доказать-то! Я свою время знаю, — выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках кованых каблуков, — он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голени-

ца, — лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

— «Катерина Галкина! — громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах. — К допросу. Подойди поближе!» Подходит. «Слышала, что господин заседатель сказали?» «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» — «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж осты вешать». — «Значит, ты от этого отказываешься?» — «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите, — и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху. Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рвет. «Имушшество, говорит, моя, за сына я не плательщица, но правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни

портки». — «А сын-то чей же?» — «Мой». — «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имущество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на хлеб, на воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Леонов? Подходит дочь его Винадорка. — «Иде отец?» — «В клетке, после обеда отдыхает». — «Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

— Близо, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером. — Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара, — он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просившим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще выразительнее:

— Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки при-

земистый старик... Идет через дорогу в избу — без шапки, в розовой новой рубаше распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы густые, седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошущукался чтой-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла, — вся писаная, в яблоках!» Смеется, морщится, гнилые корешки в красном роте показывает... «Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге — хворсит... — Форсит-то, форсит, — опять перебил

урядник, вынимая часы, — а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он. — Да ты брешешь! Ужли целый час прошел?

— Прощел, брат, прошел! — подхватили кучер и Алешка. — Допивай, допивай!

Захардохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он, — Это неладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август. Черт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! — попросил он сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешливо. — Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутылку за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

— Ну? Сыт ты ай нет?.. А теперь — буду до-

казывать! — с упрямством хмелеющего человека сказал он. — Вот ты и глянешь, напоил ты mine, али у тебе и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

— Таперь вы обязаны слушать! — всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: — Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и борода клинушкой. И еще пуще старика морщится, — не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то, — бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возмись глушить его большими стаканами... Вызывают его. «Как тебя зовут?» — «Был Василий». — «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?» А у них уж раньше, конечно, был сговор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при народе, известно, надо же для близиру поорать. Вспрашивал, спрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих в

осинник!» Тот будто и испужался: шапку поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул». — «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого». — «Ну, пойдете, надо его охоту просмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вороны, на срубленных деревьях возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней, — у того, по крайности, степи аграматные... А старик кричит, — у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да

еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опустилось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похо-

жие вдали на гусениц, — и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» — думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирает горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек не особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя, — дойти до Жилова раньше, чем оно сядет, — и думал, думал... Бутылка подходила к

концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубо-

кого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. — Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! — крикнул он, быстро подходя к старухе. — Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха, — она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты, — зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? — гаркнул Захар грозно. —

Раз тебе испрашивают, можешь ты мне не отвечать? Значит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят — баран завалает, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» — «Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее зарорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. — Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, — говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» — «Не могу, батюшка! — отвечала старуха. — Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких отроду не видала...» — «А я тебе говорю, не голоси! — гово-

рил Захар. — Всякий свою стежку топча! У всякого своя печаль! Копти! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. — Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» — «Ох, постой, — застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы. — Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров — костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертво тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце лоцины. Над ним полный, уже испускающий сияние

месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

— Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар приостанавливаясь. — Как подошли все!

Ему захотелось рявкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам «Да нет, нет, — подумал он, мотая головой, — ошалел я пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды,

уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновы Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светонеснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситце-

вой рубахе и обтертых до красна и опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой, — выставив кострец, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих белым с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнувшие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, кик он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя

под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачайшим дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

Капри. Февраль 1912

Ермил

В наших местах есть довольно большой лес, который зовут Островами. Вот что случилось в нем несколько лет тому назад, на Святках, когда караулил его некто Ермил, малорослый, коротконогий, морщинистый мужичишка.

Лес от села недалеко. Когда нет ни метели, ни поземки, он виден с гумен; бледно сереют поля, склоняется к горизонту низкое небо, по горизонту висит сумрачная полоса тумана, а под нею залегает синеватая полоса леса. Но кажется она далекой — как все зимою. Если же поселиться среди этих волчьих и заячьих оврагов, окруженных лесными островами, в старой избе среди рыжих дубков и кустарников, торчащих из белых пушистых сугробов, то с непривычки будешь чувствовать себя за сто верст от людей. А Ермил был к лесу непривычен: прежде нанимался он все по селам, служил много лет при водокачке на станции, стоял при барде на винокурне.

Как многие из тех, кто никогда не видали добра ни от начальника, ни от ближнего, он

давно мечтал быть от людей подальше. Они его не любили, он их чуждался. Они им помыкали, думая, что он дурак и безответный. Он же, помалкивая, копил в себе утеху — злое сознание, что далеко не так он прост, как думают. Он внушил себе, что все ему лиходеи, и жил, надвинув шапку на глаза, но сторожко. Переселяясь в лес, он гадал пожить хоть одну зиму спокойно.

Был он, как большинство мужиков, труслив. Но однажды на спор сходил в полночь в овин и уверился, что ему все нипочем. Уверенно переселился он в самое глухое осеннее время и в лес. Но оказалось, что он даже и представить себе не мог, до чего жутка лесная жизнь. Ух, как зловеще шумел невидимый лес в те черные, непроглядные ночи, когда пошли ноябрьские дожди, когда стали они лить по ночам без перерыва, когда, как говорится, хоть кричи, не докричишься ни души, когда в полях только ветер, черные пашни, пустые дороги да непробудным сном умершие деревни! В безграничном море тьмы чувствовал он себя и спал тревожно, при лучине, часто просыпаясь. Мечтал он, бы-

вало: будет у меня в руках дубинка, буду в темные ночки похаживать по лесу — и уж только попадись мне тогда вор, грабитель! Но оказалось, что в такие ночи и за избу-то выйти не возьмешь света белого.

День тоже не радовал: и днем было темно от туч, и днем лил дождь на лес, на лужи — нельзя было на порог показаться. «А придет зима, пойдут святошные вьюги — и совсем хоть пропадай!» — думал Ермил, валяясь после обеда на нарах, поджидая новой долгой ночи. Иногда он садился, собирался плесть лапти, да только все глядел и глядел в окошечко на мокрый кустарник, на тучи. Они к ночи сгущались. Нагоняя тьму, разыгрывалась буря. Ермил слезал с нар, открывал печку, вынимал пук лучин, искал спичек по печуркам. А пока возился, выбирая лучику посуше, и совсем смеркалось. А когда лучина разгоралась и он втыкал ее в светец, окошечко было уже черно. Он опять ложился — и, пользуясь мертвой тишиной и светом, на самую середину избы выбегала седая тощая крыса, жившая под печкой. В лесу же, в его мелочах, в непролазных чащах по оврагам, были вол-

чьи притоны. В самую полуночную пору не раз, с визгом, с захлебывающимся лаем, кидались в глубину сеней собаки, ночевавшие у порога. Схватив свою тяжелую, ржавую одностволку, шальной от сна, при дымящей лучине, крича, выскакивал Ермил в сени — и сколько огненно-зеленых глаз рассыпалось перед ним в черной тьме кустарников, по скату оврага! С бьющимся сердцем, бледный, возвращался он, впуская за собою грязных собак, тотчас забивавшихся под лавку. Дымно, красно пылала лучина, роняя огненные искры в лохань под светцом, гоня дрожащие тени. Тяжко и глухо шумел обломный дождь. И Ермил брал рогач, подпояску, прикладывал рогач к притолкам поперек двери, захлестывал подпояской и его и скобку, туго-натуго затягивал... Потом опять ложился на спину, в шапке, в полушубке, задирали тонкие короткие ноги в огромных лаптях на свою укладку. Пронзительные желтые глаза его не моргали.

И вот пришла зима. Ветер повернул. Гнилые бури и ливни сделали свое дело, раскрыли лес, дали студеному облачному небу свободно белеть сквозь него, оборвали листву и

запалили ею, мокрой и ржавой, все овраги. Шел снег и таял. Но голый лес гудел уже туго, сурово, по-зимнему. И Ермил повеселел было. Но по сравнялось и недели, как, обходя однажды верховье с дубинкой в руке и одностволкой на плече, слушая холодное, зимнее гуканье красногрудых, раздувавшихся по ветру снегирей и шлепая лаптями по лесным ухабистым дорогам, полным грязи и бледного снега, между тем как собаки, по своей манере, все бочком, все забирая в сторону, бежали впереди, за стволами, наткнулся он па страшное место: в раскрытых гудящих вершинах высоко висела и качалась на суке высокого дуба веревка, а не веревке — оскаленная, до кости объединенная муравьями собачья голова с двумя-тремя позвонками перегнившей и разорвавшейся шеи. На земле же, у корней дуба, лежали ребра, клоки истлевшей бурой шерсти. И, раскапывая эти клоки дубинкой, Ермил долго, долго, до ряби в глазах, и так и этак вглядывался в них, все стараясь сообразить: велика ли была собака, мужицкая ли, барская ли она, и кто и по какой причине — со зла или для забавы — удавил ее. И вдруг

опустил дубинку, замер, скосил глаза в переносицу: а что, если и его вот так-то удавят? Лес, глушь крутом, он один, как перст, на всем свете, жизнь его никому не дорога, о смерти его и узнать-то могут только через месяц и, узнав, не больно-то встревожатся, а тут идут праздники, Святки. Это время жуткое для человека, живущего в лесу, в поле. Что же будет чувствовать он в одиночестве, когда придет оно: одни волчьи свадьбы чего стоят! А ведь и помимо того не бог весть как просты вечера и ночи на Святках. И лихие люди пользуются этими ночами. Удавили же когда-то мужики лесника в Дехтярном, чтобы натопить из покойника каких-то свечей колдовских... У Ермила, как у стоящего над пропастью, заныло, заломило в ляжках. Он повернулся и, надвигая шапку, поспешно, неловко, задевая за корни, зашагал назад.

Снег валил непроглядный, весь день. К вечеру перестал. Стало теплей, затихло. Ермил слазил на потолок, нашел возле борова старые лыжи, привязал к ним новые оборки и опять пошел к дубу. Но снег был пушист, лыжи тонули, скользить на них Ермил не умел,

поминутно попадал одной лыжей на другую — измучился, извихлялся и вернулся к избе. Вечерело. Все вокруг покрыто было снегом. Сизо, с розовым оттенком белел противоположный бугор в мелком чернолесье. «Кажись, опогодится, — подумал Ермил, мучимый странным желанием еще раз поглядеть на собачью голову. — Схожу завтра пеший». Но опять поднялся ночью ветер — и опять на целую неделю понесло снегом. Зима спешила — до Святков оставалось чуть. И Ермил стал готовиться к ним.

Собачья голова не выходила у него из ума. Как только темнело, он крепко-накрепко связывал подпояской рогач и дверную скобку. Спал еще тревожнее. А чем свет слезал с печки, выпускал своего белого лохматого кобеля, — сучка куда-то сбежала, если только не попала на зубы волку, — шел по сугробам в овраг, на пруд; возвратясь, затапливал, умылся, молился и принимался за работу — вернее, за думы. Были они нехороши, но он все больше входил во вкус их, сосредоточенно поддевая на деревяшке лыко, постукивая кочетыком. Дымил, сипел, стрелял хворост в

печи. Сыро и тепло было в избе. За окошечком, на завалинке, задом к стеклу, сидел кобель — наслаждался, зимнее отродье, тем, что его заносит снегом. А Ермил думал: как бы приучить его кидаться чужому человеку прямо на горло; где бы достать волчий капкан, чтобы к святочной ночи положить его возле порога, заровняв соломкой, снегом... Дни шли. Пора было обезопасить себя! Но как? Что выбрать из придуманного? Выбрать надо было то, что исполнимо, то, что вернее и тверже всего. Поумней злодея надо было оказаться! И страх Ермила таял, заменяясь расчетливой злобой.

В избе все белело, все светлело от сугробов вокруг. Лес порыжел, измельчал, день и ночь гудел в зимней дремоте под сумрачным небом. Непорочно-белые наносы, в которых тонули его скрипучие стволы и корявые кустарники, день и ночь росли, дымясь белым дымом. За порогом насквозь прохватывал крутой северный ветер. Весь в снегу ворочался Ермил с пруда. Скинув полушубок, затопив печку, березовым голиком подмахнув земляной пол, он обмывал под своими густыми во-

лосами, вечно гревшими его маленький лоб, свое морщинистое лицо водой с ледяшками, обдергивал свою бессменную посконную рубаху и становился на молитву, врозь раскинув носки сопревших лаптей. Щурясь, он устремлял пристальный, но невидящий взор на дощечку в углу, привычно шептал что-то и в определенные моменты с размаху кланялся ей. Но думы его были не возле бога. Не о нем думал он и после молитвы, сев за работу.

Ом нею жизнь полагал, что верит в бога, но только полагал. Темная сила — другое дело: в нее он верил, чувствовал ее крепко. Сколько ее не только в мире, но и в человеке! Ермил клал лапоть на колени и долго смотрел своими желтыми глазами в пол. Он вспоминал всю свою жизнь, с тех дней, когда он по-людски женился, по-людски нанялся с женой на барский двор. Теперь ему пятьдесят, тогда было восемнадцать, но и тогда знали его корявым, коротким, а в придачу к тому, был он глуп. Женили его на рябой, высокой; рябая была смола и распутна, и он всем рассказывал, как она ухитрилась провести его, оказаться невинной. Он искал сочувствия, а

что же вышло? Его же ославили дураком. Рябая любила медные и серебряные кольца и скоро сошлась с приказчиком. Он было сунулся на него, защищая свою честь. Но как просто, при общем хохоте сбил с него приказчик шапку и прогнал со двора долой! И примолк Ермил, затаился, покорился судьбе, понес, вдовцом, по чужим углам, камень за пазухой...

Случаи, такие, как в Дехтярном, правда, редки. Да чего не бывает! И, значит, пора подумать покрепче. Идти немедля в село, как сторяча хотел Ермил, просить помощи против лихих людей у старосты, урядника, добыть капкан, вырыть яму — все это никуда не годилось, все это скоро стало казаться пустой затеей: надо было похитрее выдумать. Порою, в спокойную минуту, думалось: ну, кто придет давить его! Но тут Ермил начинал разжигать себя. Кто — неизвестно, да в злодеях недостатка нет. За что? А за то-то! Разве не сжили его со станции, с винокурни — и за то только, что он густоволос, морщинист, коротконог, за то, что молчит-то он молчит, а всех насквозь видит. Разве не собирались рабочие

то ноги переломать ему, то удушить его сонного полушубками, то, как будто нечаянно, столкнуть в горячую барду? Смирно шел он на Казанскую по селу, а разве не орал за ним пьяный сапожник, Ванька Махор, первый разбойник на селе: «Погоди, погоди, я те подыму со лба волосы!» — Нет, видно, никогда не откажется человек искалечить, пришибить человека, если только с рук сойдет. Глянь, как рвет, молотит мужик вора, стащившего клок соломы. Клок не дорог, да ведь как такой случай упустить! За вора-то ничего не будет. И недаром, знать, пословица лежит: «Зол злодей, а ты позлей злодея окажись».

Наконец все было обдуманно. Пора было дело делать. И прежде всего Ермил испробовал свою ржавую одностволку с самодельным прикладом. Он продул ее, пробил пистолетом, зарядил утиной дробью, крепко забил палкой, вышел из избы и с час стоял среди острых сугробов и дымных вихрей, среди рыжего, гудящего леса, по колена в белейшем снегу, поджидая, не сядет ли где поблизости ворона. Ветром принесло ее наконец, глупую, каркающую, голодную. Проваливаясь в нано-

сы по пояс, согнувшись, падая, набивая ствол снегом, Ермил пробрался к тому дереву, на котором раскачивалась она, присел, положил ствол на ближний сучок, долго водил мушкой по грязно-серой, сутулой от карканья птице, — наконец спустил курок. Его оглушило, ослепило, отдало в плечо и в щеку так крепко, что он свалился навзничь. Но тотчас вскочил и, вместе с яростно лаявшим кобелем, кинулся к своей добыче: откровенная, на клочки изорванная, она валялась, тонула в рыхлом снегу под тем же самым деревом, на котором, за мгновение перед тем, хрипела, тужилась, качалась.

Затем он ловко выбил палкой кусочек стекла в нижнем углу своего окошечка; попробовал всунуть в него дуло одностволки и присесть на скамейку возле самой лавки: дуло вошло отлично. Ночь будет если и мутная от метели, да все-таки видная, лунная, — это уж наверно. Вот и накидает он на завалинку соломы, чтобы таилось в ней торчащее из окна дуло; потом вернется в избу, потушит огонь, прильнет к стеклу и будет ждать — смотреть на тропинку, поднимающуюся по

косогору против окна. Тот, кто будет идти по этой тропинке, ничего не рассмотрит в окне, прикрытом соломой. Самого же Ермила, сидящего в темной избе, — тем более... А кто же именно идти-то будет? Теперь уж самому Ермилу приходилось выбирать. И, подумав еще маленько, он выбрал.

В Сочельник он пошел в село.

Теперь, после целых двух недель размышления об одном и том же и подсчета всего того, чем весь век радовали его люди, он совсем, казалось, освободился от страха. Он был возбужден, был как во хмелю, слабости уже не чувствовал. Напротив. «Нет, постой, меня голдой рукой не возьмешь!» — думал он. Теперь, если бы ему сказали, что никто к нему не придет, он бы, кажется, молить стал о том. С дубинкой на плече, ковылял он среди полей, тонувших в тумане вьюги, по чуть видной дороге, к невидимому селу, гнул голову от снежных вихрей и решал, что именно надо сделать, у кого побывать и что кому сказать в селе.

Показались за снежной курой прутья лозняка по задворкам, по окраинам скудных му-

жицких гумен. Скучно, дико было и в селе, а все не то, что в лесу. В лесу и снег-то куда белее, пушистей, глубже, — не жилой это снег, звериный... Он прошил околицу, прошел мимо редких крестов, торчавших из слоистого серого наста на погосте, вечно на юру обдуваемого ветром, перекрестился на деревянную церковь, на решетчатые окна алтаря, до половины прикрытые сугробом... Дальше стало тише, теплей, свободней. Он осунул подпояску на самые кострецы, отвернул с углов обледеневший, затвердевший ворот армяка, пошевелил плечами в толстых низках... Зачернели люди, ехавшие в кабак, с лавку. Ермил не спеша переступил порог ее, стал в сторонке, держа, как нищий, мешок в левой руке, а дубинку в правой, скромно дожидаясь очереди.

Мужики в тулупах, в полушубках, засыпанных снегом, скрипели, входя, мерзлыми лаптями и валенками. Лавочник в поддевке, худой, с чистой желтой кожей, с большими кофейными глазами, с длинной, редкой бородкой, похожий на угодника, доведший свою молчаливую ловкость до щегольства, то

перевертывал мерку с медными обручами в подставляемые мешки, ссыпая туда пшено, то наливал, щедро переливая, бутылки керосином, то бросал свиные середки на иссеченный пень, взмахивал топором и с единого взмаха отрубал ровно столько розового мяса и мерзлого сала, сколько требовалось, лишь для видимости прикидывая на ржавых тарелках весов. Раздражающе пахло маринованными сельдями, ситцами, кругами хомутины, на вид как бы копчеными... Ермил сдержанно поздоровался, побалакал кое с кем, взял пшена, соли, спичек, кренделей; платя, нарочно показывал всем трехрублевые бумажки. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь, медленно пряча деньги и закуривая, хотя не курил никогда, — только затем, чтобы подольше побыть в лавке и попользоваться бесплатным табаком, махоркой, насыпанной лавочником в коробку из-под килек для угощения покупателей:

— А у вас тут хорошо в селе... Вам жисть. Не то, что мне, в лесу, в глухомани. Вам Святки идут, веселые, пированье, а мне — жуть... Я на это робок... Еще сдуру придет кто да

убьет. Да что ж! Небось скажет, у него и деньжонки есть... Человек, мол, скрытный, бережной... А не то, святошное дело, и так только — попугать вздумает... А я от того могу беспокоиться. Я слабосилен. Стареть стал...

— А ты вот бреши так-то побольше, наклей на себя, сказал лавочник, протягивая щербатому, почерневшему курному старику пачку нюхательного табаку. — Бреши побольше. Народ-то и разнесет.

Мужики подхватили:

— Верно. Это уж известно — только пусти слух по народу...

Ермил поглубже надвинул шапку, чтобы скрыть довольство. Постоял, дурацки разводя руками, и медленно вышел.

Заходил он и в кабак. Выпил сотку, купил бутылку, глубоко запрятал ее в карман и опять поговорил с народом, опять проделал то же самое.

А от кабака он пошел под гору, где жили духовные, шорник, коновал, Ванька Махор. Смеркалось, синели снежные сумерки, чернели под горой мещанские избушки. У Ваньки избушка была всех меньше, всех ниже и гряз-

нее. На вогнутой стене ее, с осыпающейся коркой глины, висела дощечка, на которой Махор нарисовал сапог, похожий на орудие каменного века, а вокруг него — много желтых и белых медалей. В темных сенях Ермил нащупал скобку, обмотанную тряпкой, и рванул к себе. В полутьме, в свинцовом полусвете у мерзлого и вечно мокрого, оттаивающего окна, у лавки, заваленной кусочками кожи, инструментом, жестянками с прокисшим клеем, согнувшись сидел сам Махор и его подручный Мишка. Больная старуха спала за ситцевой занавеской на нарах. И гнилью мещанского угла, и сапожным товаром, и всячески воняло тут. Было скучно, тяжело от присутствия больного человека, спящего в сумерки, и от двух пестрых кур, тоже дремавших возле печки. Но чернявый Мишка бойко стучал молотком по каблуку перевернутого вверх подошвой и зажатого в колени сапога, один за одним вгонял в него мелкие деревянные гвоздики. А Махор поспешно, видимо, с большой охотой, налаживал старую гармонию, вынимал из снятой крышки медные планочки с серебряными клапанами, попеременно прикла-

дывал их к губам, без передышки тянул в себя воздух — и клапаны дребезжали, пели, пищали. Было ему лет двадцать пять, но усов у него еще не было, лицо его было длинно, крупно и очень бледно, взгляд, бараний, белый, прям и нагл. Длинно, велико было и туловище его.

И Ермилу на минуту стало очень страшно. Он переступил порог — и оба работавшие подняли головы и, увидав его, расширили глаза от удивления. Но он и тут не потерялся.

Стараясь хоть изредка встречаться с глазами Ваньки и казаться простодушной, он, пойдя, тотчас же заговорил о том, что вот был он в селе, кое-что покупал, да и надумал забежать прицениться, сколько, примерно, могут стоить сапоги.

— Головки? — отрывисто спросил Махор. Нет, зачем же... хворменные сапоги.

Махор поднял голову, и его белые глаза холодно повеселели:

— Это кому же?

— А хоть бы и мне, — сказал Ермил. — Что ж, ай я и этого не нажил себе за всю свою службу?

— Франт тоже! — сказал Махор, оглядывая его. — Да тебе околевать пора. Ай погодить хочешь?

Мишка улыбался ядовито, с любопытством.

Ермил сощурил глаза и из-под волос покосился на сапожника. «Не околей ты прежде!» — подумал он. И с притворной развязностью ответил:

— Помри ты нынче, а я завтра. Ты про сапоги-то говори. А не хочешь — я к Кострецу, к хромоту, пойду. Мне, брат, шесть целковых не деньги...

— А! Вон оно что! — свистнул Махор.

Он в упор посмотрел на Ермила и, уже совсем, как разбойник, не скрывающий своих мыслей, спросил:

— Значит, у тебя, правда, есть деньги?

Ермил дрогнул от этого взгляда и поспешно забормотал:

— Что ты, что ты... Какие у меня деньги? Откуда они у меня? Вот так-то болтают, плетут... А я сижу ни жив ни мертв в лесу... По ночам не сплю... Кто и пугать просто вздумает, и то навек не человеком сделает...

— Родимчик приключится? — сказал Махор.

— А ты что ж думаешь? — подхватил Ермил. — Время святошное... Кто-нибудь шутку вздумает, полушубок для смеху вывернет, да под окно, а мне и каюк...

— А! — опять сказал Махор, но уже равнодушно. — Значит, ты просто пофорсить пришел, побрехать... А я-то, дурак, с тобой зубы чешу.

И опять наклонился к гармонии. Но вдруг загоготал и подмигнул Мишке.

— Чего ты? — торопко спросил Ермил.

— А то чего же! — ответил Махор весело и загадочно.

Ермил посидел еще минуту, чтобы не заметили его торжества, — он понял этот хохот, он уже не сомневался теперь, что Ванька придет в вывернутом полушубке, — и, сославшись на то, что припоздал, наобещав непременно договориться «как-нибудь на гулянках» о сапогах, вышел вон, пока Махор зажигал лампочку. Была уже ночь. Мерзлые помои у порога тускло блестели. Высоко, над самой головой, ныряли и сияли в волнистых облаках луна и

какая-то яркая звезда. Сиял порою и крест церкви, когда быстро шел мимо нее Ермил.

Пришел он домой поздно. Кобель сидел у избы, против луны, ждал его. Дружно и быстро вошли они в избу и тотчас же, не зажигая огня, легли спать. Спали крепко, но оба видели путанные яркие сны. Кобель ныл, вскакивал. Ермил проснулся среди ночи. Лунный свет белел пятном как раз посреди избы, на земляном полу. На лавке сидел бледно-зеленый, сквозной старик, в длинной рубахе, с гробовым венчиком на лбу — покойник батюшка. Ермил подошел к нему и усмехнулся.

— Батюшка? Ты зачем? — спросил он. — Я теперь тебя не боюсь.

Покойник, улыбаясь, поднял слабую руку и легонько перекрестил его:

— Спи, господь с тобой. Злых людей бойся.

И Ермил проснулся и увидел, что и не думал он слезать, подходить к лавке, а лежит, как лежал. Но еще много раз казалось ему, что он просыпается, пробует, крепко ли привязан рогач к двери, вздувает лучину, вынимает похлебку из печи и ест: забыл поужинать, придя из села...

Проспал он и весь следующий день, не топил даже. Перед вечером встал, поел вчерашней, кислой похлебки и, помолившись, стал заряжать ружье. Было уже темно, но огня он не вздувал. Руки тряслись, заряд казался то мал, то велик. Кобель стоял возле и заглядывал ему в глаза вопросительно, совсем по-человечьи.

Часов в восемь он вышел на порог. Опять ныряла в вышине, в облаках, луна, но была ночь мутнее, белее, чем вчера: по кустам несло белым, поземкой.

Потом он долго, не шевелясь, не дыша, сидел на лавке возле окна, в крепко запертой полутемной избе. И вдруг — насторожился. Тихо, тихо приподнялся и прильнул к стеклу: в белесой мути, бледно озаряемой луной, на тропинке среди кустарника, точно мукой осыпанного, чернели две поднимавшиеся из-под горы фигуры. Впереди была та, что повыше... И не прошло и минуты, как она надвинулась на завалинку, затемнила свет и уже хотела было прильнуть к окошечку, как Ермил оглушительно, как из пушки, выстрелил.

Мишка кинулся, свалился назад, под гору.

Махор остался на месте. Ермил, выскочив из избы за неистово лаявшим кобелем, наклонился над лежащим ничком большим человеком с нарисованными углем усами, в вывернутом тулупе. Снег под животом его был окровавлен...

А через три месяца после этого Ермила ввели в залу суда. И он произвел на всех самое приятное впечатление. Войдя, он долго крестился на золотой образ в углу, отвесил низкий поклон судьям. Вызванный, он встал твердо, разобрал густые волосы на потеющем лбу, откинул голову, отвечал точно, охотно, щурясь добродушно, с хитрецей, по-стариковски, и к каждому слову прибавлял:

— Господа начальники, судьи праведные...

Ему, видимо, нравилось, что собралось столько народу для него, что в зале сидят барыни, купцы в сюртуках, что на столе сукно с бахромой, за столом мундиры, а у золотого образа горит красная лампадка. Он говорил:

— Мой великий грех, господа-начальники, судьи милостивые. Злые люди загубить хотели, а я того весь век ждал. Казните меня тюрьмой-каторгой...

В монастыре, где он отбывал наказание, не было человека работающее его: как чисто мел он двор, как ловко колол дрова, как усердно таскал воду в братскую кухню!

И монахам понравился он. С ними и остался, отбыв покаяние, — «прижился к богу». Но в монахи постричься не пожелал.

— Нет, я дюже преступный, — говорил он с удовольствием.

Капри. 27 декабря 1912

КНЯЗЬ ВО КНЯЗЬЯХ

Лукьян Степанов приехал в светлый сентябрьский день к помещице Никулиной. До его хутора верст пятнадцать, лошадьми он дорожит как зеницей ока. Значит, приехал он по важному делу.

Гнедой жеребец, сверкая глазами, тяжело влетел во двор, к сараю, где еще до сих пор слезают те, что не решаются слезать у крыльца. Лукьян Степанов сидел на беговых дорожках, на голой доске.

— Что же это вы, Лукьян Степаныч, без подушки-то? — смеясь, спросил его лицеист Сева, шедший от конюшни.

— Погоди, расскажу, — ответил Лукьян Степанов, привязывая жеребца к телеге без передков.

Сева стал годить. Привязывал Лукьян Степанов долго, основательно. Привязав, высморкался на землю, вытерся полою и наконец ответил:

— Вот оттого-то у вашего брата, господ, и нету ничего. Есть подушка — валяй ее и в хвост и в голову!

Взяв с дрожек мешочек, набитый чем-то тяжелым, он пошел к дому — большой, тяжелый от одежды. На нем была теплая поддевка, сверх поддевки бараний тулуп, голова под шапкой повязана по ушам красным платком, ноги обуты в тяжелые сапоги.

Сева опять засмеялся и сказал:

— А тепло вы одеты!

— Мне, брат, восемьдесят с гаком, — ответил Лукьян Степанов. — Доживи-ка до моего.

— Ну, уж и восемьдесят! Откуда вы столько набрали?

— В поле, брат, набрал.

— Ну, а уши-то вы зачем же завязали?

— Глухой быть не хочу — вот зачем. Отче-

го вы, господа, глухие-то все? Вот от этого. Выскочил в чем попало, надуло в уши — и готов.

Вышла в зал хозяйка, ее старший сын Мика, лысый, усатый, близорукий, и дочь Люлю — бледная, женственная, задумчивая, постоянно кутающая плечи в пуховой платочек и неожиданно, притворно вздрагивающая. Хозяйка угощала гостя белым хлебом, чаем и вареньем, много говорила, делая вид, что очень осведомлена в сельском хозяйстве. Сева не спускал смеющихся глаз с Лукьяна Степанова, с его загорелого лица и носа, который от загара лупился, был лиловый, в золотистой шелухе. Мика, наклоняясь к столу, курил, сбрасывал пепел в пепельницу в виде ладони и катал хлебные шарики, что всегда раздражало хозяйку. Люлю села с ногами на диван, прижалась в уголок, съежилась и, не моргая, глядела красивыми печальными глазами в большой рот Лукьяна Степанова: десны у него были розовые, голые, без единого зуба. Всех томила загадка: зачем он приехал? А ну как приторговываться к имению? Ах, если бы дал господь! Хозяйка очень тонко, как ей казалось, подводила разговор к продаже имений,

намекала на то, что, по нынешним временам, и она охотно продала бы:

— Ах, Лукьян Степаныч, с нашим народом поневоле придешь к заключению, что банкто самое надежное место для капитала!

Но Лукьян Степанов говорил только о своих лошадях, об умолоте, очень охотно ел белый хлеб, деликатно брал ложечку варенья прямо из вазы, глубоко запуская ее в рот, клал обратно и пил чай. Он делал вид, что слушает хозяйку, изумлялся самым простым вещам, хлопал себя по колену — и опять говорил только о себе, не давая говорить хозяйке. Сидел он в расстегнутой проддевке, под которой была линючая ситцевая рубашка, вытирал лысеющую голову и лицо платком, снятым с ушей. «Совсем еще здоровый мужик! думали все. — Только борода седая, да и то не совсем, еще видно, что она была рыжая; есть, конечно, и в глазах что-то тусклое, старческое, живот провалился...» Наконец он встал, принес из прихожей и развязал свой тяжелый мешочек, полный серебра вперемежку с золотыми. Оказалось, что он приехал только затем, чтобы похвастаться. «Да это еще что! —

сказал он. — Разве это деньги? Так, запродам овсишко, ну и взял маленько задатку...»

Вызвав удивление, зависть, почтение, он довольно и хитро засмеялся, вернее, засипел, открывая розовый рот, поблагодарил за чай, за угощение и пошел одеваться.

— Нет, пора, пора, — сказал он, хотя никто не оставлял его. — И так припоздал. Лучше на Покров еще приеду.

Все были разочарованы и ушли, не дождавшись, пока он оденется. В прихожей остался один Сева.

— Ну, вот вы, Лукьян Степаныч, говорите, что вам восемьдесят с гаком, — начал он, садясь на коник. — Ну, скажите откровенно: боитесь смерти? Часто о ней думаете?

— Погоди, расскажу, — ответил Лукьян Степанов, одеваясь.

И опять ничего не рассказал. Повязав уши, надвинув шапку на самые брови, туго и низко подпоясавшись, он стал нанизывать на себя тулуп. Справившись с этим, он устал, задохнулся и тяжело сел рядом с Севой.

— Смерти-то? — сказал он. — Кто же ее не боится? Чудак-человек! Да ведь что ж сдела-

ешь? И умрешь, не откажешься... И богатства своего, брат, с собой не возьмешь!

— А вот, вы с деньгами так-то ездите: не боитесь, что убьют, ограбят?

— Что я с деньгами, того никто не знает. А и узнает, не догонит. Такого жеребца, как мой, у твоего деда на свадьбе не было.

Усевшись на дрожки верхом, Лукьян Степанов шибко понесся со двора, но, миновав церковь, гумно, всех, кто мог его видеть, потянулся шагом. А в накуренном зале долго стоял столбами свет предвечернего солнца. Сева открыл пианино, в тысячный раз что-то начал. Хозяйка с грустным и важным лицом несправедливо обиженной, но покорной своей судьбе женщины занялась мытьем и вытиранием чайной посуды, брезгливо отдав горничной вазу с вареньем, из которой ел Лукьян Степанов:

— Выкиньте это и вымойте горячей водой.

Люлю встала с болезненной гримасой, — ах, уж эти доморощенные музыканты! — и, выйдя из дому, медленно пошла по липовой аллее, стараясь наступать на сухие листья, золотые и розовые. «Осень, осыпается весь мой

бедный сад!» — высоким голосом запела она. Но оборвала песню на первых словах, свернула на дорожку среди сиреневой заросли, села на скамью и вдруг зарыдала, подавляя рыдания, злобно закусывая край платка, чтобы не закричать от боли. Полоса яркого вечернего света легла на серый старый стол возле скамьи. Какая-то черноглазая птичка беззвучно слетела на ветку, с ветки на стол, туго, бочком прыгнула раза два, с любопытством глядя на плачущую. На гумне, куда, притворяясь хозяином, шел Мика в австрийской куртке и высоких сапогах, ровно гудела молотилка. Ясный, равнодушный вечер был так тих, что она слышна была далеко в поле — желтом, пустом, золотившемся шелковыми сетями паутины.

Через несколько дней подали к крыльцу никулинского дома тройку. Кучер надел плисовую безрукавку, шелковую канареечную рубаху и шляпу в павлиньих перьях, барыня и барышня — траур: всегда есть какая-нибудь умершая дальняя родственница, а это ведь так удобно, если нет хороших костюмов для вагона. Спустив вуали, натягивая фильдекосо-

вые перчатки, они ласково и грустно прощались с прислугой, принимая зонтики, накидки, рыжий плед покойного Никулина. Сева поехал верхом, на нервной худой кобылке. До станции всего двадцать верст, поезд отходил в семь, а выехали в два. Можно было отстать. Сева отстал возле хутора Лукьяна Степанова. Тройка скрылась в степи, среди ржаных жнивей; он повернул на заросшую полынью дорогу к хутору.

Было жарко, вокруг блестела сухая вспаханная земля на картофельных обобранных полях. Вдали серебрились тополя. Навстречу шел по пыли белый толстый мальчик, лет трех, в грязной рубашечке, в большом картузе, похожий на старичка, — шел, положив голову на плечо, неизвестно куда. «Заблудится, пойдет к черту на кулички», — подумал Сева, смеясь.

Был праздник, послеобеденное время — хутор казался необитаемым. Вот плетень и въезд в широкий двор. На дворе — телеги, сорокаведерное каменное корыто, журавль колодца, тень от старых амбаров под сизой соломенной крышей. Нарушая вид степного му-

жицкого гнезда, белеет за амбарами еще не крашенная железная крыша нового мещанского дома на высоком фундаменте. Дальше — какой-то черный исполинский шалаш, возле которого висит на шесте дохлый ястреб. Впереди — мелкий пруд, сверкающий на солнце, глиняные берега в гусином пуху. А по другую сторону двора — развалины варка, старинного, еще тех времен, когда хутор принадлежал барону Ачкасову: каменные крепостные стены, голый остов несокрушимых стропил. Все ворота настежь — виден навоз, слежавшийся, спекшийся, выросший за многие годы под самые переметы.

Лукьян Степанов одиноко и величаво стоял среди двора, без шапки, в лиловой рубахе, опираясь на рогач. Невдалеке тихо сидел в ведре, забитый в него, закутанный в попонку, бледный ребенок в чепчике. Другой, в продранной на тугом животе рубашке, криво и старательно заносил полную ножку, взбираясь на каменное крыльцо амбара. А вокруг все было усеяно спящими: одной семьи у Лукьяна Степанова шестнадцать человек, да еще гости, кум с женой, приехали. Все ошале-

ли, ослабели после обеда, повалились где попало и заснули. Один Лукьян Степанов не сдался: был еще во хмелю, красен, но стоял бодро.

Когда Сева въехал во двор, Лукьян Степанов не спеша подошел, подал ему руку и осмотрел запотевшую под седлом кобылку.

— В Москву за песнями? — спросил он с усмешкой.

Под навесом амбаров сидели на цепях овчарки. Он погрозил им. Возле них, в тени, крепко спал на спине кум, мужик с черной бородой. На солнце, в телеге — баба в зеленом платье и старший сын Лукьяна Степанова, в атласной синей рубахе, в кованых сапогах, с выпущенными из-за голенищ каемками шерстяных чулок. Эти лежали ничком, обнявшись. Прочие спали прямо на траве. Бабы — прикрывшись от солнца фартуками.

— Яишенку? А? — спросил Лукьян Степанов.

Сева, смеясь, отказался:

— Мы только что от завтрака.

— Ну, чайку?

— Право, не хочется. Да и на станцию бо-

юсь опоздать.

— Значит, опять в Москву?

— Да... Пора. Я и так пропустил уже много уроков.

— Жисть вам! — сказал Лукьян Степанов, как бы с завистью, но не скрывая и насмешки. — Урков! А я вот тысяч на сорок имею, князь во князьях, а все сижу. В Киев и то не соберусь никак. А понужней твоих урков. Пойдем, дом покажу.

Возле дома, на рвани ватного одеяла, сушилось просо.

— Кш, пропасти на вас нету! — сказал Лукьян Степанов, махнув рогачом на высоких худых цыплят, бегавших по просу, и поднялся на крыльцо, вошел в сени, делившие дом на две половины. Полов в сенях еще не настилали: навалены были тут рассыпавшиеся колеса, разохшиеся кадушки, кирпичи, известка. В отворенные двери глядели пустые комнатки, кафельные печки, медные отдушники, стены в голубеньких обоях.

Сева спросил, оглядываясь:

— А что же вы его не доделываете?

— Это кого? Дом-то?

— Да.

— Капиталу, брат, не хватает. Это ведь у тебя одна забота — урки учить, задачи решать да диктовку гнать.

— Нет, без шуток? И не доделываете и не переходите. Ведь вы, говорят, под шалашом, в землянке живете?

— Она землянка, а лучше всякой избы, — сказал Лукьян Степанов. — А не перехожу, это правда. Третий год не перехожу, оттого и не доделываю. Не в капитале, понятно, дело. Дай ребятенки подойдут, выровняются.

— Какие ребятенки?

— А внуки. Их у меня числа нет. Пусти-ка их! Живо все шпалеры обдерут.

В задней комнате, в зале, как назвал ее Лукьян Степанов, сидела на полу босая баба, милостивая, очень смиренная на вид, и рубила косярем зеленую траву.

— Это кому же? — спросил Сева.

— Свињьям кушанье готовит, — сказал Лукьян Степанов. — Пойдем. Тут жарко.

— А я все-таки избу вашу хотел бы посмотреть.

— И в избу сведу.

Под громадным, черным от старости шалашом толстый потолок из бревен покрывал громадную землянку. Спустились вниз по земляным стертým ступенькам. Внизу было мрачно, темно — свет проходил только в два крошечных окошечка под самым потолком. Сева увидел нары человек на двадцать, опять-таки заваленные старьем — попонами, лотками, ошметками лаптей, люльками; оглядел рассевающую кирпичную печь, полати, стол, занимавший чуть не половину избы, щербатые чугуны на мокром земляном полу возле печки, — в них, в воде с золой, выпаривались портки и рубахи.

— Но это ужасно! — сказал он, смеясь. — Как же вы тут живете! Ведь вас шестнадцать человек. И целую зиму спите все вместе...

— Ничего тут нету ужасного, — сказал Лукьян Степанов, что-то внимательно оглядывая под печкой, и вдруг махнул рогачем: изпод печки, раздувая золу, вылетел больной облезлый голубь. — Ничего тут нету, братец ты мой, ужасного. Девять лет прожил, как дай тебе бог прожить. Ни разу не угорели. Диво, а не изба. А теплынь какая! Зимой прямо хоть

рубаху скидывай... Мы, брат, люди земляные.

— Но сыро, должно быть, ужасно?

— Наладил! Сыро, это правда, дюже сыро.

Пойдем свою охоту покажу.

«Охота» Лукьяна Степанова, его знаменитые на всю округу чернопегие битюги помещались в особом дворе, в каменной, крытой тесом пристройке к новому дому. Отомкнули замки на высоких тесовых воротах, вошли в уютный квадрат из денников и амбарчиков с крылечками и маленькими железными дверками.

— Вот буду жить в новом доме, проснусь так-то ночью, гляну, ан мне из залу все и видно, — сказал Лукьян Степанов, показывая на окошечко, глядевшее из дома во двор. — Понял? Умно придумано? Истинно, как Адам в раю, живу! Истинно, князь во князьях.

Глаза его стали блестеть. Денники тоже были на замках. Отмыкая их, он распахивал дверь, смело шел прямо к заду лошади, оглаживал его и шел в голове.

— Ты не ходи, не ходи! — кричал он из денника. — На порожке стой. Насмерть убьет! Меня только одного подпускают...

Страшные траурные лошади вздрагивали всей кожей, шарахались, храпели, косили огненными глазами. Гривы у них были черные, густые, чуть не до земли. Раскормлены они были на удивление, до желобов на спинах и крупах.

— А? Что? Каково? — глухо кричал Лукьян Степанов из темноты. — Видал? А то Москва... Боле ста лет в нашем роду этот самый завод, такой масти ни у кого во всей губернии нет. Стану помирать, накажу цельную тройку запрячь в самую первую телегу, — тройкой гроб помчат!

Потом, нагнувшись, переступил порог денничка, где стояла ладная жемчужная кобылка:

— А это моя любимица! Земчужная лошадка называется. У, матушка! Любишь? Любишь? — Любит, чтоб ей носик чесать, страсть любит, — сказал он с восторгом, обращившись к гостю.

Все осмотрев и затворив, замкнув, он обрел еще более прекрасное расположение духа.

— Погоди, дурачок, погоди, поспеешь! —

говорил он, удерживая Севу. — Пойдем чай пить. А не хочешь, давай так посидим, побалакаем...

Он сходил в избу, принес скамью, сел; глубоко и довольно вздыхая, усадил Севу рядом с собой.

— Эй, бабка! — закричал он на весь двор. — Старуха!

Толстая, сутулая старуха в шерстяных чулках, в очках, с паголенком и спицами в руках, показалась из-за шалаша.

— Княгиню-то мою еще не видал? — спросил Лукьян Степанов, кивая на нее. — Заодно уж и ее погляди. Она у меня тоже при деле. За избой сидит, мак стережет.

Старуха подошла и низко поклонилась.

— Ну, как? — спросил Лукьян Степанов. — Сидишь? Никого не видать?

— Пока, слава богу, никого. Да ведь знают, что есть караул.

— Маку немножко для потехи посеял, — сказал Лукьян Степанов, обращаясь к гостю. — Я этих там маков, подсолнухов ни по чем не уважаю — для потехи только сею по малости, абы ребятишкам хватило. Как сеяли

деды-прадеды ржицу, так и нам бог велел. Они только ее, матушку, знали, а сигарки из трехрублевок вертели. Я, братец ты мой...

Старуха стояла и блестела мелькающими спицами, слушала, глядя исподлобья, из-за очков. Лукьян Степанов слегка нахмурился.

— Ну, будя, послухала, — сказал он и махнул на нее рукой. — Что приглядываешься? На мне узоров нету. Ступай, ступай отцеда...

Вечерело. Галки, болтая, усаживались на решетчатые колпаки на трубах нового дома. Стали просыпаться спавшие. Один за одним прошли мимо, на пруд, умываться, сыновья Лукьяна Степанова — угрюмые, густоволосые, крепкие мужики. Ребенок, сидевший в ведре, повалился вместе с ведром и кричал на весь двор. Сева простился. — «Ну, во святой час, — сказал Лукьян Степанов, — подюжей учись», — и Сева, вскочив на свою нервную кобылку, поехал по плотине пруда. Вечерняя прохлада и тишина сходили на степь. Воробьи осыпали горелую, голую лозинку на плотине сплошным треском, вечерним, уютным. Желтоватая жидкая вода кишела возле плотины мельчайшими вшами. Умывшийся му-

жик сидел на глиняном берегу распояской, отражался под берегом и глядел на оранжевое солнце, садившееся за степью, за неоглядной равниной, в молочно-голубом сухом тумане. Жнивья были лимонные. Пастушонок, с раздутой губой, в бараньей шапке, медленно гнал по ним стадо овец. Они двигались скопом, на ходу докармливаясь, с шумом дыхания. Сева, отъехав от хутора, ударил плеткой по лошади и понесся вскачь, оставляя за собой столб пыли. Столб этот протянулся на версту и не опадал долго, долго...

В Москве всю осень шли дожди. Мика не писал и не слал денег из деревни — опять с любовницей связался. Мама хворала, — по крайней мере, не принимали никого, говоря, что она хворает. Принимали только одного Жедринского, старого театрала, бритого, очень полного, страдавшего одышкой, славившегося своими острогами на весь город. В ноябре Люлю, неожиданно для всех, вышла за него замуж. Теперь уже валил снег, ночью вверх по Тверской одна за одной неслись, гремя глухарями, тройки. Жедринский часто проводил ночи с компаниями в Стрельне. Ку-

ря на морозе сигару, сидя в дохе между женою и маленькой знаменитой артисткой, Жердинский все наклонялся к ней и остротами вполголоса заставлял ее хохотать до упаду и бить его по рукам. Люлю, в дорогих легких мехах, в средневековом бархатном берете, печальными, молящими глазами, уткнув лицо в муфту необыкновенной величины, смотрела на сидящего напротив молоденького сумского офицера. Его сосед, знаменитый певец, с лицом екатерининского вельможи, стриженный в скобку, по-мужицки, но в цилиндре и медвежьей шубе, делал ленивые, бесстрастные глаза: ревновал. Люлю грустно думала:

— Я гадкая, гадкая...

Жизнь в Стрельне, у Яра только начиналась. Весело было входить туда, в огни, тепло, блеск зеркал, теплый воздух, пахнувший сигарами, шампанским и жареными рябчиками, отряхивать морозный снег с мехов, кидать их на руки ловких людей в поддевках и помогать дамам, шуршащим шелком юбок, покрасневшимся и сияющим с мороза, расстегивать ботинки!

А Лукьян Степанов, мирно ночевавший со

всем своим многочисленным потомством в теплой земляной берлоге, уже третий раз просыпался в эту пору и босой выходил наверх, на скрипучий снег, под черно-синее небо и звезды.

Капри. 30 декабря. 1912

Последнее свидание

I

В лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь.

Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое, высокое казацкое седло, вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен. Только глубоко, раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана. Работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами.

Кургузый, под седлом, мерин стал щеголеватей. Доведя его до дома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и

ушел. Мерин долго щеплял, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел нутром. В луже возле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрачный туман.

Стрешнев, держа в руке арапник, вышел на крыльцо. Горбоносый, с маленькой, откинутой назад головой, сухой, широкоплечий, он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но и при луне было видно, что у него поблекшее, обветренное лицо, жесткая кудрявая бородка с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары, на полах поддевки — темные пятна давно засохшей заячьей крови.

В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил:

— Андрюша, ты куда?

— Я не маленький, мамаша, — сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод.

Форточка закрылась. Но в сенях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с стухшими гла-

зами, с зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно.

— Ты куда, Андрей? — хрипло спросил он. — Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее.

— Кого ты можешь уважать? — ответил Стрешнев. — И что ты лезешь постоянно не в свое дело?

— Виноват, виноват! — сказал Павел. — На условное свиданье мчится юноша молодой!

Стрешнев, стиснув зубы, стол садиться. Как только нога его коснулась стремени, мерин ожил, тяжело завертелся. Улучив минуту, Стрешнев легко поднялся и опустился на закрипевший арчак. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью.

II

В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались с меж — и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна, яркая и точно мокрая, мель-

кала по голым вершушкам, и голые сучья сливались с ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновою корой, оврагами с прелой листвою... Вот спуск в разлужья, как будто бездонные, залитые тонким белым паром. Белым паром дышит и мерин, пробираясь среди кустарников, стеклянных от росы. Хруст сучков под копытами отдается на той стороне, в высоком лесу, темнеющем по скату горы... Вдруг мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив Стрешнева, они взметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору, по белой изморози, радужно сияющей траве.

— А если она еще на день останется? — сказал Стрешнев, откидывая голову, глядя на луну.

Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо... Осенняя печаль и красота!

Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь и ноя сильным нутром, поднимался в частый высокий лес, по глубокой ложбине размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть

не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекошил лицо и со всей силы ударил его по голове арапником.

— У, старая собака! — крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес.

За лесом открылись пустые поля. На скате, среди темных гречишных жнивий, стояла бедная усадьба, кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при луне! Стрешнев остановился. Казалось, что поздно, поздно, — так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончая собака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с приветом постучала хвостом. Стрешнев вошел в сени, пахнувшие из чулана старым отхожим местом. В передней был сумрак; стекла, в холодном поту, золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками и радост-

но, тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется ее сердце, чувствовался крестик на ее груди, золотой, бабушкин — последнее богатство.

— Ты до завтра? — быстрым шепотом спросила она. — Да? Я не верю своему счастью!

— Я пойду, Вера, лошадь убрать, — сказал Стрешнев, освобождаясь. — До завтра, до завтра, — сказал он, думая: «Боже мой, с каждым днем все восторженней! И как много курит, как неумеренна в ласках!»

Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку — заветную, хранимую для самых важных моментов, единственную.

«Как твердо знал я, — думал Стрешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, — как твердо знал пятнадцать лет тому назад, ни минуты не колеблясь, пятнадцать лет жизни за одно свидание с ней!»

III

Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотись на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога ее в легкой, дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна.

— Я для тебя всем пожертвовала, — тихо сказала она, и губы ее опять задрожали.

В голосе ее было столько нежности, детского горя! Но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил:

— Чем ты пожертвовала?

— Всем, всем. И прежде всего честью, молодостью...

— Мы с тобой не бог вещь как молоды.

— Какой ты грубый, нечуткий! — ласково сказала она.

— Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произноси-

мое разно. Сперва с восторгом, с восхищением: «Ты такой умный, чуткий!» Потом: «Какой ты грубый, нечуткий!»

Тихо плача, она продолжала, как бы не слушая:

— Пусть из меня ничего не вышло... Но музыку я любила и люблю страстно и хоть немного, но добилась бы...

— Ах, не музыку. И как только Падарский...

— Грубо, Андрюша... А теперь я жалкая институтская таперша, и где же! В том самом проклятом городе, который я всегда так ненавидела! Разве я не могла бы и теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью и любил и уважал бы меня? Но память о нашей любви...

Стрешнев закурил и стал отвечать медленно, разделяя слова:

— Вера, мы, дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отравы для нас. И это я, а не ты, загубил себя. Пятнадцать, шестнадцать лет тому назад я приезжал сюда каждый день и готов был ночевать у твоего порога. Я тогда был еще мальчишка, восторженный и нежный дуралей...

Папироска потухла. Он далеко отшвырнул ее, уронил руку вдоль тела, глядя в потолок.

— Любовь прадедов, их портреты в овальных рамках с золотой бумажкой вокруг синей... Образ Гурия, Симона и Авива, покровителей наших древних семей... Кому, как не нам с тобой, назначалось все это? Я тогда стишки писал:

*Любя тебя, мечтал я о мечтавших,
Любивших здесь сто лет тому назад —
И по ночам ходил в заглохший сад,
При свете звезд, их некогда кидавших...*

Он взглянул на Веру и заговорил резче:

— Зачем ты ушла — и за кем? — из своего рода, из своего племени?

Он приподнялся и стал в упор, злыми глазами глядеть на се черные сухие волосы.

— Я о тебе, с восторгом, с благоговением, всегда только как о жене думал. А когда нас свела судьба? И чем ты мне стала? Женой разве? А была молодость, радость, чистота, тем-

ный румянец, батистовая косоворотка... Приезжать к вам каждый день, видеть твое платье, тоже батистовое, легкое, молодое, видеть твои голые руки, почти черные от солнца и от крови наших предков, татарские сияющие глаза — не видящие меня глаза! — желтую розу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку, даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом, а притворяясь, что играешь, гонишь крокетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона — это было для меня...

— Она, а не я во всем виновата, — с трудом сказала Вера.

— Нет! Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву, собиралась, рассеянно пела что-то, не видя меня, поглощенная своими мечтами, уверенностью в счастье? Я вас поехал провожать верхом, в ясный холодный вечер. Блестели яркие зеленыя, розовели жнивья и занавеска в открытом окне вагона... Ах! — сказал Стрешнев со злобой и со слезами и опять лег на подушку. — От твоей руки, пахнувшей вербеной, остался запах и на моей ру-

ке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я все еще чувствовал его, ехал в сумерках по большой дороге — и плакал... Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница!

И, чувствуя на губах теплую соль слез, катившихся по его щекам, по усам, Стрешнев скинул с постели ноги и вышел из комнаты.

Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синяя. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко, в холодном потемневшем лесу, пел петух в сенцах караульщика. Стрешнев, в одних носках, сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой.

— А потом, конечно, роли переменялись, — сказал он тихо, с отвращением. — Ну, да теперь все равно. Конец...

IV

Утром пили чай в холодной прихожей, на огромном сундуке. Самовар стоял на нем нечищенный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхнего стекла. Виден был в него солнечный

блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Босая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала:

— Митрий приехал.

— Подождет, — ответил Стрешнев, не поднимая глаз.

Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь, под глазами и вокруг век был коричневый налет. Черное платье делало ее моложе и красивее, от черных волос пудра на лице казалась розовее. Сухое, жесткое лицо Стрешнева было мертвенно, откинута назад. Сквозь жесткую курчаво-серую бородку глядел большой кадык.

На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик, с оловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндевевшей, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из

черной соломы с жесткими, ржаво-атласными цветами.

Проводил ее Стрешнев по отпотевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе. Он стегал его по морде арапником, мерин задира л голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за Стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое, ясное.

Возле большой дороги мужик неожиданно сказал:

— А я, барышня, опять пригоню на лето к вам своего мальчишку. Я его опять к вам в пастушата предназначил.

Вера обернулась с застенчивой улыбкой. Стрешнев снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его седеющему виску, тихо сказала:

— Будь здоров, дорогой. Не поминай лихом.

По большой дороге мужик загремел телегой, поехал рысью. Стрешнев повернул, по-

ехал назад без дороги, по жнивьям. Собака издали провожала его, четко видная среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей арапником. Она тоже останавливалась, садилась. — «Куда ж я пойду?» — как бы спрашивала она. И, как только он трогался, опять неспешной рысцой бежала за ним. Думал он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда...

В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, подо всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На перьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, только изредка перелетая, перенося свою тихую, прелестную, счастливую жизнь.

Капри. 31 декабря 1912

Жертва

Семен Новиков, живший с братом своим, сухоруким Никоном, Петровками горел. Братья согласились поделиться, и Семен, высялаясь из Брода, рубил себе избу на большой дороге.

Под Ильин день плотники отпросились ко двору. Надо было ночевать на постройке Семену. Поужинав вместе с большой семьей брата, в тесноте, среди мух, он закурил трубку, накинул полушубок и сказал своим:

— У вас тут духота. Пойду на постройку, там ночую.

— Ты хоть собак-то возьми, — ответили ему.

— Она! — сказал Семен и пошел один.

Ночь была месячная. За думами о будущем дворе Семен и не заметил, как поднялся из села по широкому прогону на гору и отмахал по большой дороге с версту — до своей запотолоченной, но еще не покрытой избы, стоявшей на опушке хлебов, в пустом поле, черневшей окнами без рам и тускло блестящей против месяца концами свежих бревен по углам, па-

клей, торчавшей из пазов, и щепой на пороге. Низкий июльский месяц, поднявшийся за оврагами Брода, был мутен. Теплый свет его рассеивался. Спелые хлеба тускло, сумрачно белели впереди. А к северу было и совсем хмуро. Там заходила туча. Мягкий ветер, дувший со всех сторон, иногда усиливался, порывисто бежал по ржам и овсам — и они сухо, тревожно шелестели. Туча на севере казалась неподвижной, но часто подергивалась золотым быстрым блеском.

Семен, по привычке сгибаясь, вошел в избу. В ней было темно и душно. Желтый месячный свет, глядевший в пустоты окон, не мешался с темнотой, только увеличивал ее. Семен кинул полушубок на стружки посреди избы, как раз на одной из полос света, лег на спину. Пососав потухшую трубку и подумав еще маленько, заснул.

Но вот понесло в окна ветром, глухо заворчало вдали.

Семен очнулся. Ветер усилился — он бежал теперь по горячечно шумящим хлебам непрерывно, и свет месяца стал еще тусклей. Семен вышел из избы за угол, в сухо и знойно шур-

шавшие, бледные, как саван, овсы, посмотрел на тучу. Она, темно-аспидная, заняла полнеба. Ветер дул прямо в лицо, задира, путал волосы и мешал смотреть. Мешали смотреть, слепили и молнии, загоравшиеся все жарче и грозней. Семен, крестясь, стал на колени: вдали, среди овсяного моря, выделяясь на стене тучи, двигалась на Семена небольшая толпа, с обнаженными головами, в белых подпоясках, в новых полушубках, — с трудом несла саженный запрестольный образ древнего письма. Толпа была туманная, призрачная, но образ виден хорошо — страшный, строгий лик, красневший на черной доске, опаленной свечами, закапанной воском, окованной старым, сизым серебром.

Ветер разобрал волосы на лбу Семена, приятно отдувая их, — и Семен, в страхе и радости, до земли поклонился образу. Когда же поднял голову, то увидел, что толпа стоит, неловко держа величаво откинутый образ, а на туче, как церковная картина, начертался и высится огромный зрак: белобрадый, могучий Илья в огненном одеянии, сидящий, как бог Саваоф, на мертвенно-синих клубках обла-

ков, а над ним — две горящих по аспиду зелено-оранжевых радуги. И, блестя очами-молниями, голос свой сливая с гулом, с громами, сказал Илья:

— Держись прямой, Семен Новиков! Слушайте, князья-хрестьяне, вот я буду судить его, временнообязанного хрестьянина Елецкого уезда, Предтечевской волости, Семена Новикова.

И все поле, белевшее вокруг, все колосья его вместе с куколем понесли, побежали вперед, поклоняясь Илье, и в шуме их сказал Илья:

— Я серчал на тебя, Семен Новиков, желал покарать тебя.

— За что, батюшка? — спросил Семен.

— Непристойно тебе, Семен Новиков, меня, Илью, спрашивать. Ты должен ответ держать.

— Ну, ин, будь по-твоему, — ответил Семен.

— Позалетошний год я убил молоньей Пантелея, старшого твоего: ты зачем закопал его в землю по пояс, колдовством воротил его жить?

— Прости, батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Жалко было малого. Рассуди: ведь кормилец-поилец при старости.

— Летошний год я посеял, повалил твою рожь градом, вихрями: ты зачем прознал о том загодя, запродай эту рожь на корню?

— Прости, батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Сердце чуюло, нуждишка была.

— Ну, а нонче, в Петровки, не я ли спалил тебя? Ты зачем спешишь строиться, отделяешься?

— Прости, батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Сухорукий брат мой несчастливый: от него и все беды, думалось.

— Закрой глаза. Я подумаю, посоветуюсь, чем казнить тебя?

Семен закрыл глаза, склонил голову. Ветер шумел, — он старался сквозь шум его тайком поймать, о чем шепчется Илья с крестьянами. Но опять загредело над ним — ничего не стало слышно.

— Нет, не придумаем, — во весь голос сказал Илья. — Сам посоветуй мне.

— А глаза-то открыть? — спросил Семен.

— Не надобе. Слепой тверже думает.

— Чуден ты, батюшка, — серьезно усмехнулся Семен. — Да и что ж тут придумывать? Поставлю тебе свечку трехрублевую.

— Не из чего. На постройку потратился.

— Тогда в Киев схожу.

— Это только бездельничать, лапти трепать. На кого же хозяйство останется?

Семен задумался.

— Ну, девчонку, Анфиску, убей. Ей и всего-то второй годок. Девочка, сказать по совести, умильная, — жалко нам будет ее, да ведь что ж сделаешь? Все не с малым сменить.

— Прислушайте, православные, — громко сказал Илья. — Соглашаюся!

И такой огонь разорвал всю высь, что у Семена чуть веки не вспыхнули, и такой удар расколол небеса, что вся земля под ним дрогнула.

— Свят, свят, свят, господь бог Саваоф! — прошептал Семен.

Очнувшись, открыл глаза, он увидел лишь пыльную тучу, хлеба и себя самого, на коленах стоящего в них. Пыль вихрем неслась по дороге, и месяц совсем замутился.

Семен вскочил на ноги. Позабыв о полу-

шубке, он поспешно пошел к себе. Крупный дождь захватил его на выгоне. Темные облака надвинулись над стемневшими оврагами. Красный месяц закатывался. Село спало крепким сном, но скотина по дворам беспокоилась, петухи орали. И, подбегая к своей старой избе, Семен услышал в ней вопли. У порога стоял сухорукий Никон, в полушубке и без шапки, тощий и морщинистый, глядел тупо и растерянно.

— Беда у тебя, — сказал он, и по голосу его было слышно, что он еще не совсем проснулся.

Семен вбежал в избу. Бабы с криком метались в темноте, ища серников. Семен выхватил из-за образа коробочек, зажег каганец: люлька, повешенная возле печи, носилась из стороны в сторону, — бабы, задевали ее, бегая, — а в люльке лежала вся сизая, мертвая девочка, и на головке ее чепчик тлел.

Жил Семен с тех пор счастливо.

Капри. 1913

Забота

Солнечный осенний вечер прохладен. Из-за дворов большого села, растянувшегося по скатам и лугам, к родниковой речке, желтеют новые ометы и скирды. Улица села в тени, солнце опускается за дворами, за гумнами — и ярко краснеют против него глинистые бугры по ту сторону лугов, блестит на этих буграх стекло в избе мельника.

Старик Авдей Забота, зажиточный мужик, собирается в город.

Возле его двора, на дороге между двором и пуньюкою, дремлет запряженная в телегу сивая кобыла с мелкими, врозь расставленными копытцами, с большими ресницами, с серыми усами и большой шершавой нижней губой. Авдей курчав и сед, крупен и сумрачен; на плоской спине его, под линючей ситцевой рубашкой, выдаются лопатки. Он ходит возле телеги, набитой соломой, с молотком в руке, держит губами пучок гвоздей и ни на кого не смотрит.

У него горе.

Он в последние дни мучился думами: про-

давать ли барана? Баран стар, но продавать его не след, не время. Продавать нужно было бы хлеб. Осень погожая, урожай отличный, одна кладушка уже обмолочена, — только бы насыпать да в город. Но цены на рожь, на овес стоят страшно низкие. Ни зерна нельзя продавать, как ни торопи нужда... Продумав неделю, Авдей решил расстаться лучше с бараном.

Но он постарел за эту неделю, осунулся и потемнел в лице. Взгляд его тверд и сумрачен. Собирается он, ни на кого не глядя.

Дочь, в нижней коленкоровой юбке, без кофточки, в одних шерстяных чулках, раза два робко и быстро перебежала дорогу от избы к пуньке. Она тоже собирается — на девишник к подруге, но боится отца, боится своей затаенной радости, своей беззаботности рядом с его заботой, — старайся проскользнуть незаметно. Братишка, пузатый мальчик, в огромной старой шапке, облизывая губы разделенные соплями, долго хлопал, размахивал обрывком кнута и падал среди дороги. Чтобы угодить отцу, она на бегу поймала его ледяную пухлую ручку и таким вихрем умча-

ла его в избу, что он не успел даже крикнуть.

Старуха стоит на пороге и не сводит жалостных глаз с Авдея. Она положила тонкую серую руку на выдающийся живот, а другую, подпирающую подбородок, поставила в ее ладонь. Темная, морщинистая, зубастая, она имеет вид страдальческий. Понева ее коротка, ноги длинные и похожи на палки, ступни, потрескавшиеся от грязи, холода и цыпок, на куриные лапы. Живот ее выдается, а спина горбится от трудных родов, от тяжелых чугунов. В разрез рубахи, темной от золы, видны тощие, повисшие, как у старой собаки, груди, а меж ними — большой медный крест на засаленном гайтане.

Ее заботы сделали за долгую жизнь страдальцей, Авдея — нелюдимом.

Телега рассохлась, растрепалась. Раскапывая старновку в ее ящике, Авдей прибавляет кое-где отставшие планки. Дует предвечерний ветер и задирает сзади его рубаху, обнажает желобок на широкой сухой спине, показывает тугой гашник, низко врезавшийся в тело. Портки Авдея висят по-стариковски — точно пустые. Подошел кобель и стал обню-

хивать разбитые, блестящие, только что помазанные дегтем сапоги, в опустившиеся голенища которых заправлены эти портки. Авдей с размаху ударил кобеля по боку молотком.

— Полушубок вынеси да хлебушка завяжи, — сердито сказал он старухе.

Забив последний гвоздь, сдвинув со лба шапку, он решительно пошел в раскрытые ворота унавоженного двора. Половина его была в тени, половина озарена золотистым светом. В теневой половине куры усаживались на насест, на перемет, побелевший от их известкового помета, и заводили глаза. Нахотлившись, сбились голуби под застреху в углу. Они слабо заворковали, когда вошел Авдей... Как радовали его всегда эти хозяйственные куры, голуби, этот теплый Двор, его глубокий навоз, плетенные из лозняка и обмазанные коровьяком с глиной закутки! На старой телеге без передков, давно загрязшей в навозе, валялся обрывок. Взяв его, Авдей направился к закутке, где взаперти сидел баран.

— Батюшка, мать спрашивает: огурчика положить? крикнула девка, заглядывая в во-

рога.

— А сама не знает? — строго откликнулся Авдей.

За решетчатой дверью закуты шуршала солома. Большой круторогий баран в толстой, вьющейся дымчатой овчине, с удивленным бараньим взглядом, с бараньей щеголеватостью, ходил по соломе, мелко тряся жирным хвостом. Быстро распахнув дверь, Авдей кинулся на барана всем телом, сбил, повалил его и торопливо стал связывать обрывком его тонкие ножки. Баран удивился еще более, но не издал ни звука, только глаза выкатил. Авдей поддел под связанный обрывок руку, натужился и, волоча барана спиной по навозу потащил его за ворота, к телеге. Баран, выкатив белые глаза, сделавшись похожим на турка, мелко и быстро тряс хвостом и лизал шершавым языком руку Авдея...

Через полчаса Авдей в пути.

Медлительно скрипит, тянется с горки на горку, проходит мимо изб и пунек, то в тени, то на солнце, по-дорожному пахнувшая дегтем телега. В задке ее лежит веревочный хрептуг с сеном, в передке, на старновке — связан-

ный, спокойный баран. Авдей, в полушубке и глубоко надвинутой шапке, с кнутом под мышкой, с трубкой в зубах, изредка пуская через плечо сладкий, пахнущий донником дым, не спеша, по-дорожному, шагает за колесами.

Вот и крайняя изба, голый и широкий большак: тут поворот влево, на город. С неподвижно простертыми обломками крыльев стоит на нем ветряк, как стоял он и шестьдесят лет тому назад, когда Авдей был еще ребенком. Возле беззаботно перекрикиваются, прыгают на одной ножке, играют в лунки мальчишки... «Подождите, доиграетесь!» — думает Авдей.

По скатам мелкая речка разливается широким плесом по белому щебню, кое-как перекинут мост на ту сторону, плес ослепительно блестит; желто-каменистый подъем за ним весь в зеркальных веселых разводах, в медленно переливающихся отражениях. По мосту едут бездельники-охотники: высокая гнедая лошадь, беговые дрожки, на дрожках, один за другим, сидят верхом два человека, и торчат из-за спин два ружейных ствола. Ав-

дей тянет веревочную вожжу, останавливает свою кобылку и ждет, пока переберутся по узкому и зыбкому мосту встречные. Авдей глядит, но видит все как во сне. Он от горя ко всему равнодушен — как больной.

Наконец перебрался и он через мост. Поднялся на гору, спустился в котловину и опять стал подниматься... Жесткая, выгоревшая за лето мурава ржаво краснеет по каменистым перевалам старой мертвой дороги. Этим перевалам конца нет. До города верст двадцать пять, но он всегда, всю жизнь казался Авдею очень далеким. С перевала на перевал поднимается, идет он, задумчиво глядя вперед. Солнце сзади него, краснеет, садится. Сиянием окружена лежащая по мураве тень Авдея, длинная тень телеги, лошади. Пусто кругом, далеко видно. Воронье бесприютно, по-осеннему ночует на опушке желтых жнивий. На горизонте ряд телеграфных столбов, уходящих в бесконечное поле. Алыми клубами бежит назад дым бегущего товарного поезда — длинной цепи красных вагонов. Авдей до сих пор глядит на поезда неприязненно. Раз в жизни ехал и он по железной дороге. И зака-

ялся: все время кружится голова, все время страшно...

Дойдя до железной дороги, пересекающей большак, он ждет возле переезда, закрытого шлагбаумом. Неприятно рано, по-осеннему, зажгли огонь в будке.

Дальше — шоссе, самая скучная дорога на свете...

Авдею шестьдесят семь лет: скоро умирать. Особой нужды он никогда не знал, от бед, несчастий бог его миловал.

— Расскажи что-нибудь интересное, что было в твоей жизни, — сказал ему однажды молодой барин.

— У меня, слава богу, ничего такого не было, — ответил Авдей. — Вот семьдесят тысяч живу, а благодарю бога, интересного ничего не было.

Но заботы всю жизнь поедом ели его. Жаден, говорили про него соседи победней. «Да ведь тебе, побирушке, хорошо говорить!» — всегда со злобой думал в ответ на это Авдей.

Солнце закатилось, дует холодный ветер. Авдей прикрывает барана соломой, надвигает шапку поглубже, запускает руки в рукава и

мерно шагает по краю шоссе за скрипящей телегой.

Широкий старческий нос его сизеет, стынет, ветер косит седую бороду. Большие серые брови сурово сдвинуты, в потухших глазах — тоска.

Капри. 24 января. 1913

Будни

Казалось, что вечно будут стоять по горизонтам эти бледно-синеющие тучки, под которыми серели соломенные крыши, зеленели лозины и пестрели разноцветные клетки окрестных полей. Июньский день без солнца был особенно долог.

Попов сын, у которого гостил семинарист Случевский, возил с попом навоз. Ворота, возле длинной белой хаты, были открыты настежь. Две испачканных коричневой жижей телеги, две сытых лошади стояли среди взрытого двора на варке. Попов сын ворочал за троих: глубоко поддевал вилами горячие пласты и, подставив под вилы левое колено, вздирал их с сочным треском. Поп, черный, высокий человек, в одной рубахе, в розовых

подштанниках и мужицких сапогах с опустившимися голенищами, не отставал: бодро тряс по плечам синими волосами, запуская в навоз вилы, и крепко шлепал по возу дымящимися ломтями, перевертывая их. Вышли из ворот и отец и сын с потными лицами, но возбужденные, довольные предстоящим в пути на поле долгим отдыхом.

— Господин Шаляпин, присоединяйтесь-ка к нам! — весело крикнул поп семинаристу, идя за колесами, держа в руках веревочные вожжи и развевая на ходу легкие полы незастегнутого подрясника.

Семинарист, сидевший на крыльце, почувствовал в этой шутке фальшивую, корыстную ноту, однако не сдался.

— Да вот та-то и беда, что мечтаешь стать Шаляпиным, — отозвался он. — Запотеешь, охватит ветром — и готов. С голосом, отец Петр, нельзя шутить. А то бы я с величайшим удовольствием.

Семинарист, темноглазый юноша с широким, бледным и важным лицом, смотрел на удаляющиеся телеги, на серо-сиреневую дорогу и на потные, ржавые клоки, раскиданные

но ней. Прошел мимо дьячок, приостановился, пожаловался на свою судьбу и опять рассказал о своем покойном сыне. Огромные руки его, разбитые старостью и пьянством, лежали на костыле и все время ходили, шатали костыль. Огромные дегтярные сапоги глядели из-под коричневого подрясника. Серебряная медаль на красной ленточке украшала грудь. Лицо и крупный нос были розовы, мясисты, в рытвинах. Выпученные гноящиеся глаза, как всегда, плакали; темно-рыжие волосы, заплетенные в косу, жестко вились, как у старух-пьяниц. А говорил дьячок однотонно, с трудом выбивая каждый слог: каждый слог его дрожал, прыгал.

— Отцу Петру счастье! — говорил он. — У него помощник есть. А мой — лежит себе в могилке! Рос — восхищал всех. Бывало, похваляюсь им: «У меня не сын, а гений!» А все говорят: «Если выйдет в вас, Степаныч, лучше всякого гения будет». Вырос, — так, верите ли, хозяйственнее его во всем селе не было! Чахотка в последнем градусе, а и умер, не поддался. «Вы должны на днях умереть», — говорит фельдшер. — «Нет, говорит, не могу я, не сво-

живши рожь, умереть». Скосили мы, связали, сидит зарей на крыльце, смотрит на облака, а я ему и говорю: «Что это ты сидишь, смотришь?» А он и говорит: «Давайте, папаш, куда погодка, на двух подводах возить». — «Да бог с тобой, куда тебе возить! Я мужика хотел нанять». — «Не надо, не надо, сами управимся». — «Как же, говорю, управимся: ее, ржи одной, тридцать четыре копны». А он все свое... Так, верите ли, по двенадцать раз в день на поле летал! И отдыхать не отдыхал, — сядет в холодок, выпьет кваску и опять в телегу. Меня, и то уходил. Чуть свет, еще петухи не крикнут, а он уж подымает: «Вставайте, вставайте скорей, тучки заходят...» В три дня все кончили — и свезли, и обмолотили, и солому прибрали... Гонит меня за веялкой, взял я веялку у Данилкиных, обвеяли, подмели ток... Как последнее зерно в амбар — входит в избу и говорит: «Ну, вот теперь дело другое. Где, папаш, свечи? Зажигайте свечи». Зажгли свечи у образов, он лег на диван — и каюк!

«Недурно», — иронически думал семинарист, слушая. По уходе дьячка он взял тросточку, надел новенькую серую шляпу, наки-

нул на плечи серебристый дождевик и побрел по деревне. Выйдя на выгон, он посмотрел на церковь, бледно белевшую на туче, посмотрел на раскрытые окна казенной винной лавки; хотел было зайти поболтать к сидельцу, но раздумал и пошел по направлению к погосту. Сиделец был отравлен страстью к чтению. С утра до вечера лежал он на своей высокой двуспальной кровати, опершись на локти, и страница за страницей пожирал «Вокруг света». «Сейчас, сейчас, — торопливо бормотал он в ответ на приветствие. — Дайте только до точки дочитаться...» А беседа с гостем, не слушал его, невпопад смеялся, ждал, когда гость уйдет. Поминутно отрываемый от книги то женой, то мужиками, он кидал на них растерянные, шальные взгляды. «Корове пора месить!» — злобно кричала жена, отворив дверь. «Еще четвертку поскорее!» — радостно орал мужик, заглядывая в раскрытое окно. А он не понимал, кто и куда его зовет. В голове его путались острова Тихого океана и прерии, Южный Крест и Гренландия, Бразилия и кафры, голландские колонисты и удавы, реки в тропических чащах и гиппопота-

мы... «И при чем тут Тихий океан?» — думал семинарист, шагая по безлюдной улице. Навстречу ему шел десятский, длинный, в красной рубахе, в разбитых сапогах, из которых один был связан по ступне веревкой. На плече его лежала одностволка.

— Куда это? — спросил семинарист.

— Грачей наказывать, — ответил десятский.

Десятский был человек знакомый: не раз приходил просить газет на сигарки. Полурасыпавшаяся изба его стояла на краю деревни, рядом с погостом. За избой пустовало гумно, без соломы и без риги, валялись, зарастая травой, однозубые вилы, перевернутый вверх дном тележный ящик с двумя новыми, желтыми ребрами, высохшая дегтярка... На лозине вниз головой висел дохлый цыпленок — путало, хотя отпугивать было некого и не от чего. Гордый своей отчужденностью от этого жалкого быта, своими мечтами о Москве и консерватории, семинарист вышел на погост, на бугор за деревней, небрежно откидывая голову, выставляя кадык, посвистывая, шурша серебристым плащом.

На погосте, среди репьев, татарок и могильных бугров бродила рыжая лошадь с палевой гривой. Помахивая жидким хвостом, она щипала мелкую, сухую траву. На большой свежей могиле, на холмике из сизой рассыпчатой глины, лежал, с головой накрывшись армяком, мужик. Смиренно, с опущенными хвостами, тихо переговариваясь, гуляли индюшки лавочника. Гуськом тянулись они к мужику — и вдруг все разом пускались бежать, а добежав, подпрыгивали, вклеывались в его армяк, в голову. Мужик вскакивал, запускал в них горстями глины: индюшки подпрыгивали, треща перьями... Сделав вид, что не замечает мужика, семинарист прошел мимо.

Над господскими могилами росли две березки. Когда-то их окружала деревянная ограда, за оградой стояла скамья «Буду приходить сюда, сидеть, вспоминать и грустить», — думал тот, кто делал все это. И ни разу не пришел. А деревня мало-помалу разломала, растаскала и ограду и скамью. Свиньи взрыли могильные бугры, телята обглодали стволы березок... С иронической улыбкой, посвисты-

вая, семинарист повернул назад. Поблизости от той могилы, на которой старался уснуть мужик, стоял гнилой голубец. Из него выпорхнула мухоловка. Семинарист подошел: в голубце, рядом с фольговой радужной иконкой, лежало круглое гнездышко. От скуки семинарист хотел вытащить его, рассмотреть, разобрать и бросить. Но мужик открыл глаза и пристально посмотрел из-под армяка.

— Отделались? — спросил он.

Вопрос был неожиданный. Семинарист обернулся и поднял брови.

— То есть как это? — сказал он.

— А так. Отучились?

Семинарист не спеша прошел к соседнему могильному бугру.

— А, ты вот про что! — сказал он, садясь и с притворной рассеянностью поглядывая вокруг. — Да, до осени отучился. А ты, кажется, не здешний?

— Я из Рассохина, — ответил мужик. — Из волости еду. Ехал и думаю, — дай, мол, лошадь маленько покормлю... А вы? Духовные?

— Да... Но, главным образом, пению учусь.

— Как пению? — спросил мужик, зевая. —

Хор, значит, будете задавать?

— Нет, брат, не хор, — сказал семинарист и оперся на трость. — Я на сцене буду петь. Да ты, впрочем, этого не поймешь... Я в театр готовлюсь.

Мужик усмехнулся.

— Ну, нет, это я даже очень хорошо могу понять, ответил он. — Ну, только это совсем никуда, совсем скверно. Это вы так много не наживете.

— Да что ты!

— Верное слово, — сказал мужик спокойно и уверенно. — Там вы добра не приобретете. Нет, вы уж лучше по церковному ступайте, по своему ремеслу, — кур да ситники с народа огребать. А в театре петь — это уж самое последнее дело.

— Да чем же последнее?

— А так, что последнее. Там чепуха одна идет. Вы лучше мое готовое слушайте, я уж плохого не скажу. Я не простой, я бывалый человек. Я от этих мужиков теперь отбился, я все лето прошлый год в Липецке прожил. Со всяким могу поговорить...

Скучно синело по горизонтам низкое об-

лачное небо, бледно зеленели хлеба на противоположном косогоре, — поневоле приходилось довольствоваться и такой беседой. Вынув плетеный портсигар, семинарист закурил папиросу, другую протянул мужику. Мужик осторожно взял.

— Вот это покорнейше благодарим, — сказал он, зажигая серник, и, пустив дым в ноздри, посмотрев на папиросу, отрывисто спросил:

— Асмолова?

Семинарист напомнил ему о театре.

— А вот слушайте, — сказал мужик. — Я этих театров нипочем не уважаю. Там, прямо надо говорить, черти живут. Раз куренье там есть, — значит, и водка есть. А уж где водка, там и баб не миновать... Нет, от этого вам надо подальше куда подаваться! Вот кто, к примеру, по монастырям живет, монахи, тем хорошо: гуляй, бесись — и вся недолга. Есть чистые борова, домовые! Цельную жизнь бражничают, весь век в том протекают! А в театрах, там водка, бабье, ну, конечно, и он тут же вертится. Уж где вино, там бесприменно он.

— Это ты про черта, что ли? — спросил се-

минарист.

— А то про кого же? Конечно, про него. Да и верно. Там, куда ни качнись, везде он. Я давно об этом понимаю. Что там хорошего? Я такой-то, и то туда не пойду. Тощавый человек туда и не показывайся — на тройк там не разыграешься. А ездят туда бабье это самое, разные бабы шальные, да купечество: долги свои заверстал — и вали... Я в этом Липецке всего нагяделся. Там в трех верстах сад есть, ну, вот туда и ездят все. Забирают с собой ветчину, колбасу копченую, наливки... Приедут и пируют цельный день. Старуха с дедом не успевают самовар кипятить...

Семинарист небрежно сказал:

— Ну, вот и видно, что ты ничего не понимаешь, несешь чепуху и все путаешь. То грех, а то — «на тройк не разыграешься...»

— Обязательно так! — твердо сказал мужик. — По капиталу глядя, конечно, можно, а таким-то, как мы с вами, голоштанным, зачем туда соваться?

Семинарист вздернул плечами.

— Черт знает что! — проговорил он, помолчав. — Несешь и с Дона и с моря.

— Нет, брат, — сказал мужик. — Умней меня во всем селе нету. Обойди всех, спроси: кто дельнее по хозяйству Назар Павлова Протасова? Со мной старики, и то советоваться приходят.

— А несешь чепуху?

— Какую-такую чепуху? Воспитанья на вас нету хорошего, вот и «чепуху»... Вон у нас сапожник есть... Первое дело, как выпил, сейчас за ребят: у него их целая война, человек двенадцать... Так они винтом от него, кто куда горазд! Ты не гляди, что он пьяный: так, брат, воспитал — по лычку ходят! А, конечно, теперь всем воля дана... Женщину, например, взять: от кого вся сумятица в государстве идет? Опять же от ней. Она теперь во все председания допущена большое количество, а куда она годится? Хоть им теперь тоже хорошее ученье пошло, ну, а все-таки мужчина-то немножко потверже будет!

— Черт знает что! — повторил семинарист, глядя на его густую чубарую бороду. — Что такое у тебя в голове творится? То сад, то театр, то женщины... Ну, скажи на милость, какое отношение может иметь этот дурацкий сад к

театру?

— А такое, — ответил мужик еще увереннее. — Такое, что без этого ему никуда податься нельзя.

— Кому ему?

— Запевале главному, вон кому. Он там, в саду-то в этом, вылупит стакан али два хороших и орет, альни ребра трещат... Он уж не может без этого.

— Да позволь: какой-такой запевала?

— Говорю же вам — главный запевала. Главач этих самых певцов. Натощак он никак не станет для них глотку рвать.

— И опять чепуха, — сказал семинарист. — Певцам и совсем нельзя пить. От этого голос портится.

Мужик ухмыльнулся, поднялся и сел.

— Ну, нет, не чепуха! — сказал он. — Не может от ней голос портиться. От ней голос не хуже, а много злей становится. Как же можно ровнять! От вина человеку все нипочем. Он прямо сам не свой, когда душу свою наспиртует. Вы попробуйте-ка ее, сивухи-то нашей. Она слепому глаза продерет.

Семинарист, махнув рукой, облокотился

на колени и стал осторожно давить концом трости красных козявок, парами ползавших возле его ног. Мужик что-то думал, глядя в землю.

— Нет, этот жребий ваш — жестокий, — сказал он с сожалением. — Жестокая ваша задача. Театры — это как все равно зверильница, или, скажем, цирульня простая... Как эти звери там режут, так я такой страсти прямо с отроду не видывал! Настоятель ходит, — как какой зритель захочет, чтоб зверь встал, он его сейчас железным прутком... Хочет не хочет, а обязательно подыметя.

— Здравствуйте! — сказал семинарист. — Еще к цирульня на сцену появилась. Она-то тут при чем?

— Так, там все есть... Только я этого, говорю, никак не уважаю. Раз там молитвенного нету, все эти театры, зверильницы, цирульши всякие надо запечатывать и скилеты все переломать... Вон у меня родственник есть. Из себя так, писаришка простой, а голос — прямо беда. Молодой еще человек, а пить страшный здоровый, любитель до вина. Залез недавно на крышу и зевает за все село. Это что ж, при-

лично?

— Но зачем же на крышу-то?

— А спроси его! Чума его знает зачем. С сестрой вот, это они, правда, хорошо поют. Его сестра в городе живет, на машинке работает. Она хочь чахоточная, а голос много складней, чем у него, хоть под кого подтянет. Как приедет к нему, сядут зарей возле избы и поют. И не что-нибудь, не мужицкие песни, а все «Накинув плащ» либо «Ах ты, воля, моя воля...». Хорошо выходит. Сулился этот писарь ко мне приехать, вот и вы приезжайте попеть с ними. Я и угостить могу всякого.

— Merci bien[1], — сказал семинарист. — Приехать не мешало бы. Ты поистине достоин изучения.

Мужик радостно улыбнулся.

— Ага! — сказал он, подмигивая.

И горячо заговорил:

— Ах, брат, кабы мне ученье-то, каких бы я корней наворочал! Да ведь откуда ее взять? Я вон в городе недавно был. Так там что исделали? Там земский музей исделали и скилет крокодилий привезли, а он, может, пятьсот либо тысячу стоит. Вот, похоже, куда наши де-

нежки-то идут, вот они мошенники-то, сукины дети! — сказал он с горечью. — А ты вот сиди тут... Да тут от одной скуки удавишься! Я уж на что бывалый человек, а и то не могу!

Скулы его порозовели, лицо приняло злое и грустное выражение. Не глядя на семинариста, он поднялся, надел армяк в рукава и, заскребая сапогами по земле, решительно пошел к лошади. «Чего он разозлился? — подумал семинарист, недоумевающе глядя ему вслед. — Вот нелепая и странная скотина!» Мужик, как бы угадав его мысли, обернулся.

— Чего вылупился? — сказал он зло и грубо. — Ай неправду говорю? Ты должен за ученье благодарен быть, а не лупиться. Я с тобой задушевно, а ты — лупишься. Вот подойду, измордую тебя, в лучшем виде, — тогда судись со мной! Не посмотрю, брат, на твое духовенство, на пение!

Распутав лошадь, он кинул обрывок ей на шею и, подпрыгнув, упал животом на ее спину, перекинул ногу и бодро поехал среди могильных бугров на дорогу.

Ошеломленный таким неожиданным концом беседы, семинарист вспыхнул, переста-

вил трясущимися руками между колен трость.

Мужик повернул на деревню. Семинарист, посидев в оцепенении и успокоившись, пошел под гору, поднялся на косогор и свернул на какую-то высокую межу, осыпанную белым клевером и убегаящую вдаль между двумя стенами серо-зеленой ржи, бледной вдали, под тучей. Мягкий, сладкий ветер дул навстречу, рожь слабо дымилась июньским цветом... Семинарист пожимал плечами и думал.

«Да-а. Без револьвера, собственно, и выходить бы не следовало».

Капри. 26 января. 1913

Личарда

Когда после обедни все сгрудились к подножию амвона маленькой церкви, из купола ее почти отвесно падало на толпу бледное апрельское солнце. Потушенные свечи чадили, в толпе, разнообразно пахнувшей дыханием, волосами и одеждой, стало жарко. Каждому хотелось приложиться поскорее. Низкий и ладный, чернобородый, плешивый мужик, выделявшийся из толпы очень черной сермяжной поддевкой и очень белыми, толсто и аккуратно увязанными онучами, хотел пролезть прежде всех. Но священник, держа медный крест обеими руками, поднял его и смотрел куда-то через головы, а Агафья, чистая, строгая старушка из дворовых, схватила мужика за рукав. Он покраснел, рванулся, что-то заговорил, блестя сердитыми глазами.

— И слушать не хочу, не пуцу не по чину, — ответила Агафья, оттаскивая его в сторону. — Я, брат, к этому глухая.

Мужик долго глядел на нее, и краска стыда, подавленного раздражения не сходила с его лица. Толпа расступилась, — и к кресту

осторожно приложился милостивый молодой человек с чрезвычайно нежным румянцем, напомаженный, в голубой короткой поддевочке и с дворянским картузом в руке. После него кинулись к священнику без толку, а тот стал совать крест кому попало. Чернобородый мужик приложился все-таки раньше многих и быстро вышел в боковую дверь, за оградой же, надевая шапку, кинулся бежать по сохнувшей дороге сзади барского сада.

Теплое солнце точно щурилось, улыбалось сквозь бледную апрельскую дымку в небе. В голом саду, за соломенным валом, пели дрозды, гудели пчелы, хотя кое-где, среди коричневой листвы, еще серел крепкий горбатый снежок. Агафья вышла из церкви на ту же дорогу, по которой пошел мужик, развязывая носовой платочек с меткой-коронай. В платочке были куски просфоры. Она перекрестилась и на ходу стала есть, наклоняясь к ладони, боясь просыпать крошки.

Мужик ждал в конце вала, на пригретой весенней траве. Увидав Агафью, он сдвинул шапку с потного лба и, разбрасывая полы, направился прямо к ней. Агафья в страхе оста-

новилась.

— Ты чему мою девку заучаешь? — спросил он, подходя. — Ты что барину ее подводишь? А?

Агафья хотела что-то ответить, но он сгреб ее за лицо всей пятерней, зажал рот, отламывая голову. Агафья, пытаясь вырваться и крикнуть, стала давиться, пускать слюни.

— Молчи, стерва! — крикнул мужик бешеным шепотом. — Кто ей вчера гостинцев надавал и водкой напоил? Можешь ты такие греховные дела затевать?

Разжав правую руку, он левой схватил ее за шиворот, за темный платок вместе с седыми волосами, нагнул, подставил под ее лицо коленку и крепко ударил об коленку носом. Ноги Агафьи подломились, но, пока она падала, он успел перегнуть ее назад и коротко ткнуть кулаком в зубы. Агафья повалилась, боясь даже плакать. Мужик вытер кулак об изнанку поддевки и, бледный от злобы, задыхаясь, быстро пошел назад. Агафья осталась лежать, слабо и уже притворно охая, сплевывая кровь на зеленую траву, по которой, тихо жужжа, ползали еще сонные пчелы.

Квартировала она у старосты. Староста жил на другом конце деревни, на выезде. Под голой лозинкой, бросающей чуть заметную тень, у порога кирпичной избы, глядевшей на ровный выгон, на большом камне, накрытом суровой скатертью, пили водку и закусывали ситником с творогом и сметаной двое копачей, окапывавших старостину усадьбу, и хозяйка его, Катерина, с дочерью девкой. Староста был в городе, и копачи, угощая Катерину водкой, говорили лишнее, хохотали. Девка, наруганная, в канареечном платье, стояла на пороге; она наелась раньше всех, но не хотела уходить и, тупо улыбаясь, хлопая белыми ресницами, слушала.

Вдруг все смолкли и подняли головы: из-за избы показался сосед, высокий белобрысый малый Гришка. Он вел Агафью, почти тащил ее, маленькую, со включенными волосами, и жмурил глаза от смеха.

— В целости и сохранности! — сказал он, опуская ее под стеной избы на сухую глину. — Сюда, что ль, квартирантку-то вашу определить?

— Да ба-атюшки, кто ж это нос-то ей рас-

шиб? протянула Катерина, раскрывая и оставляя открытым рот с творогом на языке.

Один из копачей, Демьян, низкорослый, кривоногий, с курчавой серой бородкой и широкоскулый, посмотрел на Агафью, со стоном легшую на глину, бодро играющими глазами.

— Знать, где воевала, — сказал он. — Где воевала, старуха, а?

— Вот тебе и досводничалась! — жалобно сказала Катерина. — Да кто ж это тебя, Петровна? Что ж молчишь?

Гришка, упершись руками в бока, подмигнул и качнул головой в сторону деревни.

— Карпуха Большаков, — прошептал он. — За дочь, верно.

— Значит, ей зеркало теперь надо, — сказал Демьян, рассеянно взглянув в зеленеющее поле, в серебристый блеск пригревающего солнца и на лозинку, на суке которой лежал его армяк. — Дашка! — крикнул он девке, стоявшей на пороге с радостно выпученными глазами. — Беги, соломки принеси, ей струшной умирать будя.

— Ступай скорей, — с притворной строгостью прибавил другой копач, Тит, гнутый,

широкоплечий, с волосатым ободранным носом. — Выпей за работу, — обратился он к Гришке.

Гришка осторожно взял с краями налитый стаканчик.

— Значительная старуха, — сказал он, жмурясь от смеха и вытягивая шею, приготавливаясь пить.

— Старушка дружелюбная, старая барская гнида, верная Личарда, — подтвердил Тит, разглядывая чуньки и просторные шерстяные чулки Агафьи. — Здорово земляных шмелей послухала!

— Самый разнесчастный человек! — весело прибавил Демьян. — Мы и ей сейчас поднесем... Верная Личарда, выпить хочешь? — крикнул он. — Забудь горе! Не ешь с Фомой, ешь со мной! Захмелеешь, песни зачнешь играть, танцевать пойдешь!

— Что ты ей спокую не даешь, не трожь ее, — сказала Катерина, из приличия нахмуриваясь. — Поднеси, правда. Ей полегчает.

Демьян пилил стаканчик, вынул из него толстым пальцем кусочек пробки и бережно понес Агафье, одергивая короткую рубаху на

широком заду и гусем ступая на своих крепких выгнутых ногах. Подойдя, он притопнул лаптями и затряс портки. Агафья приподнялась, взяла стакан дрожащей рукой, отпила немного, сморщилась, как от уксуса, и, отирая губы, отказалась:

— Нет, не неволь. Не могу.

— Допивай, допивай! — крикнул Демьян. — Никак нельзя! Агафья допила и, поправляя платок, сбитый на сторону, опять тихо заплакала, сморкаясь в подол. Дашка подала ей кусок ситника.

Гришка выпил еще, поблагодарил и ушел. Агафья не поднимала запухших глаз, плакала и ела, а Демьян бодро заговорил, вынимая изо рта трубку:

— Так-то вот и у нас была в селе такая-то Личарда, сводня, греховодница. Взяла и подвела нашему барину одну барышню из города, вроде как в управительницы. Барин у нас никуда, голова толкачом, голая, наденет круглые очки — чистый филин, а до женского пола первый любитель. Ну, конечно, и улестил ее, хотел, сказывали, увековечить ее, все именье под нее подписать. А барышня попалась

добродушная: развеселая, словоохотливая, так и распускает глаза на каждое слово. Что ей ни скажешь, на все дивится, радуется: «Да что ты? Да что ты?» Вроде дурочки.

— Видал я ее, — сказал Тит. — Часто, бывало, по селу хаживала, а не то по саду. Возьмет зонтик кружевной, подхватит белую юбочку, — наряжалась, правда, хорошо, и юбка вся в кружевцах, — и ходит по дворам, все, нет ли больных, спрашивает: «Я, говорит, жалостлива и сама из бедного быта...» А то по саду с книжкой ходит. Как заходит, сейчас в сад. Идет с книжкой, уткнется в нее, глаза вылупит и так и жжет, только листики перевертываются.

— Верно, верно, и до чтения охотница была, — сказал Демьян. — Только приезжает, значит, к барину гость, малый молодой, должно, из военных, а может, и служака какой... Человек капризный, тощий, а до баб тоже разбалован, зёл...

— Он самый и есть востряк, — сказал Тит.

— Да. Да и она уж, значит, до мужчин стала распущенная...

— Любила блудничать, — вставила Кате-

рина.

— Любила, — подтвердил Демьян. — Такой уж природе была. А может, и сам барин был стар по этому делу. Вынесут им, бывало, в сад под яблонку ковер, подушки, лежат и читают. Утром на станке на токарном точит всякую пустяковину, кровь себе полирует, после обеда — под яблонку. Она в одну сторону, он — в другую, так и блестит очками из травы, как змей. Покатается, покатается возле ней, да только и всего, только разбередит. А тут кста-ти помоложе подвернулся... Слухай да догадывайся! — весело и бодро сказал он, обращаясь к Агафье. — Дело до хорошего дойдет: «и ему отдалась до последнего дня...»

Он засмеялся, подмаргивая, и продолжал:

— Прякрасно. Значит, запялась она с ним, со служакой с этим. Идешь мимо саду, глянешь — сидит на скамейке, плачет и платочком кружевным утирается... Потом, глядь, повеселела: махнула, значит, на свою судьбу рукой, на отчаянность пошла. Мы весь сад с ту лето окапывали и все это хорошо видели. Сходбища у них была в самой их заветной беседке. Беседка была прямо хоть круглый год

живи: столы, стулицы, чистота, пол под желтую одинарную краску, а по бокам черные каемки пропущены. Ну, вот они и повадились туда. Как вечер, как барин в поле, она сейчас проследует в сад, вроде как чтением заниматься, а это и есть самая встреча их. Он, как заяц, прокрадется через задний вал — и к ней... Ну, только и от него она часто в горьких слезах выходила. Капризен был! Иду раз мимо саду, вижу, стоит в своей куртке плетеной, слюнявит платок в руке, к мослаку прикладывает, а рука в крови, — бывает, упал, содрал на валу. Брюки синие в земле и в листу... «Здравствуйте, говорю, Чеслав Викентьич!» Запустил он меня матерком и залился в беседку...

Агафья, все выжимавшая из глаз слезы, вдруг зарыдала, поднялась и, шатаясь, пошла в избу. Дашка, сидевшая на пороге с широко раскрытыми глазами и раздвинутыми коленками, кинула на нее радостный взгляд, вскочила и тоже скрылась в сенцах.

— Горе, правда! — сказала Катерина. — Он ей весь нос размял.

Демьян быстро оглянулся.

— Не горе! — быстрым шепотом сказал он. — Это я ее разжег. Ведь барышню-то она подводила!

— Да что ты! — в один голос воскликнули хозяйка и Тит.

— Сейчас умереть! Ведь она из Голицына?

— Из Голицына, из Голицына, — подтвердила Катерина. — Говорит, к нам на спокой удалилась, дома дюже много врагов, завистников нажила.

— Как же, успокоится такая-то! — сказал Демьян. — Я давно об ней наслышан, ведь Голицыно-то от нас пять верст всего. Я ее сразу признал, только говорить не хотел — угодить сулилась...

— Они страшные хитрые черти, эти дворовые, — сказал Тит.

— И, значит, она самая и загубила эту самую барышню? — спросила Катерина.

— Говорю же тебе — она, — сказал Демьян. — Она и все дело это совостожила. Да ты погоди, что дальше-то будет! Повалялись они, говорю, в беседке в энтой, отделалась она, идет по дорожке, поет песню, а сама цветы рвет, хоть, правда, дюже глаза опять за-

плаканы. А барин-то и вот он. Бросил дрожки за садом и идет прямо к ней с плеткой. Она — туда, сюда, обмерла от страха да так и осталась на месте. Подходит он тут прямо к ней, скидывает с ней косынку кружевную с плеч, рвет, ногами топчет, скидывает брошку, рвет часы золотые на цепочке, зачал и их топтать, только стекла хрустят... Потом за нее принялся: дерет плеткой, и все по морде норовит... Избил, как надо, сшиб с ног не хуже старухи этой — и поскорее прочь, домой, чтобы, дескать, от греха уйти. Прибежал приказчик, кликнул нас, понесли мы ее в контору, а она — безо всяких чувств, лежит, как мертвая, в своем голубеньком платице, в кружевах, и вся лицо тоже вроде как голубая стала, альни нос блестит. Потом призывает барин кучера Никодима и кричит ему с крыльца: «Немедленно свезть ее и этого сукина сына на станцию, отыскать его немедленно, он небось в саду в лопухах хоронится. Брось их где-нибудь в страшную глубину, в пучину-яругу...» Ну, тем же вечером и оттащил ее в телеге на станцию.

— Ужли с любовником вместе? — спросила

Катерина.

— Куда тебе! — сказал Демьян, поднимаясь. — Его и след простыл. Ему-то что ж! Он своего добился, обломал ей сучья-ветья, да по-туда его и видели.

— Я эту историю тоже слышал, — сказал Тит, выскребывая куском хлеба остатки сметаны из чашки. — Я ее, говорю, сколько разов видал. Ее Лизаветой звали. Жидкая, праховая бабенка, а ничего все-таки, аккуратная. Я тогда у попа при молотилке служил. Рабочая пора, самый разгар, я сижу погоняю, а старостишкин сынишка, бедовый дьяволенок, все под привод, под лошадей лезет. Раз сказал, два сказал — нейметя. Я соскочил, поймал его да маленько за височки. Он в голос. Гляжу, бежит эта самая барышня, Лизавета, — по дороге возле гумна с собачкой гуляла, — прямо ко мне: «Как вы смеете, кричит, вас к уряднику надо. Надо с детьми гуманно обращаться...» Будь в другом месте, я бы ее кнутом шарахнул.

— Гуманно! — повторил Демьян и засмеялся, снимая с лозинки свой армяк.

Встал и Тит, перекрестился и, поклонив-

шись хозяйке, пошел вслед за Демьяном отдыхать в ригу. Качая головой, Катерина стала собирать с камня чашки, хлеб, скатерть.

— Мамушка! — крикнула Дашка, выскакивая на порог. — Я боюсь! Она пьяная, на всю избу кричит, волосы с себя дерет...

Катерина, кинув скатерть, вошла в избу. Агафья сидела на лавке и раскачивалась с сильным воем, глядя, но ничего не видя кровавыми безумными глазами, без платка, с растерзанными седыми волосами, сизая от слез и от натуги.

— Господи, прости меня, окаянную! — сипло вскрикивала она, размахиваясь, широко крестясь и кланяясь двери. — Господи, разрази меня, старую дьяволицу, холопку лютую! Ненавижу вас, мужланы дикие! — завопила она, увидав Катерину. — Ненавижу!!

Не отвечая и улыбаясь, Катерина стала тереть хрен, чтобы привести ее в чувство.

Капри. 27 января. 1913

Последний день

Все было кончено: свели проданную скотину, увезли проданные экипажи, сбрую, мебель, настезь распахнули ворота варков и сараев, двери амбаров и конюшен: везде было пусто, просторно, на дворе — хоть шаром покати.

Новый владелец, мещанин Ростовцев, известил, что будет вечером двадцатого апреля. В тот же день, в три часа, решил уехать и Воейков; семью он отправил в город еще двенадцатого.

Из работников осталось двое: солдат Петр и Сашка. Они валялись по лавкам в пустой кухне, курили и то со смехом, то с сожалением говорили о прожившемся барине. А он, одетый по-городскому, в коричневой пиджачной паре и уланском картузе с желтым околышем, держа в одной руке костыль, в другой табурет, ходил по дому. Как было светло в его нагих стенах! Растворяя двери из комнаты в комнату, он влезал на табурет и задираал сверху вниз засиженные мухами, отставшие от стен обои: с треском и шумом падали на пол

огромные куски их, с исподу покрытые известкой и сухим клейстером. В большой угловой комнате обои были синие с золотом. Они поблекли, выцвели, но много было на них темных овальных кружков, квадратов: эта комната всегда была увешана дагерротипами и мелкими старинными гравюрами, а в углу образами. Ободрать ее не удалось. Солнечный свет мягко проникал сквозь тонкие и тусклые, выгоревшие стекла четырех больших окон. Вспоминая детство, проведенное здесь, Воейков ударил костылем в одно окно, в другое... Стекла со звоном посыпались на гнилые подоконники, на желтые восьмиугольники разошедшегося паркета. В дыры потянуло мягким весенним ветром, стали видны серые кусты сирени.

Сев на табурет, Воейков решил додумать и последнее. Он сидел долго, сняв картуз, опустив широкую голову, причесанную на косою ряд по-старинному — справа налево, с косицами на виски. Снова и снова вспомнились деды, прадеды, жившие и умершие в этом доме, в этой усадьбе; вспомнились чуть не все имена борзых, прославивших воейковскую

охоту... Теперь захудалых, обезображенных голодом и старостью потомков их осталось всего шесть штук... Они скоро поколеют, конечно... Да, но не Гришке же Ростовцеву оставить их! Воейков поднял свое тяжелое смуглое лицо, все в желчных складках и морщинах, с черно-зелеными, крашеными усами. Темные глаза его блестели строго.

Надев картуз, стуча костылем, он вышел на крыльцо и крикнул через двор в кухню. На порог выскочил длинный Петр.

— Где собаки? — спросил Воейков.

Петр глянул в сенцы, по двору, в сад...

— Да все, кажись, дома.

— Ну, вот и отлично, — громко и твердо крикнул Воейков. — Всех удавить. Получишь по четвертаку за каждую.

И, закуривая толстую короткую папиросу в дорогом прокопченном мундштуке, сел на ступени крыльца. Петр скрылся в кухне, удивил и обрадовал Сашку, быстро сообщив ему о решении барина, нашел под лавкой веревку и снова вышел на порог, думая: с какой начать?

Три пегих собаки лежали среди двора, на

солнце. Две белых — в тени, возле сарая. Одна бежала от ельника по светлой аллее еще сквозного сада с голыми зацветающими яблонями, по розовой весенней земле. Все были стары, стара и эта — палевая сучка с черными ушами, с длинной сухой шерстью на тонких жилистых ногах. Петр посвистал и похлопал себя по коленке. Сучка направилась через двор прямо к нему, виляя густым загнутым хвостом, лизнула ему руку. Петр накинул ей на шею веревку и, заскребая сапогами, побежал по двору к саду. Схватив железную лопатку, забытую в углу сенец, коротконогий веселый Сашка побежал за ним.

Собака пошла сперва охотно. Но у ворот сада вдруг уперлась, взвилась и, завизжав, закувыркалась. Сашка на бегу поднял рогатый зелено-золотой яблоневый сук и несколько раз ударил ее по сухой спине, оставляя на рогульках лохмотья старой шерсти. Петр бежал, держа веревку через плечо и точно падая; собака, подскакивая, кидалась во все стороны, рвалась назад, приседая и отматывая себе голову. Спавшие борзые очнулись и стаей бросились катать ее.

— Отрыжь! — грозно гаркнул Воейков, вскочив с крыльца.

Сашка лопатой разогнал их. А на деснах сучки, яростно грызшей веревку, показалась кровь: давясь, она защемила язык. В боковой аллее из кустов акации Петр пошел тише: она внезапно изнемогла, перестала сопротивляться, похудела еще более, уже шаталась, путая задними ногами, и отставила опустившийся хвост. Когда Петр перекинул веревку через толстую ветвь раскидистого клена, засыхающего на перекрестке двух дорожек, и, быстро повернувшись к нему правым плечом, рванул ее вниз, собака, вздернутая на дыбы, судорожно скорчив передние лапы, сделала усилие удержаться на взрытой под кленом земле, но повисла, едва касаясь ее. Черно-лиловый язык ее высунулся, обнажились в гримасе коралловые десны, дневной свет, отраженный в потухающих глазах виноградного цвета, стал тускнеть.

— Теперь молчи, не вякай, — сказал Петр, усвоивший себе манеру шутить сумрачно.

Сашка, напевая женским голосом, рыл яму среди голых кустов, покрытых бледно-зеле-

ными зернами почек. Вдали, на старых деревьях в низах сада, шумели грачи. Кругом пели скворцы, стрекотала сорока, солнце сушило слежавшуюся листву в корнях кустов, а Сашка твердо и с удовольствием наступал на блестящую лопату, легко уходившую в рыхлую синюю землю и резавшую надвое жирных малиновых червей. Подошел Андрей, стерегший свою кобылу в бесхозном саду, молодой опрятный мужик с деревни.

— За что так сказнили? — спросил он, улыбаясь.

— Значит, так приказано, — ответил Петр, все еще державший веревку через плечо. — На прощанье, значит. Всех велел к смерти предать. Чтоб никому не доставались.

— Горюет?

— Загорюешь! А ты, кажись, пристроился лошадь в саду кормить? Смотри, — к вечеру новый приедет. У того, брат, не покормишь.

— Я к вечеру сгоню, — сказал Андрей.

Он палкой приподнял под зад собаку, — собака очнулась, зарычала, вытягивая живот, — и продолжал рассеянно:

— А я тоже недавно собачонку удавил.

Пристреляла чья-то, живет неделю, другую, брехать не брешет... Я подумал, подумал, взял да и удавил.

— Собак что, и людей, какие позамечательнее, и то много казнят, — сказал Петр.

— А ты что ж, видал?

— Видеть я этого никак не мог. Никого не допускают: ближним даже и то нельзя. Мне солдаты рассказывали. Сделают с ночи висельницу, а на рассвете приведут этого самого злодея, палач мешок ему на голову наденет и подымет на резиновом канате. Доктор подойдет, глянет и сейчас говорит, удавился или нет... Тут же под висельницей и могила.

— Так без гробов и валят?

— А ты думал — под стекло?

— И так ни один алхитектор не найдет, — сказал, смеясь, из кустов Сашка.

Петр бросил веревку, — собака упала и осталась в сидячем положении, — и стал закуривать.

— А потом, значит, станок этот на иную место переносят? — спросил Андрей.

— Куда нужно, туда и переносят.

— А за что же их казнят?

— Понятно, не за хорошее. За всякие разно-
верия, за начальство, за разбой. Не буянь, не
воруй...

— А палач-то этот самый, он, что ж, жало-
ванье получает?

— А как же. И харчи и одежду дают отлич-
ную.

— Смотри, отдышит, — пошутил Андрей и
пошел к лошади, трещавшей сушью в чаще
старого вишенника.

— Небось, — сказал Петр и крикнул Саш-
ке: — Готово, что ль?

Вместе с мраморными и желтыми, сухими
и мокрыми листьями он потащил собаку к
яме. Закидав яму землей, Сашка стал утапты-
вать ее, и влажная земля дышала под его са-
погами.

— Ну, вечная память, — сказал он. — Нам
жить-поживать, тебе гнить.

И, вскинув лопату на плечо, пошел за Пет-
ром к дому. Петр на дворе остановился и, дер-
жа веревку за спиной, манил к себе большого,
уже сидящего кобеля Черкеса.

— С одной, Борис Борисыч, управились, за-
копали, — весело крикнул Сашка Воейкову,

все еще сидевшему на крыльце.

— Чего ржешь, болван? — строго осадил его Воейков. — Как так закопали? Кто вам приказывал закапывать? В ельнике, на елках повесить всех и так и оставить. Слышишь?

— Слушаю, — ответил Сашка и кинулся помогать Петру. — Ну, скорей, что ль! — крикнул он шепотом.

К трем часам покончили со всеми собаками. Теперь старая усадьба, тихая, безлюдная, дремлющая под лаской теплого апрельского солнца, была совершенно пуста. Возбужденные, утомившиеся работники шли по аллее и считали, сколько им приходится за работу.

— Ничего, отлично, — говорил Петр с сумрачной веселостью. — Полтора целковых. Будет нам на поминки полный обед с закуской.

Воейков, с обнаженной головой, стоял у крыльца, крестился и кланялся дому.

— Прощайте, — строго сказал он, оборачивая свое энергичное темное лицо к подошедшим. — Кончили?

— Кончили, — ответили работники в один голос, снимая картузы.

— Получите.

Принимая деньги, Сашка поцеловал его смуглую руку с истончившимся обручальным кольцом, Воейков, не меняя выражения лица, обнял его и поцеловал в губы. Кивнул Петру. На мгновение глаза его перекошились, подернулись мутью. Но, надев картуз, он стал еще строже и еще тверже сказал:

— Теперь можете идти. Я не велел Мирону заезжать за мной. Сам к нему зайду, от него и на станцию поеду. Я не телеги стыжусь, а просто... не желаю...

И пошел к воротам, не оборачиваясь. Сашка сбегал в лавку, и лавочник ржавым топором отрубил ему на пороге кусок мокрой соленой свинины. Петр поджидал его возле винной лавки, на выгоне, близ усадьбы. И, закусывая, они долго сидели на мелкой и яркой весенней траве. Вечер наступал розовый. Холодел воздух, и слышнее шумели, кричали грачи на старых деревьях в сыроватых низах сада. За сквозными верхушками их уже сияла небольшая ясная луна. А за рекой, в золотом чистом блеске, садилось солнце, — и в странно молчавшей усадьбе оранжево пламенели

стекла настежь растворенного мертвого дома.

Ростовцев, с приказчиком, на беговых дорожках, приехал поздно, когда деревня вся спала. В тишине чуть звенела гайка на его колесе, когда он шагом въезжал на бывший воейковский двор. У крыльца он остановился и, с трудом слезая, передал вожжи назад, приказчику. Приказчик поехал к сараю отпрягать, а он, в чуйке и глубоком теплом картузе, разминая онемевшие от долгого сидения ноги, вошел в дом. Поклонился и он дому, снимая картуз и набожно роняя волосы на пороге полных мутного лунного света комнат. Всюду были завалены драными обоями полы в них. Проходя комнату за комнатой, внимательно и уже по-хозяйски строго вглядываясь во все углы, он отшвыривал шуршавшие куски сапогом и, качая головою, с искренней горечью бормотал: — Ах, мошенник! Ах, невежа!

В полусумраке казалось, что комнатам конца нет. Было жутко в обезображенной пустоте их, в этом остове разоренного чужого гнезда, столько лет жившего своей особой и для всех Ростовцевых загадочной, недоступной жизнью. Ростовцев повернул назад, вы-

шел, горбясь и хмурясь, на крыльцо и, волнуемый нетерпением поскорее осмотреть все, теперь свое, собственное, пошел в сад, взглянул на цвет яблонь: очень он надеялся на сад в этом году. Но при розовой луне даже зоркие глаза Ростовцева не могли отличить мелкого бело-розового цвета от нагих сучьев и почек. Он постоял, потянул носом, надеясь взять обонянием. Цветом пахло, но слабо. Сильней пахло холодной влажной землей, свежестью молодой травы. В глубокой тишине четко и осторожно отдавалось по саду чоканье соловья, пробующего в низах голоса. Ночь была нежная, светлая, лунная, чуть туманная. Далеко сквозил сад — и, повернувшись к ельнику, Ростовцев вдруг почувствовал, как у него зашевелились под картузом волосы: на сумрачной чаще высоких густых елей стояло пять длинных бледно-голубых привидений. Вне себя от страха, он двинулся на них... А через минуту уже шел назад и бормотал с еще большей горечью:

— Ах, мошенник! Ах, невежа!

— Думал в доме лечь, — нарочно громко, на весь двор, сказал он, выходя на середину

двора. — Да ну их к черту. Там жить, безобразие. Все ободрал, старый дурак, собак всех повешал... Пойдем в избу, авось наше дело не барское.

— Корусть не велика, — громко и весело ответил приказчик, подходя к нему. — Уж чего, чего, а собак-то наживем... С новосельем вас, Григорий Кискентинич! — сказал он, снимая картуз.

— Ну, будя, будя! — притворно сердито ответил Ростовцев. — Пойдем-ка спать...

Бросая на росистую траву две тени, они пошли в кухню. Там, на лавке, при лунном свете, они закусили колбасой и белым хлебом, отрывисто переговариваясь, и легли голова к голове на лавке возле окон, положив вместо подушек свернутые чуйки. Нужно было встать пораньше, чтобы встретить подводы из города и начать приводить усадьбу в порядок.

Но от нетерпения ночь казалась Ростовцеву бесконечной. Он просыпался и с тоской видел розовый лунный свет все на том же месте — на своих голенищах. А засыпая, вздрагивал: стеной вставала перед ним черно-зеле-

ная чаща ельника, а на ней, в ее строгом сумраке, — висящие собаки. Он повертывался с боку на бок и сердито ухмылялся своему малодушию.

Капри. 1 февраля. 1913

Всходы новые

В усадьбе праздник — весна.

Днем жарко, весело, в голубом небе круглятся белые облака. Припекает облупившуюся железную крышу дома, мохнатые бревенчатые стены его, черные стекла окон. В слуховом окне, против солнца, воркуют голуби. На сохнущем и рассыпающемся фундаменте, на сирени палисадника липнет много крупных мух. Караковый жеребец князя стоит в пустой поварской, в длинной черной избе крепостных времен. Он беспокоится, не ест овса, насыпанного в лоток на лавке. Просунув голову в окно без рамы, он глядит на широкий зазеленевший двор и жалобно-страстно ржет.

Князь понемногу приходит в себя после долгой зимы. И эту зиму запивал он — все от одиночества, как говорят все; когда бывал

трезв, ходил на охоту, играл в карты у лавочника, сидел в людской с работниками, случилось, и обедал с ними, а не то читал в своем теплом кабинете и часов в шесть ложился спать. Теперь он выходит из дому чаще, отдает распоряжения. Бесстрастно восточное лицо его с большими седеющими усами.

Князь вспомнил, что пора чистить, подметать сад: уж таков спокон веку обычай. И приказывает старосте пригнать девок-поденщиц. Девки весь день поют, сгребая листву по аллеям, по дорожкам; их красные и желтые сарафаны мелькают в голом, нежно зеленеющем саду. В доме растворены двери на крыльцо, раскрасневшая баба с подоткнутым подолом и коленками цвета моркови яростно моет полы в зале; в рамах, с треском выдираемых другой бабой, сверкают на солнце стекла и зеркальными зайчиками озаряют потолки. Льет теплый, солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени возле дома... Князь, в одной косоворотке, в плисовых вытертых шароварах и дегтярных сапогах, ходит с работниками по осеке за сараем, выставляет из омшаника колодки, полные сердитого и певу-

чего жужжания.

В воскресенье на Фоминой, как опять-таки ведется спокон веку, молятся в поле, на ози-мях. Молится все село, заказывает молебен и платит из своих скудных средств — князь.

Ночь накануне холодная и лунная. Девки-поденщицы сидят на крыльце людской, вполголоса поют и оговаривают друг друга: грех, завтра праздник большой. Они живут в саду, в бане, но нынче баню топили, князь купается. Когда он, накинув на плечи тулуп, проходит туда в лунном свете по двору, они бегут в светлый сад, под окна бани и, давась тем особенным таинственным смехом, которым смеются женщины весной, в лунные но-чи, заглядывают, швыряют в стекла сучками. Князь с медлительной усмешкой стучит кулаком в стену. Купается и кучер князя, Николай, в той избе, где стоит жеребец: приносит туда два ведра, ставит на лавку зажженный ога-рок. Девки подбегают под окно без рамы, швыряют и в него. Косится на них, шуршит мокрой соломой, накиданной на полу, упруго перебирает ногами обеспокоенный огнем же-ребец, а Николай сидит на соломе и намыли-

вает голову. Услыхав смех под окном, он вскакивает и, с серьезным лицом, с седой от мыла головой, начинает плясать, потрепывать себя по голым мокрым ляжкам.

Утро теплое, солнечное. Приятно, когда звонят колокола в такое утро, приятно наряжаться под этот звон. Мягче кудрявятся белые облака над садом, млеет яркая синева между ними; со двора видно, как в полях, над зелеными и лиловеющими пашнями, бегут, струятся испарения.

— Дождь будет, парит, — сказал староста, обходя с овечьими ножницами в руке поставленный возле людской продранный стул, на который покорно, заранее вытянув и согнув шею, покрытый по плечам полотенцем, сел Николай в распоясанной рубаше,

Николай, пока подрубали на затылке его сухие рыжие волосы, все гляделся в зеленый осколок копеечного зеркала. Падают желтые клоки на полотенце, голова Николая становится меньше, уши отстают и торчат. Взяв у старосты ножницы, он подстриг и усы: стал длиннее его лебединый конопатый нос. Потом он нарядился: надел синюю атласную ру-

баху с рукавчиками, с тремя крупными белыми пуговицами на высоком вороте, отделанном каемкой кружев; подпоясался малиновым шелковым жгутом с махрами; вбил ноги в тесные сапоги с лакированными узкими голенищами. Рубашка коротка, ноги Николая, обтянутые кавалерийскими штанами, слишком топки, сам он худ и сутул, глаза у него маленькие, зеленые.

В доме сумрачно. Теплый воздух, льющийся в открытые окна, не скоро нагреет его. Все промерзло за зиму, с потолка в зале огромным животом висит отставшая, в коричневых подтеках, бумага. Морозы, время портят и зеркала, сделали их молочно-серебристыми. Расставив ноги, глядя на мутное отражение своего морщинистого лица, князь долго скоблил щеки тупой бритвой. Пора, пора бросать настаивать водку лимонными корками! Соли в черных усах все прибавляется, редуют волосы... Намочив и причесав их, князь надел поверх пестренькой косоворотки новую синюю поддевку, надел дворянский картуз и, с ременным кнутом в руке, вышел на крыльцо, возле которого сидел на беговых дрожках и

держал жеребца Николай, на оттопыренных ушах которого осталось после стрижки много мелких волос.

Обедня отошла, на колокольне жидко и празднично звонят; разрозненная, разноцветная толпа течет по выгону в поле. Пять человек без шапок, в новых калошах и поддевках черного блестящего сукна, подпоясанных красными подпоясками, несут хоругви и крест, увитый белым рушником. Две не в меру набеленные девки в ярко-зеленых платьях — икону божьей матери.

Когда толпа была уже за дубовым кустарником, в поле, где дул теплый ветер и пели жаворонки, от церкви отъехала плетеная тележка, запряженная серым мерином в яблоках. Поп, человек чахоточный, ехал в толстой чуйке, в зимней шапке, в глубоких ботиках. На козлах сидело двое: правивший мерином дьячок и сын попа, Вася, спившийся с кругу дурачок, вечно блаженно-радостный. Он в церкви подтягивал дьячку дискантом, службы знал лучше всего причта, но отец часто выгонял его из алтаря за нетрезвость, не хотел нынче брать с собою. Однако Вася, еще с

раннего утра расчистив свои сбитые сапоги, надев продранный под мышкой пиджак, грязно-синий воротничок и розовый атласный галстук, так плакал, узнав, что его оставляют дома, что поп сдался.

Князь обогнал попа и кивнул ему.

— С праздником, ваше сиятельство, с молебствием! — радостно вспыхнув, крикнул Вася, больше всего на свете любивший праздники, дни ангела, поздравления.

С правой стороны тележки, равняясь с ходом лошади, не отставая и не забегая, шла старуха Марфа, добровольная прислужница при церкви, высокая, сухая, с ореховой палкой в одной руке и медным кофейником, из которого торчало кропило, в другой. Дьячок иногда подгонял лошадь и, смеясь, оглядывался на Марфу. Она ускоряла шаг, сердилась, но молчала.

Молились на клину богатого мужика Данилы. Там, возле дороги, на молодых светло-зеленых всходах, приготовили стол под суровой чистой скатертью, красную деревянную миску с зерном и пук свечей в хлопчатой бумаге. На юго-востоке, за серым княжеским

садом и прозрачно-лимонными лозинами села, облака, мягко синея, порою смазывались в тучку. Поглядывая то на них, то на приближающуюся тележку, выдвинувшись из пахнущей кумачом толпы, стоял сам Данила, белокурый старик. Раскорячиваясь, далеко относя руку для крестного знамения и кланяясь, он пошел навстречу попу, — и мягкий ветерок, дувший с полей запахом сырой земли, шевелил его волосы. Тележка остановилась, но поп продолжал сидеть в ней, поджидая обогнавшего его и опять отставшего князя.

Князь сдержал лошадь от волнения, охватившего его в поле. Озимь, свежо зеленея, шли в одну сторону, дубовый кустарник — в другую. Сухая коричневая листва висела кое-где на нем, но и это говорило о весне. Синели подснежники, пахло залежавшимся в чаще снегом, весенним холодком. Тройка ореховых лошадей, разукрашенных дорогой сбруей, стояла на опушке. Полулежа в новом тарантасе, кудрявый кучер богатой соседки ел с ладони просфору. И князю вспомнилась молодость, другая, далекая весна...

Впереди медленно двигалась телега, в ко-

торой лежал больной мужик, отец Николая. Малорослой лошадью неумело правила мать его, скорбная жилистая старуха в черной по-неве.

— Жив? — окликнул князь.

Из телеги, из соломы торчал острый восковой нос под глубоко надвинутой шапкой. Больной в просторном полушубке лежал на спине. Сияясь улыбнуться, он с трудом потянулся тонкой рукой к шапке. Николай поклонился родителям, как чужой, стыдясь их бедности, убогости. А бесстрастные глаза князя стали как будто еще бесстрастнее.

В толпе его нетерпеливо поджидали.

Марфа давно стояла наготове возле стола. Обогнав тележку, она подошла к молодой беременной бабе Данилы и передала ей свою ореховую палку. Кофейник она поставила на стол, бархатный лиловый требник, лежавший на нем, подвинула на край. Как только поп занес ногу вон из тележки, скинув чуйку, Марфа ловко подхватила ее и, подхватывая, чмокнула его холодную, дряблую и тяжелую руку.

Поп быстро прошел к столу, поклонился

той богатой барышне, полной, косою и застенчивой девушке, чья тройка стояла на опушке дубняка. Он был выше всех, издали была видна его голова, поднятое землистое лицо, сквозная бородка и серая шея. Несколько раз обернулся он, поджидая князя. Князь подъехал. Тогда мельком, но молитвенно глянув вверх, на высокие весенние облака, он вздохнул, вынул из длинного разреза ватной рясы красный платок, вытер большой глянцевиный лоб, — Марфа уж подхватила его шапку, — надел потертую золотую ризу, надел золотые очки — и, став строгим, зажег пучок свечей, веселый, дрожащий блеск которых сотнями точек отразился в стеклах очков. Низко поклонившись князю, стоявшему возле стола и твердо отставившему левую ногу, он выправил жидкие волосы из-за стоячего ворота ризы, откинув голову, наполовину прикрыв тусклые глаза воспаленными раковинами век, и невнятным, теряющимся в теплом полевом воздухе голосом начал молебн... И князю опять стало жаль себя и радостно за эту вечно юную землю, просящую небо снизойти на нее благодатною весенней вла-

гой.

Он переменял ноги, выставил вперед правую, сделал мутные глаза. Чтобы не думать, он стал слушать мирный, успокаивающий и молящий голос, порою сливавшийся в пении с голосами дьячка и Васи.

Толпа кланялась и крестилась, крепко прижимая пальцы ко лбу. Полная косая девушка робко поглядывала на князя. Данилова баба, вся в розовом, то бессмысленно пучила глаза, то начинала быстро, испуганно креститься. В ногах ее, подпирая намасленной расчесанной головой ее круглый живот, стоял мальчик в плисовых штаниках и козловых сапожках, под мышку подпоясанный по голубенькой рубашечке. Когда запели всем при этом, она, поспешно крестясь, надавила ему на голову левой рукой, поставила его на колени. Затем с трудом опустилась и сама, раскинув по молодой зелени ржи нижнюю белую юбку с кружевами и припадая к ней лбом. Мальчик замолился неестественно набожно, косясь на сапоги князя.

Дул ветерок, шевелил волосы, шли легкие облака, шли по зеленым полям тени от

них, — далеко было видно в весеннем прозрачном воздухе. Дрожали, бежали огоньки свечей, беззаботно-радостное пение жаворонков не мешалось с пением причта, но как-то хорошо дополняло его... Даруй, боже, земле радость новую, новые всходы, — говорили слова молитв, пропадающих в теплом воздухе. — Благослови ее новой жизнью, да в забвении истлеет в ней семи старой, из коего и родится она, юная и чистая... Потом запели о воскресении Христа из мертвых. Глаза князя налились слезами — и он уже ничего не видел перед собою до конца молебна.

Когда он, склонив голову, поцеловал холодный, пахнувший медью крест и мертвую руку священника, солнце нашло за серо-золотистое, томное внутри облако, и на юге обозначилась синяя тучка с туманными полосами дождя.

— Поздравляю вас с праздником, ваше сиятельство, с благодатью господней, — сказал священник, кланяясь так низко, что далеко отстала от груди епитрахиль.

Князь поехал назад, разминувшись с тройкой, с мягким громыханьем бубенчиков

плывшей навстречу ему. Солнце зашло за облако — и все краски дальних, ясно видных полей стали гуще, бархатней. Слышнее стало гудение пчел пи лозинах при въезде в село, потянуло свежестью, зеленью распускающихся берез. Синеватая тучка па юге поблескивала небольшими молниями... Потом солнце опять выглянуло, молодо и радостно озаряя все, с неба с сухим шорохом посыпались редкие алмазы.

У церковной ограды князь снял картуз и перекрестился на ветхую часовню над старинным княжеским склоном, вспомнив, как однажды спускался туда в молодости, тоже весною — через полгода после смерти отца... Полгода — велик ли срок! А уже ничего, ничего не осталось к той счастливой весне от старого грешного князя, кроме костей в тяжелом гробу и крупной росы на его поверхности.

Чтобы не запить, князь чем свет ушел на другой день со стариком Панкратом в Задонск. Яровое рассевали без него.

Капри. 2 февраля. 1913

Копье господне

Красное море встречает нас дурными знаменениями.

Вчера на закате дул хамсин. Слева, в пыльной, красной мгле, садилось болезненно и тускло блестящее солнце. Справа эта мгла была сумрачнее. Там темнели очертания Джеббель-Таира. И оттуда, со стороны Аравии, горячий ветер гнал двух птиц. Они неслись боком, низко над водою. Перья их были измяты и взъерошены. Неожиданно наткнувшись на спасение, на наш грузовик, они взмыли к верхушке фокса, на тугую струну штага, соединяющего фокс с гротом. Уцепившись, они крепко встряхнулись, приводя себя в порядок, и застыли.

Мы с мостика долго разглядывали их. Таиться нечего, — всем стало не по себе: это были два старых аравийских стервятника, два «вестника смерти» и всяческих бед. А ведь мы прямехонько идем на смерть: по всему побережью Аравии, в Суэце, в Порт-Саиде — чума и холера; в Джибутти, где мы стояли сутки и общались с берегом, умирает по сто, по две-

сти человек в день. А нервы у нас никуда, — устали мы ужасно. Переход в Японию был трудный, бурный. Не давши нам и недели отдыха, погнали нас назад, в Китай, оттуда — в Сингапур. Там мы без дела простояли месяц, изнуряемые жарой, лихорадочной влажностью... Индийский океан в марте, конечно, отдых, но ведь впереди было это проклятое Аравийское море и чума. А народ моряки чувствительный. Что же до веры в приметы, в предзнаменования, то плавающие в северных и тропических морях хуже всякого араба...

Вечером без охоты поиграли в шашки. Старший механик вспомнил покойного командира «Японии»: это было тоже во время чумы и тоже в Красном море, командир захворал, — может быть, и впрямь захворал, заразившись в Массиве, где он съезжал на берег, — а захворав, поспешил принять датуры, оставив записку, что у него жар и опухоли под мышками... «Тело его было предано Красному морю...»

От песку, от горячего ветра закрыли люминаторы. Это печь с закрытой заслонкой! Свободные от вахт рано разошлись спать, — один

пьяница Франц старчески ворчал и гремел в буфете, швыряя посуду. Но какой сон при хамсине! Тело ноет, сердце замирает. Поминутно, весь в поту, просыпаешься, куришь, снова задремываешь... Никогда не кажется так мала каюта! Лежа в темноте, слушая ровный плеск воды, бегущей назад, мимо, все думаешь о том древнем, мистическом, чем отравляет нас Восток — тропики, Индия, Китай... а в этом мгlistом море — Аравия. Какая загадочная, доныне неведомая нам, ветхозаветная страна — эти пустыни, до шлака сожженные ветхозаветным богом! Что там, в гористой, вечно мреющей миражами глубине ее?

Окраины мы знаем: жара, грязь и вечная холера в портах; дальше — пески и камни; где-нибудь на голой волнистой равнине их — страшный в своей доисторической неуклюжести верблюд, стоящий всегда одиноко, неприютно, далеко от той чахлой пальмы и грязного колодца, возле которого — большой жаркий шатер из черного войлока, слабо сияющий на солнце дымок костра, свирепая собака, полусонная от зноя старуха, полуголые дети в паршах, котелок, измазанный тестом

дурры, невесть откуда занесенная керосиновая жестянка с теплой водой... А там — опять то бархатные, то усеянные мелким, острым камнем пески. Там начинаются те заповедные, вечно засыпаемые песком пути из Сирии, Персии и Средней Азии к Мекке, Ятрибу, что издревле отмечают своими костями святые хаджи, гибнущие, во имя господа, от жажды, ураганов, зноя и, уж конечно, от холеры и чумы — «Раны от Копья», как называют ее арабы. Вот за такими-то караванами и следуют они, эти стервятники.

Их зловеющая близость чувствовалась всю ночь. Я выходил на палубу: горизонты мгlistы, луна туманно-розова, ночь суха, горяча — точно и не в море. Высоко, возле клотика фока — два темных комка... Где они вывелись, где скитались? Сколько раз отбивались от смерти, от таких же хищников, как и они сами, сколько раз рвали падаль, трупы и погибали от хамсина? «Господь есть бог ревнитель и мститель» — так и доньне верует пламенная страна их. — «Перед лицом его идет язва, а по стопам его — жгучий ветер...» И жгучий ветер с песком дул в каюту всю

НОЧЬ...

К рассвету хамсин пронесло. В шесть утра над каютами начинается топот босых ног, шум воды, пущенной из шлангов по палубам. Обычно слышишь все это одно мгновение, затем перевертываешься и засыпаешь еще крепче. Но нынче я очнулся сразу. Как всегда, ослепительный свет тропического солнца бил в люминатор, до головокружения душно было в каюте — и так отраден этот свежий шум! Сбежав вниз, к ванне, я раз десять окунулся в холодную воду. Мраморный пол, мраморная ванна и эта хрустальная вода — истинное наслаждение. Самому приятно чувствовать холодок своей руки, которойжимаешь сухую, горячую руку того, кого сменяешь на мостике. Там уже пекло. Я взял бинокль и навел его на птиц. Великолепны эти аравитяне! Сквозь стекла еще прозрачнее кажется прозрачный, сияющий среди ясного неба воздух. Четко, крупно видны блестящий на солнце бок мачты, витой стеньг-штаг и ястреба, в огромном пространстве висящие на нем: их желтоватое жесткое оперение, круглые совиные головы, покрытые редким

младенческим пухом, прищуренные кошачьи глаза, короткие, крепко загнутые клювы и лимонные лапы. Оба ястреба очень велики и очень худы. И это особенно заметно тогда, когда какой-нибудь из них затрепыхается, взъерошивая перья, и плевком пустит на палубу известковый помет.

Фельдшер вышел перед завтраком на горячую палубу и стал стрелять в них из бульдога. Все окружили его, закинув назад головы. Всякому казалось, что, стреляя он, не было бы этого бесплодного треска. Вдруг один ястреб подпрыгнул и комом полетел с высоты наискось. Мелькнув своей рыжей желтизной, своими изломанными перьями в густо-синей и тяжелой, как масло, волне, он исчез под бортом. Другой испустил жалкий и злобный крик, взмахнул крыльями и опять, еще туже сжавшись, замер. Пули с визгом летели мимо него — он только втягивал в себя голову. Куда ему было деваться? В море, окружавшем его, не было ни единого камня. Ему оставалось одно — ждать, пока выйдут все пули. И наконец они вышли. Мы наводили на него бинокли, он во все глаза глядел на нас. Зол он, должно

быть, невероятно: голоден так, как может быть только стервятник! Вечная брань со всем живущим и вечное выслеживание жертв или подали... Жесток и к нему господь, определивший ему быть вестником черного Копья своего!

И целый день не выходила у меня из головы мысль о крысе, которая, может быть, уже сеет смерть, чумая в темноте наших трюмов.

Этот желтый флаг смерти, под которым мы теперь плывем, — желтый санитарный флажок, который мы должны были поднять в Джибутти, — твердо напоминает: будь всегда готов к ней, — она и над тобой, и впереди, и вокруг, вот за этой водою, на жарких песчаных берегах, среди той нищеты и грязи, которой живет почти все человечество: Копье господне вечно поднято!

Матросы, те подтягиваются при вести о малейшей опасности. И у нас теперь чистота необыкновенная. Очень рано стали мы готовиться к одесскому порту в этот рейс — чиститься, краситься. Несколько дней не смолкал ладный, дробный стук молотков: с палуб, с мачт, с бортов, с труб обивали старую, по-

трескавшуюся краску, а на ее место клали свежую, блестящую, спиртуозно пахучую. И теперь нельзя было насмотреться на густую синеву за бортами, великолепно подчеркнутую яркой киноварью нашей железной палубы и золотой охрой труб. В небе, знойном и светоносном, весь день нынче не было ни единого облачка, ровно тянул навстречу легкий бриз. На баке иные из подвахтенных спят, иные болтают и курят. На носу разноцветными пятнами сохнет развешанное на веревках белье. На юте сладко щебечут те канарейки и те розовые тупички, которых возьмем мы из тропиков на север... И только там, возле клотика фока, на блестящей в воздухе струне, в упор освещенный опускающимся солнцем, зловеще желтеет враг всяческой жизни...

Франц, больной с похмелья, лениво таскал свои разбитые ноги по палубе, яростно тряся колокольчиком.

— Memento mori![2] — сказал командир, когда мы сошлись на этот призыв в кают-компанию, к обеденному столу, и кивнул на люминатор, в который был виден фок: — Сидит,

будь он проклят!

За обедом много пили. Солнце закатилось, и была уже ночь, разгорался лунный свет вокруг кают-компания, освещенной электричеством. Шел оживленный разговор — как всегда, толковали об окладах, о начальстве, кляли свою службу, тешили себя мечтами найти береговую. По кают-компания веял бриз. Но он был слишком тепел, тело изнемогало от пота. Даже свет электричества казался знойным.

— На два румба справа встреча, — доложил вестовой с порога.

Встречи — наша единственная радость, и все встали, пошли на палубу. Давно ждем «Меркурия» — не он ли? Но нет: слишком низко и далеко друг от друга висели за темной зыбкой равниной, уходящей к востоку, к Аравии, два далеких топовых огня... И, швыряя окурки, красными полосками мелькавшие за бортом, глядя на фок, на гладкий ствол его, прорезавший звездное небо, и на бессонную птицу, висящую на штанге, мы разбрелись по палубе...

Ночь, опять ночь. Идешь — бриз мягко ду-

ет в спину, тело под легкой одеждой наслаждается им. Из трубы клубится темный вал дыма, луна, как зеркало, мелькает в нем, по палубе бежит, волнуется широкая тень его, под ногами хрустит угольная пыль. Обдает теплом, запахом разогретого машинного масла и стали, дальше — опять ласковым ветром и чем-то раздражающим, приторным: это густо,пряно, как все в тропиках, пахнет из трюмов копра, кокосовые очески; этот запах вечно будет томить, напоминать пахучие гавани, теплую зеленоватую воду, первобытные челноки голых шоколадных людей, густые чащи высоких тонких пальм, склоненных с берегов, благовонные кумирни в вечно цветущих лесах... Волна за волной несется мимо борта, обгоняя тебя. Минуешь двери освещенных кают, — фельдшер и повар на порогах и вторят друг другу на звенящих мандолинах, — проходишь на корму и останавливаешься у штурвала, над кипящей водой...

Однообразно шумит она, выбиваемая винтом из-под кормы, вырывается из-под нее тугими клубами, снежным фосфором, и убегает в океан бледно белеющей прямой дорогой.

Равнина моря к востоку тяжела, темно-лилова, в небосклоне над нею — белые звезды широко и низко раскинутой Большой Медведицы, родной с детства. Под луной — бесконечная сияющая гладь, осыпанная несметными серебряными иглами. Как высока эта теплая, тропическая луна, как легки и светлы горизонты! Драгоценными самоцветами играют над горизонтом юго-западным, особенно легким и светлым, Канопус и Сириус. Ниже, в прозрачном и пустом небосклоне, стоят четыре алмаза слегка склоненного Южного Креста, каждую ночь выходящего из недр тех неведомых южных вод, которым нет предела до самого полюса...

Вот с бака раздается два коротких удара в колокол — восьмичасовая склянка. В них — поэзия старой морской жизни, безграничных водных пространств, ночи за тысячи миль от земли. Они быстро тонут в великой тишине моря и неба, после них воцаряется еще более глубокое молчание, вода шумит еще однообразнее...

Вот опять среди темной равнины к востоку — медленно идущие огни встречного паро-

хода. Мелькает и гаснет, мелькает, мелькает и гаснет огонек на нем: беззвучно, этими слабыми и бледными знаками, которыми дает весть крохотная человеческая жизнь другой такой же, окруженной морями, пустынями, безвестностью, смертью, ведем мы нашу морскую беседу, — с тревогой и надеждой спрашиваем о той родной точке земного шара, которая нам, скитающимся по всему свету, единственно дорога и нужна...

У нас на вахте третий помощник, он и сигнализирует. Человек он недалекий, тропики умеет сравнивать только с баней, всех цветных называет эфиопцами, на стенах его каюты — копеечные японские веера, открытки, подчасник турецкой туфелькой, на столе — карточка жалкой и некрасивой мещаночки... Но да сохранит бог-ревнитель и его счастье!

Капри. 10 февраля. 1913

Иоанн Рыдалец

Есть новая станция Грешное, есть старое степное село того же имени.

На станции останавливается в летние дни юго-восточный экспресс. На станции голо и скучно. Казенный кирпичный вокзал еще слишком красен. Платформу заменяет песок. Переходить по песку к вокзалу трудно, да и зачем? Вокзал пуст и гулок, нет еще в нем ни буфета, ни книжного киоска. А поезд великолепный. Из открытых окон тяжелых запыленных вагонов глядят богатые люди, едущие на Кавказ: знаменитый чудовищно толстый артист в шелковой серой шапочке, черная красивая дама с лорнетом, персиянин из Баку, не сводящий с нее сонных глаз, худой англичанин с трубочкой в зубах, молча и внимательно осматривающий эти необозримые равнины, которым не уступают только прерии... По доскам, вдоль поезда, медленно прогуливается широкий старичок-генерал с маленькими ножками и делает рассеянный вид, втайне наслаждаясь, однако, и тем, что у дверей вокзала вытянулся перед ним жандарм, и тем,

что вот едет он, генерал, в дорогом поезде на воды и гуляет с открытой головой, скромный, спокойный за свое достоинство и во всех отношениях порядочный. Возле пахнущего кухонным чадом вагона-ресторана, за зеркальными стеклами которого пестреют цветы на белоснежных столиках, стоят бритые лакеи во фраках с золотыми пуговицами, потный повар, поваренок — все как будто те же самые, что видел англичанин и в Египте и на французской Ривьере. А громадный американский паровоз, весь горячий и блестящий маслом, сталью, медью, дрожит от клочущей в нем силы, нетерпеливо сдерживая ее. Шумит рукав водокачки, наполняя глубокий тендер... И вот вода уже переливается через края, торопливо бьют в колокол у дверей вокзала, генерал, звеня серебряными шпорами, спешит в свой вагон...

Поезд скрывается в степи. Мужик, неизвестно зачем приходивший на станцию, долго стоял на песке и думал: «Вот уйдет машина, пойду и я помаленьку...» Глядел на мужика англичанин, дивясь его шапке, полушубку и первобытной густоте бороды, слинявшей на

солнце. Глядел и мужик на англичанина, но рассеянно: селу нет никакого дела до поезда. Когда поезд скрывается, мужик, безо всякого желания, с притворным наслаждением крякая, выпивает две кружки теплой воды из станционной бочки, вытирает рукой рот и бредет домой. Бредет он не спеша: время неопределенное, ни дневное, ни вечернее — в токую пору делать нечего, думать не хочется, да неопределенна и погода: зашло солнце за облачко — не жарко и в полушубке, хотя, конечно, можно было и не надевать его... Дорога от станции к селу пролегает по выгону, мимо большой княжеской усадьбы и каменной церкви, что напротив нее, на погосте. Поравнявшись с церковью, мужик снимает шапку и крестится, низко кланяясь: за оградой церкви, возле алтаря, рядом с могилой князя, ссорившегося с самим царем, почивает блаженный, Христа ради юродивый, Иоанн Рыдалец.

Княжеская усадьба, конечно, старая, давно всеми забытая: необитаем ее дом, черен и дик сад. Погост — голый, бугристый. Церковь по камню крашена темно-коричневой краской. В ограде ее немало рассеяно широких чугу-

ных плит. А как раз возле окон алтаря высятся два огромных кирпичных гроба, тоже прикрытых плитами. И с великим удивлением прочтет всякий, не знающий преданий села Грешного, отлитые на этих плитах имена под ними покоящихся, на одной — имя князя и вельможи, а на другой — раба его, землянского крестьянина Ивана Емельянова Рябинина. Так и сказано: крестьянин такой-то, родившийся и умерший тогда-то, а ниже: Иоанн Рыдалец, Христа нашего ради юродивый. Князь, вельможа, только перед самой конечной примирился с богом и людьми. И, по княжескому желанию, ничто, кроме имени и начала покаянного псалма Давида, не украсило княжеской могильной плиты. Плита же юродивого, не выразившего никаких предсмертных желаний, украшена стихами и одним из любимейших плачей его. «Юрод, неряшен миру он казался» — говорит строфа, посвященная его памяти неизвестным поэтом. А под нею отлиты те горькие и страшные слова пророка Михея, с которыми и умер юродивый: «Буду рыдать и плакать, буду ходить, как ограбленный, буду выть, как шакалы, и

вопить, как страусы!»

То, что едут в экспрессе на воды, знают о князе — из книг. А в селе Грешном образ его смутен; село знает только то, что лет сто тому назад приехал он доживать свой век в грешинской глуши, что мал и чуден был он, что странными поступками ознаменовал он свой приезд. Доложили ему рано утром в день Нового года, что пришел священник с причтом. «Позвать его в залу», — сказал князь — и долго заставил ждать себя. Выйдя же внезапно из боковой дверки в эту высокую холодную залу, еще не бритый, в сафьяновых сапожках и халатике на заячьем меху, отрывисто спросил священника: «Зачем, сударь, пожаловал?» Священник оробел, смущенно ответил, что желал бы совершить служение. И князь, едко засмеявшись, будто бы сказал ему: «Так служи мне, сударь, в таком разе панихиду». — «Но осмелюсь спросить ваше сиятельство: по ком же?» — «А по старому году, сударь, по старому году!» — сказал князь — и сам подтягивал причту, не дерзнувшему послушаться... В этот-то день и отдано было первое приказание — дать полсотни розог Ивану, с плачем и

лаем выскочившему из ельника на князя, на разметенную аллею, по которой гулял князь.

Те, что ездят мимо станции Грешное на богомолье, на поклон угоднику воронежскому, про угодника грешинского даже и не слышали. В селе же Грешном вот что про него рассказывают. Рос, говорят, Ваня в семье честной и праведной, у родителей своих, выселенных князем под Землянск-город. С ранних лет полюбил он Писание. Мать настаивает, отец кланяется: женись, сынок! А он плачет, рыдает, просит себе от бога видения, на Афон собирается. Вышло ему в видении испытание: послушаться отца. Встал он на ране, дал отцу полное согласие. Сыграли свадьбу, положили молодых в отхожую спальню, а они друг дружки не коснулись, вышли оба заплаканные. Сел Ваня опять за свое, за всякое священное письмо, а день хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне пошли, пошла и молодая с новыми родными, только Ваня один дома, не пожелал и в церковь пойти. И видит в окно: подъезжает к окну попов работник в новых розвальнях, на вороном коню: лошадь отличная, по-

повская, хлебная. Подходит работник, стучит кнутовищем: «Ваня, велел тебе отец в церковь ехать, взять с собою лапти новые и денег двадцать копеек». Ваня говорит: «Да я не знаю, где деньги у отца». — «А за образами», говорит попов работник. (По нашей местности всегда так какую записочку, поминовение — все туда кладут, а допреж и деньги класть не боялись.) Нечего делать, достал Ваня деньги, надел армячок, вышел, сел в сани на коленки, поехал по селу, увидел на горе храм божий, сказал: «Господи Иисусе...» И только сказал — глядь, сидит он в степи, в поле, на снегу, на морозе, разут, раздет, новые лапти на ногах, старые осметки на веревке через плечо, а сам плачет-рыдает. Узнали о том на селе, наладили подводу за Ваней, хотят на сборню везть, думали — бродяга какой, а он плачет, рыдает, на всех, как цепной кобель, кидается, сам кричит на все поле: «Буду, буду ходить, как ограбленный, буду вопить, как Штраусы!» Ну, конечно, навалились всем миром-собором, связали, повезли, а навстречу отец идет: пришел, говорит, от обедни, вижу, сына нету, а видать, чей-то пеший след про-

бит за гумна, за овины; пошел я, говорит, по этому следу; вижу, лапти новые, а след от одной ноги до другой — боле трех сажен...

Село Грешное этим и кончает житие святого. А смутно помнят его лишь старухи, доживающие свой долгий век в княжеской мертвой усадьбе. Всю жизнь свою, говорят они, Иван скитался и непристоен был. Он долго сидел на железной цепи в отцовской избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к нему приближался, часто кричал свое любимое: «Дай мне удовольствие!» — и был нещадно бит и за ярость свою, и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропал — и объявился странным, пошел по деревням, всюду с лаем и оскаленными зубами кидаясь на господ, на начальников и в слезах вопя: «Дай мне удовольствие!» Был он худой, жилистый, ходил в одной длинной рубахе из веретя, подпоясывался обрывком, за пазухой носил мышей, в руке — железный лом и ни летом, ни зимой не надевал ни шапки, ни обуви. Кровавоглазый, с пеной на губах, со всклооченными волосами, он гонялся за людьми, — и люди, крестясь, бежали от него. Был он по-

ражен какой-то болезнью, все лицо его покрывавшей белой известковой коркой и сделавшей еще ужаснее его алые глаза, был особенно яростен, когда пришел в Грешное, прослышав о приезде князя. Приказав отнять у него лом и при себе выпороть, — конюхи плакали, растягивая Рыдальца, с воплями кусавшего их, князь сказал: «Вот тебе, Иван, и удовольствие. Я бы мог тебя в кандалы заковать и в тюрьме сгноить, да я, сударь, не злобен: гуляй себе, проповедуй, ори, токмо меня не ондируй. А ежели ты не уймешься, то я неуклончиво буду доставлять тебе то самое удовольствие, о коем ты кричишь, уподобляя себя Штраусу». И так как Иван не унялся, почитай каждую неделю преждеостоко пугал князя, выскакивая из-за углов и запуская в него мышами, то и таскали чуть не каждую неделю люто оравшего Рыдальца на конюшню.

В старом селе Грешном скоро забывают прошлое быль скоро претворяют в легенду. Ивана Рыдальца запомнили надолго только потому, что на самого князя восставал он, а князь всех поразил своим предсмертным приказанием. Он когда ему, больному и ис-

сохшему, доложили о кончине Ивана, умершего в поле, в дождливую осень, твердо сказал — «Схороните же сего безумца возле церкви, а меня, вельможу-князя, положите рядом с ним, с моим холопом». И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдальцем, и видится он селу Грешному, точно в церкви написанный — полунагой и дикий, как святой, как пророк.

На станции Грешное каждый год, осенью, сходит с экспресса и направляется к церкви, сопровождаемая начальником станции, некрасивая, худая дама в трауре, с красивым тонконогим корнетом под руку. У церковной ограды с поклонами встречает их полный священник в черной ризе и дьячок с кадилом. Над полями тянутся низкие тучи, дует сырой ветер. Но священник и дьячок стоят с обнаженными головами. А входя в церковную ограду, обнажают головы и корнет и начальник станции, следующий позади всех и спокойным видом своим дающий понять, что идет он только ради вежливости. Сзади всех, спокойно и вежливо, стоит он и тогда, когда начинает развеиваться по ветру пахучий кадильный дым над страшными кирпичными

могилами и обходит их, кадя и поклоняясь, возглашая вечную память князю и рабу его, священник. Корнет молится рассеянно. Он, юный, красиво наряженный, выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую головку с той недоведенной до конца почтительностью, с которой кланяются святым и прикладываются к ним люди, мало думающие о святых, но все-таки боящиеся испортить свою счастливую жизнь их немилостью. Но дама плачет. Она заранее поднимает вуаль, опускаясь на колени перед могилой Ивана Рябинина, — она знает, что сейчас навернутся на глаза ее слезы. «Юрод, неряшен миру он казался», — читает она на гробовой плите. И слова эти трогают ее. А страшные слова пророка Михея, упоминание шакала и страуса, впвнушают трепет и тоску. И она сладко плачет, стоя на коленях опершись одной рукой, в перчатке, на тонкий зонтик, а другой — голубой, прозрачной, в кольцах — прижимая к глазам ба-тистовый платочек.

Капри. 18 февраля 1913

Худая трава

Худая трава из поля вон!
Пословица.

I

Аверки слег, разговевшись на Петров день. Молодые работники умылись с мылом, причесались, надели сапоги, новые ситцевые рубахи. Аверкий, чувствуя слабость, равнодушные, не сходил перед праздником ко двору, не сменил рубаху; что до остального наряда, то был он у него один — и в будни и в праздники. Молодые работники ели не в меру и весь обед хохотали, говорили такое, что стряпуха с притворным негодованием отворачивалась, а порою даже отходила от стола, бросив мокрую ложку. Аверкий ел молча.

Он был уже в той поре, когда хорошие, смирные мужики, много поработавшие, — а он таки поработал, в одних батраках жил тридцатый год! — начинают плохо слушать, мало говорить и со всем, что им ни скажешь, соглашаться, думать же что-то иное, свое. Он был в тех мужицких годах, которых не опре-

делишь сразу. Он был высок и нескладен: очень худ, длиннорук, в кости вообще широк, но в плечах, на вид несильных, опущенных, узок. И с этой полевой нескладностью, с лаптями и полушубком, никогда не сходявшим с плеч, странно сочеталось благообразие: небольшая, лысеющая со лба, в длинных, легких волосах голова, изможденное лицо с тонким, сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода, не скрывающая сухой челюсти.

Все, над чем смеялись за обедом, казалось ему ненужным, несмешным. Но неприязни на его лице не было. Ел он неспешно, кладя ложку, с детства привыкнув совершать трапезу, как молитву, ибо эта трапеза всю жизнь была для него венцом трудового дня, среди вечных опасений за будущий день, хотя всю жизнь и говорил он привычное:

— Бог даст день, бог даст пищу...

Мысли его туманились. Костлявые выступы скул, обтянутые тонкой серой кожей, рожовели. Думы не принимала пища. Но он ел пристально: и потому, что уж так полагается в праздник, и потому, что еда могла, как ду-

мал он, помочь ему, и потому, что жалко было не есть: вот он заболел, с места, должно, сойдет, дома же не только сладких харчей, а может, и хлеба не будет.

Подали на деревянном круге круто посоленную жирную баранину. Аверкий вспомнил, как служил он когда-то зиму в городе. Подумав, он осторожно взял кусок своими тонкими пальцами и бледно усмехнулся.

— Люблю горчицу, а где я ее могу взять? — сказал он застенчиво, не глядя ни на кого.

От баранины стало нехорошо; но он досидел-таки до конца стола. Когда же работники, дохлебав до последней капли огромную чашку голубого молока и самодовольно икая, стали подниматься и закуривать, смешивая запах махорки с запахом еды и свежих ситников, Аверкий осторожно надел свою большую шапку, — в пеньковом дне ее всегда была иголка, обмотанная ниткой, — и вышел на порог сенец, постоял среди голодных собак, жадно смотревших ему в глаза, точно знавших, что его тошнит. Погода портилась. Стало сумрачно, похоже на будничное предвечернее время; мелкий дождь стрекотал по газете,

валявшейся у крыльца барского дома; индюшки, опустив мокрые хвосты, усаживались на развалившейся ограде, а цыплята, которых сердито клевали они, лезли, прятались под их крылья... Сладкие харчи! Аверкий знал им цену. Последняя предсмертная тягота наступала для него, а все же крепко не хотелось ему терять их, когда брел он за избу.

II

Воротился он бледный, с дрожащими ногами, и попросился у стряпухи на печку. Она равнодушно спросила:

— Ай захворал?

— Служил тридцать лет, — в тон ей ответил Аверкий, влезая на нары, ставя лапоть в печурку и поднимаясь тесное, жаркое пространство между печью и потолком, служил тридцать лет с чистым лицом, а теперь шабаш, ослаб... Блоху не подкую, — пошутил он. — Износился, задыхаться стал, — еще тверже и даже с удовольствием сказал он, ложась.

И как только лег, получше пристроив голову в шапке на какую-то сломанную плетушку, тотчас стал задремывать и слышать свое глу-

бокое, однообразно прерывающееся дыхание ощущать его жар в губах. Он уже твердо решил, что захворал без отлеку, что он — «оброчный кочет». Он давно перемогался. Больные собаки уходят со двора, ищут по межам, по лесным опушкам какую-то тонкую, лишь им ведомую траву, и едят ее — тайком ищут себе помощи. Отдаляясь от дворни, Аверкий тоже искал — тайком покупал то водки, то соды... Теперь перемогаться уже не стало сил. Но все-таки надо было подумать: как быть с местом, сходить или нет? Если скоро умрешь, думать тут, конечно, нечего. Ну, а если не скоро?

Работники курили и хохотали. Слушая и думая, он стал видеть сны. Но из печальных и скучных воспоминаний складывались они. Вот он будто вышел из избы — надо ехать за хоботьем на гумно... А во двор входит и останавливается, увидя поднимающихся собак, странник: голова закутана женской шалью, на левой руке лукошко, в правой высокая палка, на худых ногах растоптанные лапти... «Если бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину, — подумал Аверкий в дремоте. — Вот

дело настоящее, чистое, легкое, а то не знамо, зачем и жил на свете...»

Но тут громко и дружно захохотали работники, надымившие всю избу. Аверкий очнулся. Стукнула дверь, кто-то вошел.

— Опять залил глаза! — сказала стряпуха, вытирая стол и не глядя на вошедшего. — Опять приперся... Дед, да ай у тебя стыда-то совсем нету? — спросила она, оборачиваясь. — Ну, чего пришел? Не надоел еще?

Но дед, — караульщик снятого мещанином сада, «старик-плясун», как называл он сам себя для потехи, всегда хмельной, обтрепанный, всегда мучивший Аверкия своей неряшливостью, своей болтливостью, всей своей свободной, немужицкой жизнью, — дед не обратил па стряпуху внимания.

— Ребята, рассудите: мысленно ли? — понес он с непритворным отчаянием, разводя руками перед работниками. — Один как есть на этакий сад! Да я с него шести целковых не возьму! Приедет нынче, так и скажу: хомут да дуга, я тебе больше не слуга! Будя! Вон ребяташки уже зачали в завязь вникать, две яблоньки отрясли, а я что? Дули, говорит, бере-

ги главней всего... А что я один исделаю? Вишенья опять оборвали на валу — ну, и черт с ними! Я больной человек!

— Больной, а все хоть выжми! — сказала стряпуха.

— Полегче! — ответил старик, садясь на нары. — Ты-то помолчи. У меня вон моя старуха тебе в матери годится, а я ее, может, полгода не видал... да, почесть, и весь век не видал, не знаю, зачем и женился...

«Не хуже меня, такого-то», — подумал Аверкий, закрыв глаза и уже не чувствуя к старику прежнего отвращения.

— А она небось мне не чужая, — продолжал тот с искренней горечью. — Я и ребятам вот говорю: что я могу? Сейчас отшел, а в салаше чуйка хозяйская, а она семь целковых! Да что ж исделаешь? И унесут за милую душу! А господам я вишенья дозволяю рвать: можете! Господа, они и съедят-то два зернышка, это ведь наш брат мужик... Правду я говорю ай нет? — крикнул он, снова оживляясь. — И тебе, староста, завсегда дозволяю, ты тут, может, первый человек надо всеми! Только ты меня чем обидел: тесу на кровать не дал!

Спасибо хоть барчук помогает: проплясал ему давеча маленько — ан на косушку и есть...

Аверкий стал опять забываться... Под вечер, в поле, шел он за возом. Моросило. Широко отворены были ворота на скотном дворе богатого степного мужика; бродил по двору и гоготал гусак, потерявший гусыню... «Богатому везде хорошо!» — с обидой и болью в голове кричал где-то внизу старик. Аверкий кивал шапкой, соглашался, а сам думал свое: «Богатый, как бык рогатый, — в тесные ворота не пролезет...» И очнулся, чувствуя, что бредит. «Да, бог не любит высоких мыслей... Да, старика жалко... Но дым и ненужный говор, чужие люди, чужая печка — ах, какая тоска, неприютность! Зверь, и тот забивается умирать в свою собственную норь... Нет, конец, домой пора!»

III

Он очнулся в сумерки. Ни работников, ни стряпухи в избе не было. На лавке возле окна сидела дурочка Анюта, скитавшаяся по господам, по мужикам. Она была толстая, стриженная. Она глядела в окно, — голова ее сзади была похожа на кувшин вниз горлом, — и пла-

кала: стряпухин мальчишка не дал ей лечь уснуть — все по лавке скакал.

— А там индюшки замучили, — говорила она, плача, думая, что Аверкий спит, и жалуясь самой себе. Легла отдохнуть в палисаднику — дождь, индюшки всю голову изодрали, а тут этот демоненок... Так-то, Анна Матвеевна! Так-то, матушка! Чужой кусок не сладок! А богатая была, умней барыни слыла!

Это она вспоминала то золотое время, когда было у нее целых тридцать шесть рублей. Она копила и хранила их долго как зеницу ока. Да выпросил, вымолил в долг мужик, у которого она стояла на квартире, поклялся на церковь, что отдаст — и, конечно, не отдал, даже прямо сказал: так и знай, не отдам и не шатайся...

Аверкий открыл глаза. Было лучше, чем давеча, уже не мутилась голова. Он послушал дурочку и усмехнулся. Ах, господи, из-за чего только волнуются, страдают люди! Этот старик, так растерянно жаловавшийся работникам... Эта плачущая от обиды на ребенка Анюта...

— А ты бы его за виски, — сказал он, усме-

хаясь.

— Ай ты проснулся? — спросила дурочка. И вдруг неприятно, неумеренно зарыдала. — Да ай я слажу с ним?

Когда она стала затихать, Аверкий негромко и ласково окликнул ее.

— Что тебе? — тупо отозвалась она.

— Сходи, матушка, к моей старухе, — сказал Аверкий. — Скажи, чтоб пришла за мной. Боюсь, ей и самой есть нечего, да ведь что ж исделаешь? Как-нибудь перебьемся. Я, видно, свое отслужил. Все дома-то лучше, пристойнее...

— Не с чужими же людьми сменить! — с горечью ответила дурочка. — Схожу, не боюсь... А ты не обидишься на меня, что я тебе скажу?

— Нет...

— А может, испугаешься дюже?

— А что? — спросил он.

— Да так... Я тебе же добра желала. Пришла давеча, — говорят, ты захворал. Я и зашла к Пантюше погадать насчет тебя...

— Ну и что же?

— Тебе, батюшка, плохо вышло... Он на-

брал земли на сковородку, лег под святые и запел... А сам все берет землю со сковородки да на лицо себе посыпает... Берет и посыпает...

— А ты фамилию-то мою сказала? — спросил Аверкий.

— То-то и беда, что сказала...

Аверкий помолчал.

— А ты все-таки к старухе-то сходи, — сказал он.

— Об этом ты не убивайся. Схожу.

Вынув из своего нищенского мешка крендель, дурочка стала есть, собирая с колен крошки.

— Хочешь кренделька? — спросила она.

— Нет, матушка, спасибо, что-й-то не хочется, — сказал Аверкий.

Вздыхнув, он повернулся на бок. Дурочка открыла окно, стала доходить свежесть вечера. Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатою равниной за рекой, в прозрачном небосклоне. Далеко на село хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню: «При вечере, вечере, при ясной лучине...» Когда и с кем это было? Мяг-

кий сумрак в лугу, над мелкой заводью, теплая, розовеющая от зари, дрожащая мелкой рябью, расходящийся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги — и неумелые руки, с трудом поднимающие, полный черпак... Шагом едет мимо малый в ночное, сладко дышит свежестью луга...

— Ай не узнала? — спрашивает он приторно небрежно.

— Дюже ты мне нужен узнавать! — отзывается нежный, грудной, неуверенно звонкий голос — и против воли звучит в нем ласка, радость нечаянной встречи.

— Ай помочь?

— Дюже ты мне нужен помогать...

Пересиливая себя, считая непристойным навязываться с разговором, он молча поднимается в гору, в росистое темное поле, глядит на звезды, слушает перепелов и деловито думает:

— Хороша, да бедна. Ишь сама воду возит...

Это было давно, в самом начале жизни... Неужели это она, та, что придет завтра, поведет его домой умирать? Она, она...

IV

Она пришла за ним на другой день. Она ласково и заботливо убрала своими темными руками его добришко, армяк, онучи, линючую подпояску, — и повела его, бледного и слабо улыбающегося, домой:

— Пойдем, пойдем, батюшка. Будя, поработал. Весь свой век ждала тебя. А ты вон какой стал — совсем никуда. Износился. Да заветный перстенок и поношенный хорош...

И он все радовался первое время: вот он и дома, отслужился! Он не лег в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевом воздухе. Лег он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедою, лег в телеге без колес — и в открытое ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумен, несло ветром косо́й крупный дождь.

Все дела обсудили они со старухой, пожалели дочь, по нужде рано выданную в дальнее село, во двор зажиточный, но больной дурной болезнью, и порешили дать ей знать, чтоб приехала проведать отца.

Дочь, однако, не ехала — верно, не пускала

погода.

Погода мучила. С утра светило солнце, парило над дымящимися полями, над грязными дорогами, над хлебами, насыщенными водою, легшими на землю. С утра Аверкий, порою покидавший свою телегу и добредавший до избы, обещал старухе, что опогодится. Но к обедам опять заходили тучи, казавшиеся еще чернее от блеска солнца, меняли облака свои необыкновенные цвета и очертания, поднимался холодный ветер, и бежал по полям косо радужный дождь.

— Будут беды великие, — говорила соседка, бывшая дворовая. — Раньше и тучки не те были, все зайчики да кусточки, а теперь облако грубое пошло...

Но Аверкий, сидя в валенках и полушубке возле избы, только слабо улыбался: какое дело было ему теперь до будущих бед!

Соседи, двоившие пар, приезжали к обедам мокрые, усталые, жаловались, что на них армяки попрели, и тоже все хотели уверить себя, что, авось, бог даст, разгуляется. Но после обедов темнело от туч, гнала буря ливень с градом. К вечеру стихало, солнце прогляды-

вало; но на востоке громоздились розовые горы, а западный небосклон весь покрывался странной серебристой зыбью, похожей на утиный пух.

А ночи были туманные. Зеленоватые пушистые звезды, как большие светляки, глядели на Аверкия в ворота. Спал он мало, по ночам скучал. Но, вспоминая теперешнюю свою свободу от всех забот и горестей, благодарно крестился на небо.

Худел и слабел он не по дням, а по часам. Но, чувствуя, что смерть овладевает им без мук, без издевательства, часто говорил старухе:

— Ничего, ты не бойся, я удобно помру.

А старуха втихомолку надеялась, не давала веры его словам. Больше всего пугало ее его равнодушие. Но и равнодушие долго пыталась она истолковывать его слабостью, пока наконец не перешло оно меры.

В конце июля, когда кое-как стали убираться в полях и дожди перестали, пропала у нее телушка, которую с великими лишениями нажила она себе, которая ходила за ней, как собака. Старуха все поля, все соседние де-

ревни обегала. В тоске, в тревоге, она расспрашивала каждого встречного, не видали ли рыжей телушки, и все не сдавалась, придумывала все новые места, куда надо идти на поиски. Как вдруг, в один сумрачный вечер, собаки притащили на деревню рыжую голову с маленькими рожками. У собак ее отняли и принесли старухе на крыльцо. Она растерялась и заплакала, как ребенок. И все долго стояли вокруг крыльца не зная, что говорить, что делать. На всех эта страшная, в сухой крови и с рожками голова произвела тяжелое впечатление. И только один Аверкий, который на говор прибрел из риги к избе, легонько рукой махнул.

— Уж чего там! — сказал он, — Смолоду не наживали, а теперь не к чему...

Все взглянули на него с удивлением и еще дружнее загалдели, что этого так оставить нельзя. Пастух сказал, что собаки рыли в лесу. Несмотря на сумерки, решили немедля ехать в лес. Сосед торопливо запряг лошадь в телегу, посадил в нее плачущую старуху, вскочил сам и поскакал, загремел по улице. Поскакали за ним верховые. В полях было

темно, в лесу темно и тихо, уже пахло опавшими листьями. Лес слабо освещался с одной стороны красноватым светом всходившей луны. Приехали к караулке на поляне, возле дуба с засохшей верхушкой. Лесник ужинал и, увидя толпу, очень испугался. Потребовали у него фонарь, пошли за пастухом к тому месту, где рыли собаки, нашли зарытую в землю требуху, подняли там и повезли лесника в деревню, к Аверкию.

Аверкий не спал, сидел в темной избе. Когда вздули огонь и стала изба наполняться народом, когда привели старосту с палевой бородой и наперебой стали кричать, обвиняя лесника, Аверкий неожиданно принял его сторону. Лесник в свое оправдание говорил только одно:

— Красть я не согласен. Мой родитель не крал, и я не согласен. Кабы я крал, у меня бы ничего не было, бог бы не дал, а то у меня свое хозяйство есть.

Но Аверкий, со своим равнодушием к земным делам, вполне верил ему — и даже возвысил голос, настаивая, чтобы его отпустили, а не сажали в холодную. И удивленные, сби-

тые с толку соседи, в конце концов, покорились ему. Покорилась его голосу, его гробовому лицу и старуха.

На выздоровление его у нее не осталось с этой ночи никакой надежды.

V

Дочь с мужем посулились приехать и приехали на престольный праздник, ко второму Спасу. Было решено, что зять свезет Аверкия в больницу, покажет доктору. Аверкий согласился — и на день, на два ожил.

На день, на два воротились к нему обычные человеческие чувства. С помощью старухи он с раннего утра умылся, причесался для гостей.

В обеды он лежал и прислушивался: не идут ли? Послышались шаги и голоса вдали. В раме ворот показался зять, за ним дочь с девочкой, сзади старуха. Зять, высокий, с зеленоватыми волосами, с белыми ресницами, был подбрит и наряжен: новый картуз, новые сапоги, серая жилетка поверх новой желтой рубахи. Дочь, которую Аверкий всегда считал красавицей, и на этот раз удивила его своею красотой, скромностью, соединенной с досто-

инством, длинными опущенными ресницами, лиловым сарафаном и смуглостью маленьких рук. Она, женственная, милая, вела за руку белобрысую девочку в зеленом платье, которая с любопытством осматривала дыры в крыше риги и сосала деревянную катушку из-под ниток.

Подойдя, гости поклонились Аверкию, осторожно поцеловались с ним, подняли к нему не хотевшую целоваться, воротившую в сторону личико, девочку; Аверкий с нежностью заметил, что волосы у нее бело-золотистые, тверды и гладки, как трава после лета. Гости заговорили бодро, беспечно, — зять все старался шутить, — но не сводили с Аверкия глаз и, видимо, не знали, что говорить. Он это чувствовал, неловко улыбался и даже бодрился, а сам думал, сравнивая дочь со старухой: нет, моя душевнее была! И дочь была хороша и скромна, как мать в молодости, но у дочери было больше спокойствия, сдержанности. Дочь трогала его своею красотой, ресницами, блеском стеклянных капель в гребешке, а старуха — лаптями, дряблостью кожи, усталостью, искренностью. Их противоположность

взволновала его, и опять почувствовал он на мгновение: сладка жизнь! Старуха не притворялась. Она вошла и стала, грустно глядя на него, как бы говоря: вот привела, хотят поглядеть на тебя — не хорош ты стал, батюшка, да что ж сделаешь. А он, и правда, был страшен. Волосы его еще больше поредели, стали еще тоньше, они лезли, падали на широкий ворот рубахи, на ключицы, торчавшие под нею, как удила. По обеим сторонам ввалившихся висков торчали большие прозрачные уши. Глубоко западали глаза.

Гости обедали в избе. Ему прислали чашку зеленого кваса с салом, ломоть хлеба. Он приподнялся, взял чашку, низко склонился над нею, выгнул зубчатую от позвонков спину, перекрестился, зачерпнул дрожащей рукой ложку и проглотил торопливо, боясь, что не хватит сил поесть. И точно, не хватило. Он устал, задохнулся, лег на спину... И чашка так и осталась стоять на земле возле телеги. Квас запенился, подернулся соляной пленкой, в него нападало много мух. Аверкий отгонял их и рассматривал свою руку, голубые ногти. Дивила его ладонь: впалая, она была суха и бле-

стела будто натертая воском... И, подумав о больнице, он насмешливо улыбнулся.

VI

Перед вечером прошел недолгий дождь. Со смехом, накрывшись подолами, гуртом прибежали с улицы девки, стали у ворот, не обращая внимания на Аверкия, ждали, пока перейдет дождь, видный в раме ворот на серой тучке. За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то все начинал играть на сломанной, с западающими клапанами, гармонии. Подошел к воротам зять, слегка хмельной. Он выставлял вперед правое колено, поставил на него свою большую, мягко и приятно рычащую гармонию. Он томно смотрел в одну точку, играя. А против него стояла и, слегка склонив голову, упорно смотрела на него солдатка, бледная женщина, с свежим, приятным ртом и серебристыми глазами в черных ресницах. Они звали друг друга взглядами, словами бесконечной «страдательной». И все долго, под редким дождем, следили за их любовными безмолвными переговорами. Потемнело в углах риги, темнело в воротах. Закрыв глаза, Аверкий слушал. Ему было хорошо.

Улица так и осталась возле риги до поздней ночи, расходясь постепенно. Поздно ночью небо расчистило, две большие звезды глядели в ригу. «Значит, так надо, — думал Аверкий, — значит, ему дочь моя не хороша, иную надо». Гармонья смолкла. Кто-то говорил за воротами дрожащим, охрипшим голосом, о чем-то упрасивая. Женщина отвечала протяжно, уклончиво, но сопротивление ее было слабое. Потом две тени на минуту заслонили звезды в раме ворот, прошли мимо, влево, к остаткам соломы...

«Ах, неладно, — подумал Аверкий. — А дочь небось любит его...» В душе зазвучала песня, нежная, любовная: «Я соскучилась, любезный, без тебя: вся постелюшка простыла без тебя, изголовьице заиндевело...» Он забылся и очнулся от громкого кашля. Зять, проводивши солдатку, смело воротился в ригу, сел на розвальни и, разуваясь, со стуком побросал сапоги наземь. Он зажег спичку, осветив петуха, ночевавшего на деревянном козле для резки.

Чтобы показать, что он не обижается, не вмешивается чужие дела, Аверкий, усмехнув-

шись, сказал про петуха.

— Ишь, где квартиру себе нашел!

— А ты чего ж не спишь? — спросил зять.

— Я, почесть, никогда не сплю, — ответил

Аверкий.

— Помираешь, значит, — равнодушно сказал зять, ложась.

— Худая трава из поля вон, — пошутил Аверкий. — А чую — конец. Чую — она. Ночью скучаю, пуще всего как полуночная звезда-зарница взойдет. Никакая! — сказал он безнадежно. Стали уж колокольцы в глотке звенеть...

Зять стал засыпать, сумрачно похрапывая. И грусть, умиление одиночества нашли на Аверкия. Хотелось еще поговорить, сказать что-нибудь дружелюбное, приятное зятю. Он окликнул его:

— Спишь?

— Нет, — отозвался зять, очнувшись. — А что?

И забормотал строго:

— Будя буровить-то, людям спать не давать... Спи!

Аверкий смолк. Хотелось сказать: «Ах, хо-

роша любовь на свете живет!» Он лежал, думал и затаивал дыхание, стараясь представить себя в могиле... Зять храпел, спал крепким сном поздней ночи. Слабое, мутное зарево долго было видно за воротами, за темными полями. Показался поздний полумесяц, — как отражение в затуманенном зеркале, — прошел низко и скрылся. Потемнело перед рассветом. Стал на всю ригу кричать петух. Стало в раме ворот серебриться небо, стал заниматься для живых новый день.

Зять проснулся, свежо и крепко зевнул, снова разбудив тонко дремавшего Аверкия. Утро настало веселое. Весело и молодо глядело в ворота голубое, по горизонту оранжевое небо. Холодная роса сверкала на траве. Зять, надевая сапоги, надувался и стучал ими в землю.

— Обузил хромой дьявол! — сказал он хрипло и бодро, разумея сапожника.

— Тесный сапог осеннее дело никуда, — ответил Аверкий. — Мука.

— Да это еще по чулку, — сказал зять. — А по портянке и совсем не вобьешь!

Старуха с дочерью нарядили Аверкия. На

него надели ситцевую рубашу, давно слинявшую, но чистую, легкую, узкие серые брюки в полосках, — подарок с барского двора, — и кожаные бахилки; надели полушубок, большую шапку и под руки повели к телеге. Девочка гонялась по риге за петухом, все норовила поймать его за хвост. Поджимаясь, петух мелко убегал от нее, и Аверкий усмехался. После риги небо показалось ему бесконечно просторным, светлым и радостным, воздух в полях — упоительным. Дорога уже обвяла. День был августовский — прохладный, блестящий, со стальными облаками. О больнице, о выздоровлении не хотелось и думать: и так было хорошо.

VII

Прошел еще месяц. Жизнь еще больше отодвинулась от Аверкия за этот месяц. Черные катышечки в пахучем желтом порошке, конечно, не помогли, — только палили изжогой. Но он все-таки ел их — целых двадцать дней. Когда же проглотил последнюю и зачем-то спрятал круглый пузырек под подушку, вздохнул так облегченно, точно свалил с плеч последний тяжкий долг. А с людьми он

мысленно уже простился: люди понемногу забывали о нем, заходили к нему все реже, а заходя, говорили то трогательное, то смешное, то грустное, но всегда неважное. Все время он чувствовал себя гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когда-то и где теперь живут еще беднее и скучнее, чем жили прежде, при нем.

Воротился домой и заходил раза два солдат, побывавший в Порт-Артуре и в Японии, — на войне и в плену. И не рассказал ничего путного ни о войне, ни о плене, говорил то же, что говорили и все, побывавшие на войне и в чужих странах. На войне страшно, а потом ничего, и не думаешь, а в чужих странах все не по-людски: земли много, а ходить негде, везде горы, людей всяких — и не счесть, а поговорить не с кем... Много рассказывал солдат о японках, но и их осуждал: «малы ростом и не завлекательны».

Заходила Анюта. С ней Аверкию было легко, она сидела долго, никуда не спешила, не говорила притворно: «Ну, я пойду, дельце есть...» Она была задушевна, проста, хотя и задевала Аверкия тем, что стала говорить с ним

теперь, как с равным, как с дурачком, со своим братом, лишним человеком.

Заходил старик-плясун, в полушубке и старой господской соломенной шляпе, приносил яблок, с неумеренной настойчивостью совалих под подушку Аверкию и с неумеренным оживлением болтал, внутренне радуясь своему постоянному хмелю, а жизнь свою то восхваляя, то ни в грош не ставя. Он дышал перегаром, говорил без умолку.

— Хм! — говорил он. — Мне тут, в селе, рай! Тут я маленько оправился, человеком стал. А то сослали меня прошлый год... Именьишко в поле, сад в поле — хоть бы тебе дворишко! Скука — избавь бог! Не то, что у вас в селе: тут в поле выйдешь, и то что-нибудь увидишь обязательно: либо где ребята в конопях, либо бабу примешь к сведению...

Хозяйственным людям было не до Аверкия: они веяли понос: зерно и опять рассевали его. Раз эта мирная жизнь была нарушена тревогой, набатом, торопливо сзывавшим испуганное село к месту неожиданной беды, к омету на дальнем гумне, внезапно охваченному среди жаркого полдня весело и торопли-

во разгоравшимся оранжевым пламенем. У Аверкия, всегда боявшегося пожаров, заколотилось сердце. Он, насколько мог, поспешно приподнялся и долго глядел в ворота, на голубое спокойное небо, по которому беспокойно и высоко неслись черные хлопья, «галки». Он жадно прислушивался к тому шуму и гаму в селе, который люди, бегущие на пожар, всегда зачем-то преднамеренно увеличивают. Он, по старой привычке, заразился было этим чувством, но скоро понял, что пожару он только обрадовался — обрадовался развлечению, тому, что прибегут к нему, потащат его из риги вон; понял и то, что пожар далеко и что ничего этого не: будет — и опять почувствовал равнодушие, опять лег.

Раз зашел к нему дьячок в парусиновом подряснике: посидел, сперва пошутил над его болезнью, потом сказал:

— Да... «И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к белу, иже даде его...» Этого, брат, не минуешь!

И Аверкий, которому очень понравились его слова, торопливо ответил:

— Избавь бог! Как можно того миновать!

На мгновение ему стало жутко от церковных слов дьячка, но, подумав, он еще тверже повторил:

— Нет, избавь, господи, — не миновать-то! Я вон жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И бог оброку требует...

И, запутавшись в своих мыслях, прибавил некстати:

— Нет, как можно... А то бы столько греха развелось! Так-то, святые люди говорят, шла божья мать от креста и плакала навзрыд... Все цветы от слез пожглись, посохли, один табак остался... За то-то вот и жгут его, курят...

После больницы он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок все, что видел и чувствовал он на своем веку. И он пытался сделать это, и каждый раз напрасно, воспоминания его били ничтожны, бедны, однообразны. Вспоминались пустяки, безо всякого толку и все в картинах — неясных и отрывочных. Только начнешь вспоминать жизнь по порядку, с начала, с детства, как все сольется в один какой-нибудь день, в один ка-

кой-нибудь вечер, часто и не относящийся к детству и такой далекий, такой ненужный, что только рукой махнешь. С тоскою махнул рукой Аверкий и на все свои знания, на все свои способности умственные. «Ведь вот какое чудо! — думал он. — Жил, жил, а ничего не помню, ничего не понимаю...» Говорят, например, что родился он вот там-то и тогда-то. А что это значит — родился? Не оказывалось даже понимания собственного рождения, не оказывалось даже и него ощутительной веры! Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот-то, а матерью — вот та-то. Теперь он и этому не верил, и этого не понимал. Он всю жизнь считал родителей самыми близкими людьми; но, когда умер отец, он совершенно забыл его, точно так же, как и мать: не только жалеть перестал, а даже лица отцовского не мог ясно представить себе. Так сближался он на своем веку и с многими другими людьми. Но и их забыл — вот как сны, например, разве мало видел он снов, а попробуй-ка вспомни их!

Только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой, которая

равнодушно-жалостно смотрела на него теперь старческими глазами, ощутительно помнил он да ясно видел лицо дочери.

VIII

И еще месяц прошел, и приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк богу.

Осень наступила рано. Замученный холодами, старой одеждой, пролежнями и сухими ранами на локтях, Аверкий только головой качал, разумея смерть:

— Ну, и норовиста! Не докличешься!

Мир он по-прежнему видел только в ворота видел только частицу огромной картины. Шли по горизонту за обнаженными лозинками все белевшие, все холодевшие облака. Умирая, высохли и погнили травы. Пусто и голо стало гумно. Стала видна сквозь лозинки мельница в бесприютном поле. Дождь порой сменялся снегом, ветер гудел в дырах риги зло и холодно. Аверкий тупо думал:

— Едет осень на пегой кобыле...

А в черные, ледяные и мокрые ночи, когда только рама ворот мутным и неподвижным призраком стояла перед ним, свинцово ним,

свинцово глядела на него, ему было жутко. Перейти же в избу он не решался: знал, что задохнется в первую же ночь — и умрет мучительно.

Раз приснился ему такой сон. Очень холодно, низкие тучи вдали над зелеными, над желто-красной грядой леса за ними. Возле грязной дороги едет он сам — древний, длинноволосый, в длинном полушубке на иссохшем длинном теле и поталкивает лаптем пегую кобыленку, глубоко вязнущую в сырой земле, комами выворачивающую зелена. Нагнал его барский староста верхом, в седле, молча, злобно дал ему в душу. Он, Аверкий, молча, легко съехал со спины кобылы вместе с армяком, на котором сидел, повалился на колени, снял тяжелую шапку с лысой головы, стал плакать, просить прощения, говорить, что он глух, стар, слаб, едет к дочери... Оскалив зубы, староста стал драть его кнутом по чем попало, — и от боли и от ужаса Аверкий проснулся весь в слезах. И до рассвета лежал, глядел на свинцовый призрак ворот, чувствовал, что замирает, бьется последним торопливым боем его истомленное сердце, и не понимал, — сон

ли это был, или сама земная жизнь его, слившаяся в ту тоску, в то горе, с которым он во сне повалился перед старостой на коленки. И, вытирая мокрое от слез лицо, засмеялся и твердо сказал себе:

— Нет! Пойду в избу! Задохнусь — туда и дорога...

А наутро и поневоле пришлось переходить. Внезапно пришла зима. И жизнь в Аверкии вспыхнула еще раз.

Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! Забелели поля, потонули в ней — забивайся на полгода в избу! В белых снежных полях, в метели — глушь, дичь, а в избе — уют, покой. Чисто выметут ухабистые земляные полы, выскребут, вымоют стол, тепло вытопят печь свежей соломой — хорошо!

И дочь приехала. «Точно почуяло ее сердце», — подумал Аверкий, хотя и знал, что приехала она к подруге на стовор. Белой курой несло над деревней; убеляя ее, гнилую и темную. Белы были косогоры и берега реки — только сама река, еще не застывшая, чернела, и по ней еще плавали белые гуси. А в сенцах

избы стояла дочь, веселая и красивая. Теперь ей совсем не жалко было отца, — ведь все равно ему не встать. Осенью умерла ее девочка — это снова сделало ее молодой и свободной. Старуха готовила на нарах постель Аверкию. И дочь ждала ее, чтобы идти за отцом, на розвальнях перетаскивать его в избу.

Приехав, она скинула шубку, скинула шаль с головы на плечи и стояла на пороге в сенцах. В раскрытую дверь несло серебристой пылью. Она стояла в голубом шерстяном платье, от которого хорошо, душисто пахло. На волосах ее блестели остинки снега. Соседский теленок лез в сенцы. Она несколько раз выгнала его, потом выскочила на порог. Ей казалось, что она опять живет дома, у батюшки с матушкой, девкой. Ее радовало, что она знает, чей это теленок и кому нужно крикнуть о нем.

— Мишка, родимец тебя расшиби! — крикнула она, выскакивая на порог и радуясь, что может, как своя, тутошняя, не обидно ругаться. — Я за твоим быком гоняться не стану!

В сенцы, грызя подсолнухи, вошла подруга, та, на чей стовор она приехала, девка серьез-

ная, с широкими черными бровями, тоже наряженная, в новом большом платке стального цвета с серебристыми листьями.

— Пойдем батюшку перевозить, — торопливо сказала ей дочь Аверкия. — Совсем помирает, за попом велел итить...

Аверкий, возбужденный и бессонной ночью, и первой метелью, и переходом в избу, — близкой смертью, — лежал в розвальнях и слушал, как холодно, по-зимнему шумит ветер, несущий белые хлопья, как шуршит сухой решетник, сквозь который дует он. Аверкий дрожал, ежился в своем истертом полушубке, накрытый для тепла пегими попонами, и все надвигал на лоснящийся лоб свою глубокую шапку. Лицо у него было ждущее, но глаза, большие, потемневшие, ничего не выражали. Он сам, своими силами, шатаясь и пьянея от слабости, перебрался из телеги на розвальни и с детским довольством думал: придут, чтобы перекладывать его, — ай у него уж все готово, только за оглобли берись... Вдруг раздался звонкий голос дочери:

— Батюшка! Жив?

Дочь, увидя его, внезапно заплакала: так

велик и древен показался ей этот живой покойник, с остатками жидких волос, отросших до плеч, в шапке, ставшей от ветхости каким-то высоким шлыком, вроде скуфьи, и в длинном армяке цвета сухого ржаного хлеба поверх полушубка. Он поздоровался с ней чуть слышно. И, опустив глаза, она почти без помощи подружки потащила розвальни к избе. И по белоснежному покрову потянулись от риги до избы две черных полосы — траурный след полозьев, все лето стоявших на влажной земле.

IX

На дворе сизели сумерки, но еще светло было, бело от снега. А изба уже наполнилась сумерками.

В сумерки, весь в снегу, нагибаясь па порог низкой двери, вошел в избу священник.

— Где он тут у вас? — бодро крикнул он, и голос его раздался, как голос самой смерти.

В таком страхе встала с лавки старуха. (Дочь, не думая, что конец отца так близок, ушла на стовор). Упираясь дрожащими руками, приподнялся и сам Аверкий и замер в ожидании, как вставший из гроба. В темноте

мертвенно-бледно синело его ужасное лицо. Взглянув на него, священник понизил голос и быстро, с испугом, таким тоном, точно вошел в избу еще кто-то, для кого все это и делалось, — сам бог как будто, — сказал:

— Шапку-то, шапку-то сними! — Аверкий стащил ее, положил на колени...

Потом затеплилась желтым огоньком восковая свеча. Исповедовавшись, причастившись, Аверкий чуть слышно спросил:

— Батюшка! Ну, как по-вашему, — вы это дело хорошо знаете, — есть уж она во мне?

И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:

— Есть, есть. Пора, собирайся!

Не глядя на старуху, он поймал ее руку, в которой уж давно отпотел приготовленный двугривенный, и поспешно шагнул за порог. Старуха, перекрестившись, подошла к нарам и стала, подпирая рукой подбородок, наглядываясь в последний раз на того, кого она так мало видела при жизни... «Пора, пора!» — крикнул на него священник. И он покорно лег на спину, зажав свечу в костлявых пальцах. Сердце его млело, таяло — он плыл в ту-

мане, в предсмертной зыби. Желтый дрожащий свет скользил по его пепельным губам, сквозившим в редких усах, по блестящему острому носу, по большим лиловым яблокам закрытых глаз. Чувствуя чью-то близость, он сделал над собой усилие — хотел что-то сказать и приоткрыл глаза. Но только дрогнуло его лицо. Может, его пугал и беспокоил этот свет, эта черная дрожащая тьма, напоминающая церковь? И старуха, думая, что до конца еще далеко, тихо вынула свечу из рук Аверкия и, дунув на нее, села возле него.

И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Представился ему летний день, летний ветер в зеленых полях, косогор за селом и на нем — его могила... Кто это так звонко и так жутко кричит, причитает над нею?

— Родимый ты мой батюшка, что ж ты себе думал, что ты над нами сделал? Кто ж будет нами печалиться, кто будет заботиться? Родимый ты мой батюшка, я шла мимо вашего двора: никто меня не встретил, никто не приветил! Я, бывало, батюшка, иду мимо вас — ты меня встречаешь, ты меня привечаешь! Уж ты грянь, громушек, просветися, мо-

лонья, расступися, мать сыра-земля! Уж вы дуньте, ветры буйные, — вы раздуйте золотую гробовую парчу, распахните мово батюшку!

«Ах, это дочь!» — подумал Аверкий с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди сладкой надеждой на что-то...

Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег, так неслышно, что старуха и не заметила.

Капри. 22 февраля 1913

Пыль

Высокие запыленные тополя шумели от знойного ветра возле большого белого вокзала. В тяжелых вагонах длинного почтового поезда, поравнявшегося с навесом, потемнело и стало тесно, все поднялись с мест, разбирая вещи. Ворвались в вагон рослые мужики в белых фартуках. Хрущов отдал одному из них чемодан и приказал взять билет на курьерский поезд, отходящий в двенадцать с половиной.

Все по эту сторону вокзала было знакомое, московское. Но по ту — совсем другое, забы-

тое: глубокая провинция, край просторный, хлебный, богатый и скучный. Пыльное солнце пекло ухабистую площадь. Несколько запыленных извозчиков стояло вдали. Серый от пыли вагон трамвая ждал чего-то. И Хрущов вспомнил Восток, Турцию...

Мещанин, в рыжей, выгоревшей чуйке, в картузе, надвинутом на уши, в истертых, с пылью в складках, сапогах, грыз на площадке вагона подсолнухи. Грыз и кондуктор, поводя голубыми хмельными глазами. Неожиданно для всех и рассеянно он дернул за темный ремень, и впереди щелкнуло. Вагон покатился вниз, завернул к трактиру в угловом домишке, тоже как будто турецком, — ветхом, деревянном, и навстречу целой туче пыли понесся под изволок — по широкой и бесконечной улице с горбатой шоссейной дорогой посредине и мещанскими хижинами по сторонам.

Тусклое солнце жарко светило сквозь тусклое стекло. Хижины мелькали все нищие, с высокими и гнилыми, почерневшими тесовыми крышами. Навоз сушился перед ними. Над воротами торчали шесты с желто-седыми пуками ковыля. Хрущов с радостью почув-

ствовал, что всю жизнь будет любить все это. Но далеко впереди виднелись каменные триумфальные ворота. За ними начинался город чиновничий и купеческий, весь белый, каменный. Хрущов вспомнил себя юношей, корректором губернских ведомостей, вспомнил холеру, запах хлористой извести на вокзале, серебристое от пыли и зноя небо за его белым фасадом...

Остановились в центре города. Тут на площади, перед думой, биржей и старыми колониальными магазинами, надо было ждать пересадки: Хрущову хотелось побывать на окраинах, на Пушкарской улице, где он жил когда-то у сапожника Мухина. Хрущов прошел по каменистому тротуару мимо пекарни Чаева, мимо столетнего винного магазина братьев Шафоростовых, мимо подъезда гостиницы «Париж», в красных, помпейских сенях которой круто поднималась лестница, покрытая истоптанным половиком. Запах пекарни был скучен. Запах лимонов, бакалеи из прохладного, полутемного магазина с политыми полами снова пробудил молодые чувства — еще тех дней, когда Хрущов ездил с отцом на

лошадях, и отец покупал у Шафоростовых карты, мелки, стеариновые свечи и херес, — темные бутылки, оплетенные тонкой проволокой. Мимо шли как будто все те же черные салопы со стеклярусом, все те же лоснящиеся на солнце купеческие сюртуки, и заунывно, во-восточному, кричали все те же квасники в красных рубахах, что кричали двадцать пять лет тому назад. Выбритый, рыжеусый, краснолицый городской, стоя среди площади, оправлял нитяные перчатки на толстых руках.

Пришел вагон с Карачевской. Он направлялся как раз на те пустынные улицы, куда двадцать пять лет тому назад Хрущов попал из-под родительского обнищавшего крова, из деревни. Опять неожиданно щелкнул звонком кондуктор. Опять стало припекать спину сквозь тусклые стекла, и понеслась навстречу пыль... Жил Хрущов на Пушкирной улице среди чужой, грязной семьи. Застенчивый барчук, как не шел он к ней! Но как, значит, счастлив он был своей молодостью, если и теперь еще запах сапожного товара, герани и гнили мещанского угла волнует его, если от

его хождения в казенную типографию остались в памяти только ранние солнечные утра и свежесть городского сада, мимо которого проходил он, перейдя по деревянным лавам мелкую речку и поднявшись на гору!

«Пушкарная!» — крикнул кондуктор. Вагон остановился на половине широкой немощеной улицы: здесь путь обрывался, рыжие рельсы упирались в песок, поросший кое-где муравой. Вагоновожатый стал переводить железный лук, соединяющий вагон с проволокой, убегающей от столба к столбу назад, в город... Тишина и жаркий, ослепительный свет. По правому тротуару, по каменистым колчам, Хрущов долго шел мимо всяческих мещанских домишек — и серых, и голубых, и белых, но одинаково нищих. Он внимательно глядел на них, читал надписи на дощечках над калитками... Чуть не вся улица принадлежала женщинам: редко-редко где владелец, а то все владелицы, — странная черта русского захолустья! Он расспрашивал встречных старух, далеко ли до дома Мухина, — они не знали и робели, отвечая. Ладный, коротконогий, чем-то довольный солдат, шедший навстречу,

отирал рукавом губы от мокрой шелухи подсолнухов. Хрущов хотел спросить и его, где дом Мухина, — и не мог. Усталость он чувствовал смертельную.

Лицо его горело под тенью соломенной шляпы, в голове мутилось от жары. Он опять остановился. Хижину Мухина трудно было найти, слишком она была похожа на другие. Он стал искать глазами тот дом, что когда-то белел напротив Мухина, далеко выделялся среди этой бедной улицы своей железной крышей и садом за забором. Но и этого дома не было. А улица точно на край света шла. И вдруг вся эта затея — шататься в жару, ломать ноги по песку и камням, вызывать удивленные взгляды встречных своей легкой одеждой и шляпой — показалась глупой и бесцельной. Навстречу медленно ехал извозчик, молодой парень на ободранной пролетке, на кляче с кривыми, опухшими ногами. Хрущов крикнул, замахал шляпой, испугавшись, что он скроется куда-нибудь в переулок.

«На вокзал, да поскорее!» — сказал он, садясь. И кляча понесла его с такой неожидан-

ной прытью, что он не чаял живым остаться, ныряя по тем пустырям и буеракам, которые избрал извозчик для сокращения пути на вокзал.

Курьерский поезд подходил. Хрущов торопливо соскочил с пролетки. Радость оживила его. Он прошел пахнувший самоваром вокзал и через минуту уже сидел в купе международного вагона. Как легко и плавно тронулся поезд! Какая чистота в этой маленькой каютке, сияющей зеркалами, медью, красным лакированным деревом и темно-зеленым рытым бархатом дивана!

Вагон уже мотало. Приноравливаясь к его качке, Хрущов снял шляпу, поглядел в зеркало на свое бледное лицо, сел... Полуденное солнце, светившее за большим пыльным стеклом, горячей полосой ходило по дивану. Хрущов протер стекло; раскачиваясь от бега ревущего на станционных путях поезда, он долго разглядывал огромную низменность, в тусклом свете которой туманно лежал город. Потом наполовину спустил кожаную занавеску, — и сердце его сжала тоска, тоска как бы последней разлуки с этим уходящим из глаз

городом и с бедными воспоминаниями молодости.

В дверь осторожно постучали: лакей с карточкой завтрака заглянул в купе.

— Прекрасно, оставьте мне место, — сказал Хрущов с той приятной легкостью, с которой, верно, говорит на своем языке иностранец, переехавший границу своей страны после России. Сейчас будет сидеть за столиком с букетом цветов, за бутылкой вина, и что впереди — серо-сиреневые горы, белый город в кипарисах, нарядные люди, зеленые морские волны, длинными складками идущие на гравий, их летний, атласный шум, тяжесть, блеск и кипень... Лакей деликатно притворил дверь. Хрущов лег на диван, — и мысли его опять возвратились к молодости, к началу его бездомной жизни, к этому большому мертвому городу, вечно заносимому пылью, подобно оазисам среднеазиатских пустынь, подобно египетским каналам, засыпаемым песками...

«Пыль, пыль, пыль! — думал он с какой-то едкой и сладкой тоской, глядя на тончайшую сухую мглу, наполнявшую его жаркое купе. — Азия, Азия!»

Вагон мотало...

Капри. 23 февраля. 1913

Лирник Родион

Рассказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховеями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась

скорлупа крашенных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилось над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтора хохлушек, плывших куда-то па весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; дном они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на

закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот она переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на пояснице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девушка гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и будто беззаботно побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косоголов, слившихся с затонами,

с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выпавшие за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и

дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристравший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псалмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую божью мать, — и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно

ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преобразилось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, — «ой ти, сыну, мій сын, ты, дытына моя!» — долго не запедали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса занял первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — «край Дунаю трава шумить» — и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой,

и вокруг него радостно приснули, покатились со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, — многие впервые побывали на этом пути в Киеве — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных,

усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу, — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й быстріп рікі, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, zostалися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, — сердцу и беспощадному и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

— Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

— Нещасні сирітікі — ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

— Що сирота робить — робота ні за що, а люди говорять: сирота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженной, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом иступить за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. — И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой пішла сирітка темними лугами, — вмивається сирітька дрібними сльозами. Не

могла сірїтка мачусї вгодити, — ой, пішла сірїтка по світу блукати: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земля от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим господом:

— Тай зустрїв пі Христос, став пі питати: «Куди йдешь, сірїтка?» — «Матери шукати». — «Ой, не йди, сірїтка, бо далеко зайдешь, вже ж своєп матінки й по вік не знайдешь: бо твоя матинка на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі...»

С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую «розмову» сироты с матерью, — точнее говоря, с «янголем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сірїтка на той гроб ридати: чи не обізветься в гробу рідна мати? Обізвався Янголь, як рідная мати, та й став пі стихо, словесно питати:

— *Хто це гірко плаче
На мойому гробі?*

— *Ох, це я, матинко:*

Прийми мене к собі!
— Насипано землі,
Що вже ж я не встану,
Сліпилися очі,
Вже й на світ не гляну!
Ох, як тяжко, важко
Каміння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тут, сирітка,
Ні їсті, ні піти.
Тільки велів господь
В сирій землі гніти!
Пішла б ты, сирітка,
Може б просила:
Може б змілувалась —
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

— Я ж пі просила, я ж пі годила. А злая ма-
чуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми выдохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг громко и радост-

но возвысил голос и развернул уже иные картины — картины Христова суда, его возмездия:

— Посилає Христос-бог Янголів от себе, — сказал он торжественно, чистым и звонким голосом. — Візьміть ту сірітку до ясного небе, посадить сірітку у світлому раю, у господа бога, у честі і славі!

И со скрежетом и пионом лиры далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач:

*Посилає бог з пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху
І по пі лучу:
Підніміть мачуху
У гору високо,
Закіньте мачуху
У пекло глибоко!*

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, беи лиры:

— Слухайте ж, люде: хто сіроти має, исхай доглядає, на путь наставляє.

И сказав, уже не нарушил молчания ни единым добавлением. Только долго покрывал

сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Взошла большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег» все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью — весною, плавнями. Только крупные лучистые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

Капри. 1913

Сказка

Идут с севера тучи и закрывают запад, который еще дает неверный свет деревенской грязной улице. В избе почти темно.

Баба разводит огонь на загнетке: набила в чугуны яиц, хочет делать яичницу. В другом чугуне, щербатом, она принесла из лавки два фунта гречневой крупы. Она поставила его на нары, и ребяташки, один за другим, заголяясь, сошмыгнули с печки, сели вокруг чугуна, горстями, торопливо едят сырую крупу, закидывая назад головы, и от жадности дерутся.

На лавке возле стола, облокотясь на подоконник, сидит мелкопоместный барин, в

глубоких калошах, в теплой поддевке и каракулевой шапке. Ему двадцать лет, он очень велик, худ и узкогруд. Глаза у него чахоточные, темные; рот большой, белая тонкая шея, со впадинами за ушами, закутана розовым гарусным платком жены. Он недавно женился на дочери винокура, но уже соскучился с женой и ходит по вечерам к соседу, к Никифору: заставляет его рассказывать сказки и были, плохо слушает, но дарит за работу то гривенник, то двугривенный.

Никифор — мужик еще молодой, но сумрачный. Как попал он в сказочники, ему самому непонятно. Началось с шутки: рассказал однажды какой-то пустяк, а барину понравилось, — смеясь, он дал на полбутылки и, зайдя на другой день, потребовал нового рассказа. Пришлось вспоминать всякую чепуху, порою выдумывать что попало, порою брать на себя всякую небылицу. Притворяться балагуром, сказочником неловко, но неловко и сознаться, что нечего рассказывать. Да и как упустить заработок? Все-таки не всегда засыпают голодными ребятишки, закусишь и сам иной раз, купишь табаку, соли, мучицы, а

не то, как вот нынче, крупы, яиц.

Никифор сидит за столом, насупясь. Надо рассказывать, а ничего не придумаешь. Держа в зубах трубку, вытянув верхнюю губу, глядя в землю, он до зеленой пыли растирает на ладони над кисетом корешки, выгадывая время. Барин ждет спокойно, но ждет. Хвост под чугуном разгорается, но свет держится только возле печки; уже не видно визжащих ребятишек, смутно и лицо барина. Однако Никифор не поднимает глаз, боясь выдать свое раздражение. Рассказывать нечего, но раздражение помогает. Притворяясь думающим, он медленно, невыразительно начинает:

— Старые права были хитрый... Вот так-то поехал один мужик за дровами в лес, дело было, конечно, зимой, самый холод ужасный, и встречается с барином... У мужика, конечно, лошадь плохая, и барин попался злой. Ну, встречается с ним, кричит: «Сворачивай с дороги...» Снег был глубокий, мужик с дороги не сворачивает, говорит: «Куда ж мне сворачивать? вы, говорит, на тройке, а я на одной, да еще с возом...» Барин вскакивает, сшиб его с

ног долой, давай кутузкой гладить... Отгладил раз, мужик отвечает: «За вами, говорит, должок». Барин глядит, что такое он буровит, дурак, мол, опять его кутузкой... И он его четыре раза порол, этот самый барин... Потом бросил его пороть и говорит на кучера: «Ну, он, верно, дурак, ну его к черту, сворачивай...» Поехал, значит, своей дорогой, а мужик своей. Приезжает домой, «ну, говорит, девка, вряд жив буду; избил барин, вся тело синяя...» Мужик этот шесть недель отлежал от сильного удара...

Что дальше, Никифор не знает и, выгадывая время, насыпает трубку. Затем продолжает:

— Выздоровел, конечно, а он был плотник, и собирается в дорогу. Положил в мешок рубанок, аршин, топор... А барина этого была фамилия Шутов. Шел, шел, приходит, спрашивает, где такой-то барин проживает... Входит на двор. Лакей выходит, говорит: «Вы плотник?» Говорит, плотник. «Вас, говорит, барин требует». Приходит к барину. «Вы, говорит, из рязанцев?» Мужик отвечает: «Так точно». «Вы, говорит, откуда?» — «Я, говорит, Танбов-

ской губернии, Рязанского уезда». — «Вот мне нужно дом сделать». Ну, конечно, договорились ценой, — за двести рублей. Написали между собой расписку, дал пятьдесят рублей задатку... А у него был лес свой, у барина у этого... «Ну, говорит на барина, как бы ним съездить посмотреть лес этот...» Велели запрячь, сели, поехали. Приезжают. Мужик этот самый и говорит кучеру: «Ты, говорит, ступай на опушку, а мы тут будем стоять». Кучер отправляется, а мужик подходит сейчас к дереву, расколочил ее топором, затесал клин и загнал в трещину...

Тут Никифор нагибается к трубке и поспешно закуривает, стараясь не глядеть на барина, растянувшего рот в ласковую, наивную улыбку. Табачная пыль в трубке горит синим огоньком. Никифор тушит его пальцем, пускает дым и кашляет.

— Ну, раздвоил мужик эту дереву и давай нюхать в середке. Барин спрашивает у мужика: «Что это ты, братец, нюхаешь?» — «А вот что нюхаю, узнаю, какой лес, сух ли будет». — «Да твой нос не чувствительный, дай-ка я понюхаю». А мужику того и надо, вытолкнул

клин, нос-то баринов и прихватило как следует. А у этого мужика тоже плетка была треххвостовая; он поскорей ему брюки долой и давай этой плеткой полосовать... Он его до того драл, что барин кричал, а то и кричать перестал... «Ну, говорит, еще два раза за тобой». Сел на лошадь — и час добрый. Кучер приходит — лошадей, саней нету, а барин у дереве носом забит, и тело вся изрублена до живого мяса...

— Очень глупо, — говорит барин, улыбаясь, и косится на загнетку, откуда тянет шипящей в сале яичницей...

Теперь пламя под чугуном совсем красно, в избе совсем темно. Дети, доев сырую крупу до зернышка, слушают отца. А он небрежно отвечает барину:

— Старики чего не наплетут... Конечно, сказка.

— Как так? — спрашивает он, поднимая лицо и в упор глядя сквозь темноту на барина. — Вы не дослушали, а говорите, сами не знаете что. Он его не одной плеткой, а еще и аршином железным перекрестил как следует... Он ему, говорят, все руки, ноги перело-

мал, до того бил. Барыня заявила, а он убитый лежит... «Ну, говорит, теперь похватались...» Выскочил в окно и прямо через сад, — потуда и видели... Там «ах, ах», «лови, лови», а его уж и след простыл. Грубым тоном сказав последние слова, Никифор смолкает. Молчит от неловкости за него и барин. Никифор это чувствует и пытается убожество своей выдумки оправдать нравоучением:

— Да и верно, — говорит он, глядя в сторону, — Не наказывай зря. Вы вот еще молоды, а я этих побасок мальчишкой конца-краю нету сколько наслушался. Значит, в старину-то тоже не мед был...

— Разумеется, не мед, — отвечает барин, поглядывая в окошечко и напевая. — Разумеется, не мед, — вздыхает он. — А дождь-то опять, кажись, пошел... Черт знает что такое! Скажи, на твое настроение очень действует такая погода или тебе все равно?

— Как же так все равно? — говорит Никифор. — Конечно, жалко. Да у меня-то еще милость: и строенья-то всего одна изба... А, конечно, и та преет, протекает... Железная крыша, и та ржавеет, не то что солома...

Барин, легонько усмехнувшись, медленно надевает шапку, медленно застегивается. В избе темь, — следовало бы дать хоть гривенник на керосин. Но нынче давать особенно неловко.

Думая о дурацкой сказке, он бредет в темноте под мелким дождем к своей жалкой усадьбе, мимо ограды старенькой церкви. За оградой, слабо освещая могилы, горит фонарь: церковь недавно обокрали. И говорят, что Никифор пропивал в шинке на большой дороге мелкие складни.

Анакапри. 12 марта. 1913

Хороших кровей

— Я хороших кровей, — говорит про себя коновал Липат. — А все оттого, что мы спокон веку едим хорошо. Со скотины взять пример: у смореной лошади дрянь носом идет, и она даже может других заразить. А мы всегда хорошо жили. Дед страшный колдун и первый однодворец во всей округе был. А покойный родитель еще потягался бы с ним. Ну, вот и считай, что мне по наследству пришлось... Я, брат, не простой коновал.

Говорит он мерно, низко, с приятной грубостью. Зовут его, конечно, не Липатом, но Ипат — это мужикам да и ему самому не нравится. Отца его звали так же, как деда, — Борисом. Он уверяет, что нет такого имени — Борис, а есть Борисоглеб, что был в старину святой, благоверный князь-однодворец, носивший это имя, и что далеко не всякий мужик достоин быть тезкой Борисоглеба.

— И меня обязательно надо было так же назвать, — говорит он. — Только, конечно, мы попам нож вострый, они наш род спокон веку не любят, вот и сделали назло нам.

Росту он большого, волосом бледно-желт; глаза у него мутно-синие, ресницы белые, крупные. «Мы, сказывают, из Сибири пришли, — говорит он. — Оттого у меня и рост и волос сибирный. Одного не пойму, — и тут он сдвигает рукав полушубка и показывает жесткую, покрытую красноватой шерстью руку. — Волос у меня везде лисий, бланжевый, а по рукам с красниной: верно, меченые мы все...» Зимой он носит черную баранью шапку, сверх полушубка — длинный тулуп нараспашку, с большим, раскинутым по плечам воротом из белой овчины, и длинные, кожей обшитые валенки.

Он богат. Живет на дедовском поместье, в голом поле. Хозяйствует без работников, с двумя женатыми сыновьями. Не жаден, не зол, но беспощаден. Раз подкараулил поджигателя, пьяницу-старика, убил — «как лярву» слегой, заявил, куда следует — и забыл. Воров ни в грош не ставит — «мышь копны не боится» — говорит он насмешливо но держит целых семь штук ужасных собак. Они часто выходят под дорогу, в поле. Прошлый год на клоки разорвали нищенку, рвут пастухов и

овец, — только подгони стадо к хутору! — и почему-то особенно злы осенью.

Коновал он знаменитый! Но слывет и редким крысомором. А морить, изгонять крыс — это уже с колдовством связано.

По достатку своему он давно бы мог оставить такие дела. Но они перешли к нему по наследству, от покойников родителей; они дают ему известность, окружают его двор и все предания двора таинственностью. А это для него важнее всякого богатства.

Он очень дорожит тем, что его считают не простым человеком. Он чувствует себя носителем какой-то большой и жуткой силы, с которой он, если бы даже и хотел того, не мог бы расстаться, — невольным восприемником каких-то знаний, высоких тем более, что, соприкасаясь с колдовством, они, однако, творят на земле не злое, а доброе.

Он рассказывает:

— Есть разные колдуны. Есть от бога, есть и от врага. Кто к сатане захочет прикачнуться, тот уж и делает так. Перво-наперво он в самую темь, в ночь-полночь в овин обязан идти и ружье с собой и образ взять. Собака

не брешет, лягушка не турлычет, а он, знай, иди. Придет, вздует огонь в печи, снимет с себя крест, сядет на него и ждет, сидит... Как полночь, так он и вот он: зашуршит, как собака, в соломе, подыметесь рогами под самый решетник из этой самой страсти, темени, и крыто поганое перед тобой постановит. Сам молчит, а сам дело делает. Наблюдает в него, нагадит, а ты — ешь. Потом ружье у тебя из рук возьмет. Зарядит, как надо, забьет дохлой шерстью, а образ над печью пристроит: хочешь не хочешь, а стреляй...

— Это значит, на гибельные дела силу человек получает, говорит слушатель. — А на хорошие?

— А на хорошие тоже не мед. Ночью надо на перекресток пойтить и свиным ножом кровь себе из левой руки кинуть. Он ее страсть как любит. Всю подберет, вылизет вместе с пылью. Ну, вот таким-то побитом и дед наш, конечно, делал. Зато и богат, жаден был. Стал помирать, отец стоит над ним, ждет от него силы, а он велел подать себе на блюде серебра, золота — и давай его в рот горстями пхать. Подавился, заплакал — «нет, говорит,

видно, с собой не унесешь!» — и открылся отцу во всем... А мне покойник родитель только и сказал, что одно слово до трех раз: «Все мое — твое, все мое — твое, все мое — твое» Штука-то, кажись, нехитрая, а поди-ка, откажись!

Ездит он на крыс с мешочком «белого камня», мышьяка а то и просто «с голыми руками». Он говорит, что стоит ему войти в дом, где, предвещая всяческие беды, множатся крысы, как гурьбой потянется крысиное пискучее племя вон из дому, в степь, в яруги. Он появлением своим повергает в тревогу пауков, ткущих сети по углам, за образами. Он знает какие-то, только его роду ведомые, «отдушины» у скотины. Взглянув на скотину, он без ошибки может определить время ее болезни или смерти. Распухнет у свиньи горло, он обложит его с наговором теплым пометом. Обьестся корова вёху, он пробьет ей бок гвоздем. Очумеет, закружится «круговая» овца, он зальет ей в ухо горячего масла. Март, начало весны — время его усиленных разъездов. Тут он работает не покладая рук. Прибыль животворящих сил, бродящих во всем живом, он

начинает чувствовать рано. Голос его приобретает тогда особую крепость, движения — силу и точность. Он осматривает скотину, ломает молодым лошадям «дурной зуб» и властно вторгается в самые сокровенные уставы природы.

Нынче утро тихое и снежное. Много молодого мартовского снега выпало за ночь на господскую усадьбу. Снег и теперь еще падает, но такой редкий, что виден он только на темной глубине в раскрытых воротах конюшни. Белые пухлые крыши мягко и свежо выделяются на сером небе. Сад весь в лебяжьем пуху; налипло на все стволы, на все ветви и склонило их. Чуть морозит, но воздух не зимний. Не по-зимнему пахуч кухонный дым, встающий ровно и высоко, сизым витым столбом. С закрытыми глазами стоит на варке скотина, густо обросшая за зиму шерстью, коротконогая, бокастая... Что чувствует она? Она в сладкой предвесенней истоме, пьянеет.

Липат приехал в усадьбу рано. Дома, на хуторе, он встал чуть свет. Осторожно слез с нар, одернул рубаху, плеснул на лицо водою и, покрестившись в темный еще угол, шагнул

вон из душной, полной спящими избы: надо погоду взглянуть, да и сладко глотнуть в этот ранний час душистой мартовской свежести. Возле избы, на рыхлом снегу, слабо белеющем в сумраке, валялись, играли собаки. Одна вскочила и бросилась к нему на грудь: он крепко охватил ее, теплую, сильную, с бьющимся сердцем, зорко заглянул ей в прозрачные глаза — и она тотчас же отвела и притушила их...

Потом пошел будить семью, одеваться, завтракать. Лошадь запрягли и подали к крыльцу сыновья.

Лошадь старая, умом не уступающая человеку, нескладная и машистая, легко несла его по снежной дороге. Раскинув по плечам ворот тулупа, овчина которого так приятно воняет на воздухе своей кислотой, он глубоко сидел в низких козырьках с лубочным круглым задом и чуть держал вожжи. Зыбко белел снежный простор перед ним. В селе стало светлей, ярче. Лошадь на полном ходу сама завернула во двор усадьбы.

Птичница вела резать гусака, держа его за одно крыло, и он, важно переваливаясь, сле-

довал за нею.

— Буди батраков! — крикнул ей Липат.

Не привязывая, остановил он лошадь недалеко от конюшни, у стопудового каменного корыта, похожего на скифскую гробницу. Собаки нигде не брешут на него. Все они поднялись и побежали к нему, окружили, обнюхали его. Он, стоя среди них, не спеша скинул тулуп, хорошенько свернул его, уложил в козырьки, в овсяную солому, и остался в коротком полушубке. Полушубок этот весь блестит, весь замаслился и заскоруз от крови. Подпоясан он черным и скользким ремешком — и сколько ржавых железок, крючков и ножей всяческой длины, спрятанных в кожаные ножны, висит, болтается на этом ремешке! В конюшне уже сидели, ждали работники.

Вот и последних, редких снежинок не стало видно. В тишине и спокойствии белого утра ясно слышны зычные окрики Липата на горячих непокорных жеребчиков. Дело совершается над ними жестокое, ужасное, но разве не на то и дана мудрая власть человеку, чтобы смирять, уравнивать буйные силы природы? Работники кричали бестолково, не

в лад. Жеребчики шарахались, они ловили их, галдели, торопя друг друга, когда нужно было навалиться разом. А окрики Липата были кратки и властны: он-то понимал, на что восстал он — зло и грубо, но с целями благи-ми.

Конопатая, в рудых волосах, жесткая рука его, засученная по локоть, часто мелькала в воротах конюшни — далеко выплескивала из деревянного, вырубленного топором корца темную густую кровь. Алыми пятнами были обрызганы и порог, и ящик старой телеги, занесенной снегом у конюшенной стены, и бор-зые собаки, которые с визгом отскакивали, когда мелькала рука Липата, а потом, дрожа от жадности, лизали, ели красный снег.

Выводили и валяли лошадей работники. Липат командовал и наваливался на лошадь только тогда, когда она была уже связана, сбита с ног и со всех сторон прижата к земле. Никита, толстомордый малый, был непово-ротлив. Липат дал ему подзатыльник. Солдат, унылый человек, был болен зубами и ленив. Липат сурово и твердо глянул ему в глаза — и солдат нахмурился, но ожил. Старика Гаври-

лу, услужливого, но глупого, торопливого, ему не раз хотелось взять за шиворот и выкинуть вон.

Напоследок делали другое дело: ломали зуб молодой кобылке золотистой масти, с «лысиной» на лбу и светлой гривой. Она выскочила из денника легко и доверчиво — и, подбитая под ноги, рухнула на солому, очень удивленная этим. Старик, упираясь лаптями в землю, лежал, надувался на ее крупе, но все сползал с него, подхватывая левой рукой гашник сползающих порток. Солдат тянул конец веревки, которой захлестнули морду кобылки, — задирали ей кверху голову, раскрывал рот, в которой веревка была пропущена. Никитка вытащил на сторону и крепко держал голый рукой ее розовый, слюнявый, все выskalъзывающий язык. А Липат, держа в руке короткую железную палку, острую по краям и с желобком на конце, глядел на белые крупные зубы и внушительно говорил:

— Держите крепче. Теперь гляньте на вон этот желтый зуб. Этот зуб называется, по старому преданию, вредный зуб, он называется — сухой зуб. Тут весна, самые корма, самый

нагул скотине, а лошадь от этого зуба щеки проедает, ворочать языком ей нельзя, и бывает заражение. Не догляди, не сломай вовремя — она будет как шальная ходить, и жизненности в ней никакой не будет.

Потом он сразу, со всего своего роста, рухнул боком на плечо кобылки, сунул ей в рот железную палку, поймал нужный зуб желобком и с треском стал выворачивать. Кобылка забилась, заметалась, разбрасывая во все стороны мерзлую землю, мерзлый помет и солому из-под своих блестящих подков. Работники тоже бились, тяжело дышали и надувались, сдерживая ее. У старика опять показалось голое тело.

Облив кровью руки и солому, Липат поднялся, сдвинул шапку с потного лба и твердо сказал октавой:

— Шабаш. Благодарение богу.

Кобылку отпустили, распутали. Она долго лежала, вся дрожа. Потом разом рванулась, чуть не упала, вскакивая, но справилась и, вскочив, легко побежала в денник. Там она крепко встряхнулась, как собака, выскочившая из воды.

— Свят, свят, свят! — сказал Липат, не спуская с нее блестящих, радующихся ее силе, молодости и красоте глаз. — На доброе здоровьице!

Но сейчас же и нахмурился. И, вытирая окровавленные пальцы о завернутую полу, сурово стал приказывать подтянувшему солдату:

— А вороному меринку надобно лекарству составить. Я составлю. Вели принести шесть горстей муки патентной. Этой мукой ты обязан шесть ден посыпать ему резку. Для порции нынче сам посыплю, покажу. А в муке этой будет семибратская кровь и кониный хинин. После шести ден кровя у него зачнут расходиться, внутренность очишшаться, и зачнет он как ото сна отходить, будет опять полноту иметь и даже грудь зачнет наливать. К Егорию не узнаешь — не на радуешься. А если бы его так кинуть, безо всякого внимания, сейчас он сохнуть зачнет, дрянь носом кинется, и он даже может других заразить...

Потом он отдыхал — перед тем, как идти осматривать прочую скотину. Весь день он будет наслаждаться своей кровной близостью

к ней, к тайникам и силам природы. Сидя возле конюшни на тележном ящике, он глядел на белый двор, белый сад и белые крыши. За облаками уже много света — и эта весенняя белизна и без солнца слепит.

Анакапри. 15 марта. 1913

При дороге

I

Устин, отец Парашкин, жил при большой Новосильской дороге.

Место, что он выбрал себе, отойдя от господ, было безлюдное. Ржи морями разливались по волнистым полям вокруг его степного двора. Во ржах за двором стояли два бесприютных дубка, шли неглубокие овраги, густо зараставшие к лету белыми цветами. Во ржах насупротив, за большой дорогой, терялся дубовый лесок; в той стороне было и село — однодворческое старинное село Баево, да волнистые поля скрывали его. До воли было много проезжих по большой дороге. Потом их следы, колеи затянулись, заглохли, закудрявились редкой мелкой муравой.

Устин давно вдовел, — говорили, что он

убил жену из ревности, — жил не по-мужицки: не землей, а тем, что в рост деньги давал, сеял кое-что только для домашнего обихода, вокруг дубков и над оврагами, и даже скотины путной не держал: хороши у него были одни лошади. В избе хозяйничала сперва его любовница, вдова-однودворка, сероглазая красавица, потом старшая дочь, Евгения. Но Евгению, чуждую и немилую ему, он рано выдал и заместил работником, пожилым придурковатым мужиком Володей. А сам часто отлучался из дому — и росла молчаливая Параша одиноко.

Однажды, — ей шел тогда четырнадцатый год, это было как раз в то лето, когда Евгения переселилась в Баево, гнали по большой дороге порядочный гурт овец: часто так делают — покупает купец сто, двести голов на одной ярмарке и перегоняет их на другую, нанимая для того босяков, а для надзора за босяками посылая приказчика. Дотлевала летняя заря далеко позади хутора. Поджидая отца из города, Парашка сидела на пороге избы, глядела на вечерние поблекшие поля, на голый простор дороги. Овцы густой грязно-серой

отарой медленно двигались мимо с тем неопределенным шумом, что производят и движение ног и дыхание их, с запахом своего руна и корма — степных трав и полыни! А за ними шли собаки с высунутыми красными языками, запекшимися и запыленными за день, оборванный высокий малый рядом с оборванным стариком и верхом ехал на белом горбоносом киргизе с кутузкой в руке, картузе на затылок, молодой мещанин.

— Здравствуй, красавица, — сказал старик, отделяясь от гурта. — Помоги нам, прохожим, попроси у отца серничка...

Она долго не отвечала, разглядывая его. Он был без шапки, клоки ее были надеты на его скользкий костыль. Он положил на него крупные блестящие руки, удерживая их дрожь, и с трудом дышал. В лохмотьях рыжего пальто, надетого на голое тело и подпоясанного обрывком, в подштанниках и сбитых опорках, зелено-седой и кудлатый, мертвенно-бледный и с запухшими глазами, он имел вид яростный, но в хриплом его голосе была доброта, усталость. Видна была серая шерсть на его груди, видно было, как трепещет под

грудью сердце.

— Отца дома нетути, — ответила Парашка, наглядевшись.

— Так я и знал, так я и знал, — сказал старик. — Все катается, а ты одна растешь... «Вечор наша перепелушка, — сказал он, глядя в землю, — вечор наша рябая всее ноченьку прокликала, всее, темную, протрюкала...» Как же нам быть-то, красавица?

Подошел малый, мелкой бойкой рысью подъехал верховой, по-степному поджимая ноги в стремях под брюхо своего толстогрудого киргиза, уморенного, но все горячившегося, задиравшего назад большую голову на крутой шее. Они поглядели на старика насмешливо, — знали его манеру разговаривать, — на Парашку внимательно. Малый был очень длинен и тонок, с покатыми плечами, с круглым кошачьим лицом, в сером арстантском картузе, а верховой — сухощав, но широк, очень смугл и с блестящими глазами.

— Я ее отца знаю, — сказал он, глядя с седла на Парашку, на ее маленькие ноги, загорелые плечи и грязную сорочку. — Богатый плуг... Ступай в печурке либо за образами по-

ищи, — прибавил он строго.

Парашка, не сводя глаз с киргиза, коротко, плотно, все мотавшего тяжелой головой и грызшего желтыми губами слюнявые удила, вскочила с порога, сбегала в избу и вернулась с коробочком спичек. А мещанин тем временем слез со старого, сухого и замасленного казацкого седла, расправляя короткие ноги. Взяв спички, он молча пошел прочь, повел киргиза к остановившемуся с опущенными головами гурту. Но Парашка навсегда запомнила его пропыленный пиджак, лоснящиеся штаны, заправленные в сапоги с узкими голенищами, грязный ворот вышитой рубахи и то, что все лицо его было, точно порохом, усеяно синеватыми точками, что на смуглых скулах его вились редкие жесткие волосы, такие же редкие, жесткие и смоляные, как и над углами рта. Он взглянул на нее, уходя, и поразил ее силой своих твердых глаз. А старик, верно, заметивший это, сказал ей на прощанье странные слова:

— Ну, вот мы и жители... Прощай, спасибо тебе, красавица. Попомни, что сказал тебе страшный старый босяк: этот вор-мещанин

может погубить тебя. Ты на таких-то не заглядывайся...

А потом на парах за дорогой, там, где заночевал гурт, долго пылал в темнеющей синеве вечера желтый жаркий костер. Ночь шла — отца все не было. Сидя на пороге, Парашка слушала, как Володя доит на варке, за сенцами, корову, и не спускала глаз с костра. «Вечор наша перепелушка...» — вспомнила она слова старика — и, чувствуя сладкую тоску их, видела темную-темную ночь и робкую перепелку, трюкающую в темном разливе хлебов... Все красней горел костер — и он, этот черноглазый мещанин, который мог погубить ее, был там, еще близко... Наконец ровный, успокаивающий звук отцовской тележки донесся до ее слуха. Она вскочила в темную избу и легла, притворяясь спящей. Отец подъехал к порогу, крикнул Володе; вошел и стал что-то вешать на стену. Зашумели сонные мухи в решетках и ситах возле печки.

— Батюшка! — негромко позвала Парашка.

— Аюшки? — отозвался отец вполголоса.

— Это какой босяк бывает?

— А разуйся хоть ты такая-то, вот тебе и

будет босяк.

— Да он не босой. Он в полсапожках.

— Ну, знать, пропился догола. А где ты могла видеть его? Парашка рассказала о прохожих, умолчав о последних словах старика.

— Знать, бальмашевский гурт гонят, — сказал он, не слушая толком и перевешивая наборную узду с одного колка на другой. — То-то, я гляжу, костер горит...

— А отчего у него лошадь в крови?

— У кого это?

— У приказчика. Вся грудь в струпах.

— А это оттого, что она киргиц называется, — сказал отец. — Эти лошади, дочка, злые, горячие живут. Вот и секутся, сами себе кровь бросают... И тавро небось есть?

Парашка подумала.

— А какая она?

— А вроде печати... как печать выжжена на ляжке, чтоб видать было, что это не простая лошадь, а из тавра, из косяка киргицкого... Ну, спи, спи, коли поужинала, — прибавил он. — А я в холодную пойду, там закушу...

И, отворив окно, ушел в другую половину. В окно было видно летнее ночное небо в блед-

ных звездах, чуть тянуло свежестью, смешанной с запахом гари потухавшего костра... И, волнуясь от этого запаха, что-то как будто напомиравшего, слушая отца, негромко говорившего под окном с Володей, Парашка заснула в чувстве того жуткого и манящего, что есть в неизвестных прохожих и проезжих людях, очарованная смутной думой о том, как погубит, как увезет ее куда-то вдаль молодой мещанин.

II

С тех пор прошло два года; пошел третий. Парашка изменилась. Мало-помалу она заняла свое место в хозяйстве, стала таскать, надрывая свой девичий живот, горшки и чугуны из печки, доить коров, обшивать отца... Но нрав ее менялся мало. Одно лето на нее напала страсть к селу. Она стала наряжаться, гостить у сестры, бывать с девками в хороводах, петь и плясать с ними, притворяясь бойкой. Потом бросила, опять почувствовала себя чужой селу, девкам, Евгении. Евгения тоже навещала ее, — она ходила солдаткой, детей не имела, вдового своего свекра не боялась. Но были обе они молчаливы, да и слишком раз-

ны во всем. Миловидную, на вид спокойную Парашку никто бы не назвал сестрой Евгении: та была крепка, плечиста, глядела из-под сдвинутых бровей, сжав губы; странно было видеть ее скуластое, короткое, решительное лицо рядом с нежным овалом нерешительного девичьего лица.

Близок был Парашке лишь отец. Ее любовь к нему росла с каждым годом. Но не простая, не спокойная была эта любовь.

Она любила отца застенчиво, той обостренной любовью, которой часто любят дочери вдовых отцов. Заменять ему мать, хозяйку, заботиться о нем, таскать для него горшки из печки было для нее радостью и гордостью. Но порой эта радость отравлялась болью — вспоминалась однодворка, хозяйничавшая когда-то в отцовской избе... В том страшном и малопонятном, что случилось между отцом и матерью о чем еще в детстве несвязным шепотом, с чужих слов, рассказывала Евгения, Парашка была на стороне отца. Но порою находило сомнение: да так ли, прав ли он был? — и тогда казалось, что не было на свете человека лучше и красивее матери. От-

ца Парашка мало видела, а понимала и того меньше постоянно чувствуя и робость и неловкость в разговоре с ним. Да и у всех он слыл не легким, не простым человеком Чистотою и правильностью черт, тонким станом, бронзовой бородкой и зоркостью зеленых глаз он напоминал старикам-дворовым объездчика-черкеса, жившего когда-то у господ его. Но и крестьянского немало было в его осторожных манерах, в неуклюжих сапогах, в густых кудрях, разобранных на прямой ряд, в вороте суровой рубахи и сермяжной поддевке. Он умен и приветлив был, даже добр, но все его побаивались: уж очень рассудителен. Приходили к нему из сел, из деревень за помощью. Он никому не отказывал. Он внимательно выслушивал, кивал головою, все приподнимая со лба свои бронзовые завитки. В глаза поглядывал не строго, но пытливо, поддакивал, никогда не перебивая, вполголоса. Лихву назначал скромную. Но ведь лихвой и жил он, а такие люди всегда страшны немно-го.

Вырастая, Парашка худела. В лице ее появлялось то неуловимое сходство с отцом, кото-

рое так нежно проявляется у дочерей, любимых отцами и на первый взгляд как будто и несхожих с ними. Многие одинаково затаивали, сдерживали они в себе, многое одинаково воспринимали: как, например, волновал их обоих вид цыганского табора, идущего осенью по большой дороге на низы, к югу!

— А я, мальчишкой, раз было убежал за цыганами, — сказал однажды Устин, усмехаясь.

— Да что же? Одумался? — спросила Парашка.

— Одумался. Без этого нельзя, дочка, — сказал Устин уже без улыбки. — Сгоряча делать не годится...

— Чего делать не годится?

— Да ничего, — ответил он не сразу и поглядел в сторону. — А то кровь в глаза кидается, беду творит...

Она поняла его, оробела и смолкла.

Но не только таинственностью отца, его прошлого, его разъездов и забот, о которых он никогда ни с кем не говорил, окружена была она. Осенью, зимою она много спала. Летом могла не спать хоть три ночи подряд. Любимым местом ее был порог, по часам сидела

она на нем, чуть склонив к плечу голову. Далеко куда-то, в счастливую страну, направлялись все те, что порою проезжали, проходили мимо. Смело и внимательно глядя вперед, разметав по плечам свои чубарые от солнца волосы, где мочальные, а где темные, в скуфье, в подряснике, широко шагал стороной бродяга, отставляя на ходу свой высокий посох: она провожала его долгим взглядом, хоть и боялась бродяг, боялась, когда они сворачивали к хутору за подаянием. Ровной рысцей, часто спотыкаясь и перхая, бежала посередине дороги захудалая помещичья тройка — звук дребезжащих рессор, дорожный вид запыленного тарантаса пробуждали в ней тоску, какие-то желания. Гнали овец — она жадно всматривалась в провожатых, вспоминая беду, предсказанную ей... Морями разливались по полям ржи и овсы... Тень ложилась от избы. Впереди, за дорогой, блестящей мелкой муравой, густая рожь клонилась в ярком вечернем свете, лоснилась против солнца, уходившего за избу. Розоватые клубы юго-восточных облаков, нежных, чуть заметных, сливались выше горизонта с матовой лазу-

рю небосклона... В эту сторону, томимая зовом степной дали, она смотрела чаще всего.

А любовь — это слово она узнала и почувствовала рано и тоже не просто. Еще в детстве поразило оно ее. Однажды, в жаркий летний полдень, сидела на камнях возле Устинова амбара мещанка из Баева, пьяница и бобылка. Она разложила возле себя спички, жестянку с махоркой, курила и глядела на Парашку, возившуюся в пыли возле нее. «Что ж, отец не прогнал еще любовницу-то?» — сиплым таинственным шепотом спросила она. И Парашка навсегда запомнила это особое слово и наитием угадала его сокровенный смысл. С тех пор всякий раз, когда случалось ей не вовремя забежать в избу и видеть на коленях у отца однодворку, сладким страхом и стыдом обжигало ее. А потом от сестры, от сельских девок стала она заучаться песням. Во всех песнях говорилось о том же, об одном — о любви. И она певала их, но мысленно — так трогали они ее, особенно одна, старинная: «Уснул, уснул мой любезный у девушки на руке, на кисейном рукаве...» Все подруги готовились только к одному — к заму-

жеству, к жизни, к близости с мужем. Рано стало волновать, страшить и ее предчувствие этой близости. Сестра просто говорила: «Батюшка распутный, он опять с кем-то живет. Сто рублей отдам, а дознаюсь!» А Парашка и сама бы не взяла ста рублей за то, чтобы дознаться о любовнице отца, хотя думала о ней дни и ночи. Сестра, когда угнали ее мужа в солдаты, вскоре пришла однажды на хутор. «Батюшка дома?» — глухо крикнула она, подойдя к замерзшему окну. Потом вошла, села на лавку, стала есть хлеб и все говорила, что она на минутку, все поглядывала на входившего и выходившего Володю, высокого худого мужика. Он, роясь на лавке в веревках и вожжах, картаво бормотал: «Сто ж не раздеваешься?» А сестра медленно мотала головой, закутанной в пеньковый платок: «Я на минутку...» Была она в промерзлых лаптях, в красной юбке грубой шерсти, в сермяжной куртке, туго застегнутой на полной груди, и крепко пахло от нее, крепкой, здоровой бабы, избяным дымом и ржаным хлебом, который она не спеша жевала. «Ох, что ж это я сижу-то!» — говорила она. И вдруг поднялась и

решительно вышла, но не домой, а в сени, к Володе. Парашка кинулась к двери и замерла, прильнув к ней ухом. Бежали минуты за минутами, все гуще сеял кто-то ночную муть в избе, и ни звука не слышно было за дверью. Но Парашка, казалось, все видела, все слышала...

III

Заменяв отцу мать и хозяйку, она стала чувствовать себя взрослой и порою заводила с ним беседы.

Раз зимним вечером он перебирал возле лампочки, коптившей на столе, какие-то истертые бумажки, вынимая их из-за пазухи, из кармана поддевки. Он напряженно соображал что-то, шевеля губами, и писал огрызком карандаша, ложась грудью на стол, отодвигая рукав и долго ерзая по бумажке, перед тем как вывести цифру. Она, сидя возле печки, пряла: сучила, доила нитку левой рукой, а правую отставляла — ловко пускала до самого пола волчок веретена. В пестреньком ситцевом платье, с раскрытой головой, с опущенными ресницами, она была хороша: она сама чувяла это по тем странным и ласковым взгля-

дам, что порою, отрываясь от работы, кидал на нее отец. Она сидела на скамье легко и спокойно, чуть раздвинув округлые колени, с мягкой силой нажимая носком левой ноги на приступку прялки, и жужжала колесом.

— Батюшка, — сказала она вдруг, — ты всегда был такой красивый?

— А что? — спросил он, по своему обыкновению, вполголоса. — Всегда. А что?

— Чего ж тебя мать не любила?

— А кто тебе это сказал?

— Да уж я знаю, — ответила она загадочно.

Он помолчал, стал прятать бумажки за пазуху и застегивать крючки поддевки, мотнул головою, откидывая со лба завитки волос.

— Ты того, дочка, не слухала бы, — сказал он негромко.

— Ты, говорят, убил ее... За что? За любовника?

— И этого не надобно говорить, — сказал он еще тише. — Вот ведь я ни о чем не пытаю тебя. Она подумала.

— Да меня что ж пытаться? Я вся наружи...

— Толкуй! — сказал он. — Ты вся в нее. Она покраснела.

— Ан в тебя... Я тебя в свете ни на кого не променяю!

— Променяешь, дочка...

Она вспомнила мещанина, провожавшего овец, летний вечер, который казался теперь таким далеким и прелестным, старого, желтозубого, но горячего киргиза, его сильную грудь в рубцах засохшей крови... А он продолжал задумчиво:

— Рано тебя никому не чаю отдать. Для тебя, дочка, для тебя одной с утра до вечера бьюсь. Буду ждать, высматривать человека хорошего, нужного.

— У тебя ж есть любовница, — прошептала она.

— Все пустое, все пустое, — ответил он, не повышая голоса. — Все тебе, это постороннее. С отцом стыдно об этом балакать...

Она заплакала. Он подошел, обнял ее голову, поцеловал в волосы. Сквозь тонкую кожу его проступил румянец, зеленые глаза горели ярко и нежно. Она успела взглянуть в них, когда он, обернувшись, пошел вон из избы, и заплакала от какой-то непонятной радости и еще более непонятного горя. Ах, да кто ж мог

быть лучше его!

Она худела. Но округлялись ее руки, ноги, приподнялись маленькие груди, глянцевитое и гуще стали волосы. Купаясь, она стала стыдиться своей наготы... Скоро, скоро станет она невестой, будут приезжать сваты к отцу, узаконится ее право любить и выбирать... хотя, конечно, никогда, ни за кого на свете не выйдет она... Сестра сделалась откровеннее с нею, — это льстило ее самолюбию. Сестра открывала ей тайны любви, она ждала мужа и говорила, что никак не дождетя его. Хотелось и Парашке поговорить о себе, о своих думах, о своей истоме. Хотелось намекнуть, что и про Володю она знает... Провожая сестру, она долго стояла на порою. Пели петухи — она слушала их, закрывая глаза. Дремал сумеречный мартовский туман над серыми снегами полей — ей казалось, что уже слышно в тумане карканье первых грачей. Убегала в туман, пропадала в нем зимняя дорога — и влекла к себе, тянула вдаль. Капали капли, куры стояли под ними, тоже дремали — и вдруг начинали тревожиться, кудахтать сквозь дрему. С веселой притворной яростью

играл, взвиваясь на цепи под амбарами жарко дышавший пес... Резко вздрогнув, она вбежала в избу.

Но в теплой избе только Володя делил ее одиночество. Володя, живший уже пятый год, был страшен и противен ей — с того самого вечера, когда Евгения вышла к нему. Но ведь она так часто оставалась наедине с ним... Она знала, что никогда не решится он тронуть ее, — отец убил бы его, — но ведь думала же она об этом... И сладость тайных дум ее даже увеличивалась страхом и отвращением к Володе. Он наружно был даже недурен, — пожилой, но стройный, легкий, как малый в двадцать лет. Иногда она пыталась разговаривать с ним о чем-нибудь, не касающемся хозяйства, о селе, о девках, о ребятах. Он задумывался. Он бросал веревку, которую вил, сидя на конике, вертел сигарку. Серое худое лицо его склонялось, прядь серых волос падала на узкий лоб — он был красив. Но вот он открывал рот — и сразу превращался в дурака. О чем бы она ни заводила речь, он сводил на то, кто у кого живет в работниках и, главное, сколько жалованья берет.

— Хоросую, хоросую залованью получа-ет, — бормотал он косноязычно, и от бормота-нья усы его делались слюнявыми.

А когда дул южный весенний ветер, съедая таявшие снега, и она делалась тревожнее, он видел и чувствовал это. Он входил в избу, как будто по делу, вешал или снимал обротъ с де-ревянного гвоздя в стене, нарочно мешкал, начинал шутками: «Где-й-то тут обротъ по-крепче, пора тебя обротать, к бычку весть...» Она странно и звонко смеялась. Он проходил мимо, внимательно посматривая на нее. Она встречала его глаза широко раскрытыми жду-щими глазами. Казалось еще минута, и она будет в полной его власти. Но, как только он протягивал руки, брови ее резко вздрагивали, лицо искажалось и вспыхивало. Она вскаки-вала и с той внезапной грубостью, которой так часто ошеломляют мужчин девушки, тон-ко вскрикивала, хватаясь за что попало:

— Тронь только, всю морду расшибу! Ба-тюшке скажу, только на порог ступит! Духу твоего тут не останется, побирушка, черт!

IV

Пришла весна. Серый снег съедали ветры

и туманы, пегими стали мокрые поля. Кончилась Страстная неделя, наступила великая суббота. В пасмурный вечер Парашка поехала с отцом в село, к церкви, уже на телеге. Неприютно гудели голые лозинки на окраинах села, из-за них, в неверном вечернем сумраке, глядели сине-белесые тучи, грозя дождем, делая горизонты зловещими. Но в ледяном ветре, что дул из-под туч, была весна, свежесть. Лицо Парашки горело и от ветра, и от румян, и от волнения, — от того, что она искупалась, надела все чистое, нарядилась и села в новую телегу, рядом с красивым, богатым отцом, который правил дорогой сытой лошастью.

На широкой улице было грязно, лежал горбами лед. Вечер в селе, на улице, вдоль которой уже горели огни по избам, уютным, но бедным и чужим, казался еще нелюдимее. Но и в этих ранних огнях, и в хлопьях снега, которые внезапно погнал ветер вдоль улицы, странно убеляя ее грязь, ее темные крыши, — во всем был весенний праздник. Жмурясь от снега, Парашка и Устин нагнули головы. Изредка Парашка взглядывала исподлобья — и

сердце ее заходило от непонятной радости при виде милого отцовского лица, его тонкой кожи, помолодевшей от ветра, блестящей бороды в крупных снежинках и мокрых ресниц... И вдруг кто-то громко крикнул над ними:

— Ай ослеп? Держи правее!

И, раскрыв глаза, Парашка увидела высокую лошадь и телегу с передком, а в телеге — поднявшего ворот чуйки и тоже согнувшегося от ветра и снега мещанина. Он взглянул на нее — и она мгновенно признала его.

— Чего кричишь? — ответил Устин веселым криком. — Завтра праздник большой!

— Виноват, Устин Прокофич, — отозвался мещанин. — Ничего не видно....

И телеги разъехались.

Долго помолчав, Парашка спокойно спросила:

— Ай ты его знаешь?

— А кто ж его, плута, не знает! — ответил Устин. — Он у Бальмашева на хуторе жил, теперь свое дело затевает, кружится, как вор, хочет в селе лавку открывать...

Парашка запихнула лицо шалью, задержа-

ла дыханье... Сердце ее колотилось, лицо стало серьезно...

А на Святой мещанин приехал в гости к Устину. За три года он ничуть не изменился, только беспокойнее стали его глаза. И одежда на нем все та же, только чист был ворот рубашки. Она узнала, что зовут его Никанором, из его разговоров с отцом поняла, что он еще гадает: не уехать ли «на низы», в Ростов. Он пил с Устином чай и водку. Она не вникала в то, что он говорит, слышала только звук его четкого голоса. Не поднимая глаз, она, набеленная, нарумяненная сидела в углу и грызла подсолнухи, как бы не замечая гостя. Не замечал, или делал вид, что не замечает, и он ее. Прощаясь, он протянул ей руку. Она не привыкла касаться чужих рук, подала ему свою неловко — и побледнела: и польстило ей это рукопожатие, и обожгло стыдом, точно это было начало тайного сближения их.

После этого он долго не показывался. Она по целым дням стояла на пороге и нетерпеливо, с настойчивостью и требовательностью подростка, ждала его. Ей казалось, что он обязан, должен теперь приезжать и продолжать

то, что начал, хотя и понимала, что он ничего не начинал. «Как только он приедет, — думала она, — повернусь и уйду, покажу, что не нуждаюсь им...» Но прошел месяц, завернули майские холода с дождями — его все не было. Накануне Николы она почему-то особенно ждала его, так томилась желанием видеть его, что, казалось, не может не исполниться ее желание. Спать она легла рано и плакала так зло и горько, что намокла вся ее подушка, но так беззвучно, что отец, спавший в двух шагах от нее, и не подозревал о ее слезах. Он только слышал, что она перевертывалась, и порою спрашивал странным и тревожным голосом, что это она не спит.

Утром отец уехал куда-то. Она увидела стекла, залитые дождем, и почувствовала, что уже ничего не ждет, ничего не хочет, что просто ей приятно вставать, прибираться избу, топить печь, заниматься обыденными делами. К вечеру она нарядилась, воткнула два сухих василька в косу, обвитую вокруг головы, и вздумала поставить самовар.

Дождь перестал. Все было мокро — и зеленая дорога, и зеленые хлеба, за которыми

влажно-синими стенами стояли тучи, на все бросая тень свою. Самовар кипел, краснел решеткой в темных сенцах. Она вышла из избы с закопченным чайником в руке, напевая: «Страшно итить к суду божьему, золотой венец примать...», и стала ждать, пока самовар раскипит еще больше. Со двора перешагнул порог Володя, свежо пахнувший дождем и затхло — мокрым армяком. Но только что хотел он подойти к ней, как возле рамы двери показалась голова чьей-то высокой лошади. Володя твердо прошел дальше, отворил дверку наварок и скрылся, а она замерла, не поднимая глаз.

— Здорово! — смело сказал мещанин, появляясь на пороге. — Ловко попал, прямо под чай...

И, засмеявшись, снял и отряхнул картуз. Черная поддевка его лоснилась от дождя. Смуглое лицо, точно посыпанное порошком, было мокро.

Она не ответила и вспыхнула: он говорил теперь совсем не тем тоном, что при отце. Помолчал и он, — слышно было, как спросонья заворковали в темном углу под крышей голу-

би, — потом подошел к ней и, глядя на самовар, спросил:

— Отца нету?

— Нету, — ответила она тихо, склоняя голову, на которой синели два цветочных венчика.

— Жалко, — сказал он и похлопал кнутом по голенищам. — Так ты одна и спасаешься?

— Так и спасаюсь, — ответила она, слабо улыбнувшись.

— Ну, да ничего, в другой раз заеду, — сказал он. — Благо придирка есть... Я прямо сам не свой, как соскучился по тебе, — добавил он.

Она помолчала.

— Не веришь? — сказал он, осторожно обнимая ее. — А я правду говорю. Я в тебя влюбился еще в тот раз, когда гурт гнал. А увидел тебя в селе, ослеп от радости, чуть в буерак не заехал. Я прямо почувствовал: быть роману промежду нас, а не то мне прямо пропадать!

— Я эти побаски слыхала, — с трудом ответила она. — Пусти, — бесстрастно сказала она, локтем отводя его руку.

Но он не пустил, он знал, что еще не слы-

хала она этих побасок. Он крепче обнял ее и горячо заговорил:

— Дай бог мне без покаянья помереть, если брешу! Не видать мне отца-матери...

Она молчала. Ей казалось, что она вот-вот упадет. Он воровски оглянулся, нагнул голову, нашел ее губы и откинул ее лицо назад. У нее перехватило дыхание от насильственного и долгого поцелуя. Потом он с притворным отчаянием махнул рукой и пошел к порогу.

— Ну, теперь шабаш мне! — сказал он, садясь в телегу. — Потерял я свой покой навеки...

И шибко погнал высокую лошадь по ярко-зеленой траве на тучу, тень которой уже мешалась с сумерками.

Скоро он скрылся за перевалом, и стало так тихо, что как будто в двух шагах раздавался бой перепелов, перекликавшихся в самых дальних хлебах, за чуть синевшим леском.

V

Он заезжал еще два раза, но все не вовремя: Устин был дома. И она притворялась, что не замечает его, пока он деловито болтал с

Устином. От напрасного желанья увидеть его хоть на минуту глаз на глаз она ходила как пьяная.

Вернулся солдат, муж Евгении. С женой, отцом и с мачехой он приехал Петровками в гости к Устиану на толстой, низкой соловой лошади, в новой телеге, крытой новым войлоком и по колесам облитой свежим коричневым дегтем. Отец солдата, коротконогий мужик в черной бороде с сединой возле рта, странно веселый человек, не стыдясь женатого сына, женился в третий раз на хромой бабе с дерзким взглядом и острыми грудями. И всем было неловко за него, да и сам он был весел и разговорчив, вероятно, от неловкости. От неловкости неумеренно пили за обедом. Ели тоже неумеренно, угощая друг друга с излишней настойчивостью, говорили без толку, чаще всего загадками, намеками и пословицами. Парашка весь обед боялась, что вот-вот разразится ссора. Все быстро захмелели, кроме Евгении, которая только бледнела от водки и грубо, властно вырывала стакан у своего пьяного солдата, притворявшегося злобным и серьезным. С губ Устина не сходила ядовитая

усмешка, когда он вполголоса, но твердо, перебивая все объяснявшегося ему в любви солдата отца, говорил ему пословицы и загадки, намекая на бесстыдство троеженцев. Хромая была дерзка и криклива, она тоже так и сыпала пословицами, обрезая Устина. Володя пытался перевести беспорядочный и тревожный разговор на свое любимое, на беседу о работниках и жалованье. Его никто не слушал. Он неприятно раскраснелся, стал со слезами кричать песни. Устин молча взял его за плечи, подвел к двери и вытолкнул вон. Он ушел на варок и, свалившись в сани, заснул мертвым сном. У Парашки; измученной ожиданием ссоры, как от угара замирало сердце.

После обеда пили чай и водку перед избою, в тени, на зеленой траве. Потеряв во хмелю всякий стыд, отец солдата, шатаясь, принес из своей телеги гармонию, стал совать ее в руки солдату, требуя играть плясовую. Солдат, с помутившимися глазами, в расстегнутом мундире, сидел на скамье возле стола и раскачивался, каждую минуту готовый упасть. Он долго не понимал, чего требует отец. Наконец понял и бешено, отрывисто задергал «ка-

бы курочка бычка родила...». Троеженец под-
сунул руки под черный армяк за спину, при-
сел, раскорячился, забил сапогами в землю.
Ударив в ладоши, сделала перед ним выходку
хромая, затрясла своими козьими грудями.
Лицо Евгении окаменело от сонной злобы.
Устин облокотился на стол, запустив тонкие
пальцы в свои бронзовые завитки, стиснув
зубы. В углах его губ так и застыла ядовитая
усмешка. Сумрачным весельем играли глаза.

— Дочка! Поди сюда! — крикнул он строго,
не в лад со словами сдвигая брови. — Поди по-
целуй меня!

— Ты пьяный, — ответила Парашка. — Гла-
за б мои на тебя не глядели!

Губы ее задрожали. Она повернулась и
ушла за избу. За избой слепило низко опу-
стившееся солнце. Блеснув крыльями, с дуб-
ков слетели, пали в рожь, в неглубокие луж-
ки, заросшие цветами, две горлинки... Как ти-
хо было тут после гама пьяных! Простор хлеб-
ных полей был к закату неоглядный, золотой,
счастливый... Парашка села на межу и дала
полную волю слезам.

Наплакавшись, она решила вернуться к

избе и, с помощью сестры, прекратить это безобразие — растащить пьяных, убрать водку, самовар. Была уже ночь — светлая, странная. Высоко на небе громоздились огромные матовые облака — небо казалось больше и величественнее, больше и зеркальнее казалась и высокая луна, сиявшая среди них. По широкой дороге, по хлебам пятнами проходили тени. Грядка телеги, стоявшей перед избою, и солома в ней серебрились. В телеге лежал отец солдата — боролся и ссорился с пьяной женой. У стола валялась опрокинутая скамейка. Самовар блестел медным боком, тускло блестела лужа на столе: кто-то выдернул кран из самовара. Под навесом амбара, как будто радуясь то сиявшей, то таявшей луне, играл, взвивался и давился на цепи жарко дышавший пес. Парашка заглянула в избу. Солдат сидел за столом, облокотясь на обе руки и положив на них ошалевшую голову. Он что-то бормотал. Мухи сонно и угрюмо шумели в решетах и ситах, развешанных на стене возле печи. А солдат что-то кому-то рассказывал, хвастался, что он, в силу своего значения, «присвоит» к какому-то барину какого-то Яко-

ва Иваныча...

Но где отец, Евгения? Парашка повернулась, вышла в сенцы, на порог. Высокая теплая луна ярко сияла среди матовых облачных громад. Против порога стоял, держа в одной руке повод, в другой кнут, мещанин, сзади него — его высокая лошадь под седлом. Лицо его от лунного света меняло выражение.

— Отец твой совсем готов, на девятом обруче, — с усмешкой сказал он онемевшей от страха Парашке, — Сейчас встретил во ржах: пьян хоть выжми, буровит — «в село иду», а Евгения его назад тащит...

Парашка молчала. Он бросил повод, взял ее ледяную руку в свою, горячую и крепкую, втянул ее в темные сенцы. Она вошла, упираясь. Он прижал ее, тупо глядевшую через его плечо на дымчато-зеленую полосу лунного света, падавшую сквозь дыру крыши в темноту, притиснул к холодной каменной стене и стал целовать ее лицо, приговаривая:

— погоди, за ради бога погоди... «Энтих нету уж дён, что летели стрелой, что любовью нас жгли, что палили огнем...» Я памяти по тебе лишился! Увезу тебя в Ростов, повен-

чаюсь там с тобой, вдаримся мы в степя, — на одних лошадях тысячи наживем... Лучше всякой модистики будешь наряжена!

Она вспомнила его таким, каким увидала впервые, — среди овец и собак, на старом, тавреном киргизе, — обняла его за шею одной рукой, вся задрожала от счастья и нежности, спрятала лицо на его груди, Он приподнял и положил ее на солому.

VI

Придя в себя, она долго сидела на соломе в этом темном углу. Мещанин пытался целовать ее, что-то торопливо говорил. Она оттолкнула его, замотала головой, показывая, что не слушает. Он воровски выглянул из сенец, быстро сказал, что придет завтра ночью, что она должна выйти к нему под дубки за избой, что у него есть большое дело к ней... «Приду, приду», — ответила она. «Смотри же не обмани», — сказал он неестественно, поняв, что она не придет. Слышно было, как звякнул он стремянем, поднимаясь в седло, как затопталась на месте и тронула лошадь... Она то глядела на полосу лунного света, то опускала глаза.

Когда мещанин, обернувшись, сказал ей: «Смотри же, не обмани», — она вдруг увидела в окошечке, пробитом в дверке на варок, шапку и лицо Володи. Это было так страшно, как если бы сама смерть заглянула в сенцы. «Да теперь все равно!» — подумала она. Сердце ее билось так сильно, что трудно было дышать. Высоко поднимая и опуская грудь, она прижимала к нему руки. Но все это не мешало ясности мысли. А мысль была проста: она пропала! и так страшно, неожиданно, как бывает это во сне!

Несколько дней после праздника Устин хмурился: стыдно, дюже напился. А она изнемогала от слабости, разбитости во всем теле и желания лежать с утра до вечера. Но нужно было ходить, быть бодрой и покойной, даже шутить за обедом с отцом и с Володей. Думала же она с утра до вечера все одно и то же.

Устин уезжал и приезжал. Казалось, что, посиди он дома, никуда не спеши, не волнуй ее своими отъездами и приездами, она бы пришла в себя и выдумала бы какой-нибудь исход, какое-нибудь подобие спасения. Было страшно, что он, посидев дома и приглядев-

шись к ней, все поймет; но и хотелось, остро хотелось порою, чтобы он понял: тогда бы само собой как-нибудь развязалось все это. Казалось, что, будь дождливо, сумрачно, было бы легче. Но настали дни светлые, знойные и бесконечно-долгие; близилась рабочая пора, стали поспевать, желтеть моря отяжелевших и подсохших хлебов, — и некуда было скрыться от света и зноя. После того нечаянного праздника, что нарушил будни в хуторе, хутор стал как будто еще молчаливее, и напряженная тишина стояла вокруг него в желтых и светлых полях.

Она по целым дням сидела на лавке возле стола в жаркой и пустой избе, глядя на несметных мух и мельчайших новых мушек на горячих мутных стеклах. Володя ничего не делал, но, как всегда, имел озабоченный вид, отыскивал какие-то пустяковые занятия и входил в избу. А входя, был прост, как будто ничего не случилось, только прекратил любовные попытки. Что это значило? Верно, он ждал какой-то удобной минуты и надеялся, что теперь уже не даст промаху. И Парашка горько усмехалась: вот дурак! Взял бы лучше

да рассказал отцу все, что видел!

Однажды в полдень, когда в мягком светоносном блеске млели в высоком млеющем небе, над хлебами и нагретой пыльной дорогой, чуть видные сияющие облака, возле амбара остановилась пара лошадей. В тележке сидела полная барыня, которая, как знала Парашка, много была должна Устину. Вид у нее был усталый, озабоченный, на сером лице и на крыльях носа пыль. Она задумчиво говорила все одно и то же, что не застала Устина, томительно-долго не уезжала. Кучер исподлобья глядел на пристяжную, которая зубом чесала свою отставленную ногу, барыня — не то в землю, не то себе в переносицу. Потом, прищурившись, стала рассматривать похудевшее лицо Парашки, ее позеленевшие прозрачные глаза.

— Ты здорова? — спросила она вдруг.

Парашка просто и твердо ответила, что здорова, но, когда барыня уехала, все смотрела в зеркало, сидя на лавке у окна, и замирала от страха. Она очень изменилась это ребенок мог заметить — как же не замечал отец? Но вот-вот и он заметит: сразу поймет все, что

случилось, — и что тогда?

Думая, она охватила всю свою недолгую жизнь. Оказалось, что она даже и не подозревала прежде, в каком наваждении жила она, как много думала все об одном и том же, сколько смутных пленительных картин каких-то дальних счастливых городов, степей и дорог дали ей думы, как нежно любила она кого-то... Сделав свое страшное дело, Никанор убил и ее и себя. Он, этот коротконогий вор, вдруг стал живым, настоящим — и ненавистным ей. Не могла любить и никогда не любила она его. Теперь без стыда, отвращения и отчаяния нельзя было вспомнить об этом человеке. Сбылось предсказание страшного босяка! Она чувствовала себя как бы зараженной какой-то постыдной неизлечимой болезнью и навеки отделенной от отца бездонным провалом.

Но, думая, тихо плача, снимая с головы платок и разглаживая его, она незаметно для самой себя давала волю сердцу — и мысли ее туманились. Она вспоминала, как любила, ждала кого-то — и любовь эта возвращалась, и она не могла найти себе места от тоски по

прошлому, от жалости к себе, от нежности к тому, кого она, казалось, так долго любила. Она думала об отце, которому говорила когда-то: «Я вся наружи перед тобою», — и готова была закричать, вскочить в холодную половину, где он жил, ночевал, отдыхал после обеда, и кинуться к нему под ноги, чтобы он истоптал, убил ее сапогами, лишь бы утолилась ее мука о невозвратном, прежнем времени. «Для тебя, дочка, для тебя одной», — вспоминала она слова его и плакала, изнемогая от сладострастия горя и слез.

Как-то вечером Устин с Володей поехали в село, повезли отбивать косы. Вечер был ясный, покойный, равнины спелых ржей за блестящей в вечернем свете муравой по большой дороге розово желтели, черные стрельчатые касатки, мелькая розовыми юными грудками, проносились мимо открытого окна, у которого сидела Парашка. Вдруг на опушке хлебов, во ржи за дорогой, выросла короткая фигурка Ннканора: он, видно, давно сидел в хлебах, прятался и вдруг встал, выпрямился. Она в ужасе отшатнулась от окна. А он быстро пересек сухие колеи и вошел в избу.

— Здравствуй, — сказал он негромко, оставившись у порога. — Никого нету?

— Никого, — ответила Парашка, чуть шевельнув побледневшими губами.

— Дело есть. Пойдем за избу, под дубки.

Он говорил, как муж, как близкий, как власть имеющий, как человек, с которым у нее уже есть нерушимая связь и тайна. И она молча встала и пошла.

Под дубками он твердо, кратко, оглядываясь, сказал ей, зачем пришел: она должна помочь ему свести с отцовского двора двух кобыл и бежать с ним в Ростов. Она тупо ответила, не поднимая глаз:

— Хорошо.

Солнце опускалось за усатыми колосьями, среди которых они сидели на меже, и осыпало остинки колосьев золотистой пылью. От большой дороги, с юго-востока чуть тянуло мягким ветром близкого июля, рабочей поры, когда так ровна и матова сухая синева неба, и мягко жужжали сухие, жесткие подкрылия опускающихся на колосья и качающихся на них рыжих хлебных жучков.

Никанор говорил так: ровно через неделю

Устин уедет в ночь на Тихвинскую ярмарку, возьмет и Володю с собой, а вернется только поздним вечером; все это он, Никанор, доподлинно знает, так как обещал Устину тоже быть на ярмарке и помочь ему продать жеребца. Значит, в обеда, когда ни души не будет в полях, можно спокойно вывести кобыл со двора, привязать их к телеге и гнать что есть духу по проселкам, особенно глухим пред рабочей порой, в сторону Лебедяни. Ночуют они в таких артебах, в таких заповедных логах среди хлебов, куда ни один черт не заглянет. Чем свет — дальше. А в Лебедяни есть верный, золотой человек; ему-то они и сбудут кобыл за три, четыре сотни, и составится тогда у них больше пятисот рублей, на которые они и до Ростова добьются, и дело начнут, давно уже обдуманное.

— А какое? — спросила Парашка.

— Ну, ты по этой части еще тупорыла, — сказал Никанор с усмешкой.

— Лучше бы ночью, — сказала она серьезно.

— Да что ты! — насмешливо сказал Никанор, делая папиросу из газетной бумаги.

И вздохнул:

— Никак, девка, не выходит. Уж слушай мое готовое.

— А скорей нельзя? — спросила Парашка, разглядывая свои маленькие босые ноги.

— Скоро делают, слепых рожают.

Она помолчала, и в сердце у нее опять задрожала злоба против него. Ждать целую неделю! Как он не чувствует ее муки! Ах, да не лучше ли взять да повеситься вот на этом дубке? — подумала она без слов и стала крепко кусать губы, удерживать дрожь мускулов на лице, но не выдержала и заплакала.

— О чем ты? — спросил удивленный Никанор. Она не ответила и заплакала пуще.

— Тебе говорю ай нет? — грубо крикнул Никанор.

— Отстань! — крикнула она в ответ с такой ненавистью и бешенством, что Никанор даже отодвинулся от нее.

— Ну, будя, будя, — сказал он смущенно и хотел обнять ее. Она оттолкнула его локтем. Он все-таки насильно овладел ею.

VII

Целую неделю, до самой Тихвинской,

Устин, как нарочно, сидел дома. Приходила Евгения — жаловаться на своего солдата, оказавшегося после службы совсем дураком и пьяницей, и на свою хромую свекровь, злую и распутную, помыкавшую свекром. Но Парашка не слушала ее. Она уже ничего не думала, ничего не чувствовала — тупость, какая-то обреченность владели ею. Спала она эту неделю очень много — и днем и ночью. Просыпаясь, вскакивала, поражаясь мыслью о том, что вот-вот предстоит ей.

Наконец пришла последняя ночь.

Было уже поздно, но она не спала, лежала на нарах. Так же, как в темной избе, видела в окно небо в бледных звездах, слушала, как что-то говорил под окном отец... Потом дверь избы бесшумно распахнулась.

— Дочка! Спишь? — негромко спросил он, останавливаясь у порога.

— Нет... — с трудом пробормотала она.

Но он не заметил странного звука ее голоса — и двинулся к нарам. Найдя ее в темноте, он сел возле нее и положил на ее обнаженное плечо руку.

— Дочка, что с тобою? — тихо и таинствен-

но сказал он, наклоняясь к ее лицу, — и она почувствовала его бороду, тепло его дыхания и приятный, хлебный запах водки. Ты не таись, — еще тише сказал он, обнимая ее и царапая плечо сермягой поддевки.

Сердце ее затрепетало. «Батюшка! — со слезами хотела крикнуть она — и одним криком этим выразить всю свою муку и беспомощность. — Батюшка, — хотела она сказать, — он погубил, опоганил меня, я не его, я не знаю, кого люблю, а тебя в свете ни на кого не променяю...» Но он еще ближе прижался к ней и вдруг зашептал совсем на иной лад, заискивающе, слащаво, путаясь:

— А гостинчика, обновочки хочется? Я в город, на ярмарку еду сейчас — что тебе купить? А? Говори-ка скорей, не бойся...

И дрожащей рукой скользнул по ее спине. И, пораженная, она так рванулась из-под него, что он чуть не упал с нар. Вскочив на ноги, она забилась в угол, протянула вперед руки, а он отступил и забормотал:

— Что ты? Что ты? Да ты что подумала-то?

— Уйди, — едва слышно выговорила она, чувствуя свои оледеневшие губы. И в радост-

ном изумлении, в светлом восторге исступления, отчаяния, подумала:

«А-а! Так вот оно что!»

Он постоял и вышел. Она слышала его неестественно звонкий голос на дворе, слышала скрип телеги, окрики на привязанного к ней и шарахавшегося жеребца, слышала, как они с Володей сели и тронулись... С кошачьей зоркостью глядя в темноту избы, она долго стояла на нарах в глубокой тишине степной ночи, обступившей ее со всех сторон. Потом осторожно легла и сразу заснула...

А день настал глухой, палящий, ослепительный, хотя блестящие горизонты были от зноя мутны и белесы. Она очнулась чуть не перед обедами. Солнце било в тусклые, засиженные мухами окна, наполняло избу жаром и светом. Заспанная, не умываясь, с тупой и тяжелой головой, она босиком выскочила на порог, под солнце, стоявшее уже очень высоко, и сухой жар так и облил ее всю. Море спелых хлебов как будто сдвинулось, теснее обступило и двор и дорогу, тускло блестящую глубокой пылью. И этот песочный цвет хлебов, низко склонивших тяжелые колосья и за-

стывших в тишине, в густом горячем воздухе, давал впечатление отчаянной духоты.

Она растерянно оглянулась и попыталась вспомнить: что это она должна сделать сейчас? То, что за ней сейчас приедут и что надо будет после этого поскорее уезжать, скрываться, она твердо помнила. Но как же это она не простилась с отцом, не сказала ему того, что придумала ночью и что надо было сказать? Правда, после вчерашнего, с отцом можно было и не прощаться и ничего не говорить, но как же она не подумала, что взять с собою, ничего не собрала, не умылась, не обулась? Она стояла на зное с открытой головой, держала руки под мышками, чувствовала жар на своих открытых плечах, касалась босой ногой горячего камня у порога. Белый песок с высунутым языком лежал в короткой тени под амбарами. Она со страхом глядела то на него, то на хлеба, на проселок...

И вдруг во ржах, на тускло-серебристом небосклоне, появилась дута и высокая худая лошадь. Никанор сидел на грядке телеги, сдвинув на затылок картуз, и усердно дергал вожжи. Рысью, поднимая пыль, перерезал он

большак и, гремя, подкатил к самому порогу. Глаза у него были расширены, черное от загара лицо все в поту, вид удивленный,

— Что же ты? — быстрым шепотом спросил он, соскакивая с телеги и не замечая, что Парашка разута и почти раздета. — Все готово? Уехали?

Она, не отвечая, дико глянула на него, прыгнула с порога, блеснув голыми ногами, и направилась к воротам, на варок. Навалившись на них плечом и чувствуя, что и ворота горячи от солнца, со скрипом распахнула обе половинки. По глубокому пересохшему навозу пошла к темному деннику, где стояли кобылы. Никанор въехал за ней, сделал круг, бормоча: «Да что ж ты не оделась-то?» — На двери денника висел большой замок. Парашка обернулась.

— Ключа у меня нету, — сказала она, глядя на Никанора большими, стоячими, прозрачно-зелеными глазами.

Никанор оглянулся, увидел голыш, на котором точили топоры, схватил его в обе руки и с навесу стукнул по замку. Замок отвалился вместе с петлей — и Парашка, не дав ему

упасть, подхватила и крепко зажала его в своей маленькой загорелой руке. Еще больше сдвинув на затылок картуз, мокрый от пота, Никанор с тяжелой оборотью в руке вошел в денник и склонил голову к плечу, вглядываясь в сумрак, отшатнувшись, изогнулась и прижалась к стене гнедая кобыла, красавица с лиловыми глазами. Парашка, сделав большой шаг, неумело, но изо всей силы ударила его в висок замком. Он коротко споткнулся и упал, ткнулся головой в навоз. Парашка подскочила, как стрела метнулась вон из денника и понеслась к воротам. Лошадь Никанора, стоявшая у ворот, всхрапнула — и вместе с нею вылетела на дорогу. Пыля и гремя телегой, она подхватила в одну сторону, к юроду, в белесую блестящую даль за перевалом, а Парашка — в другую, через дорогу, ко ржам. На бегу обернувшись, она вдруг остановилась: из ворот выскочил, без картуза, весь облитый по лицу и по рубашке алой кровью, Никанор и, почти падая, ударился догонять свою обезумевшую лошадь. Парашка взвизгнула и нырнула в душную гущу колосьев...

Многие, что ехали в этот день по просел-

кам, видели ее, быстро бежавшую целиком, без дорог, по хлебам. Порою она приседала, выглядывала — и опять бежала, мелькая среди желтых колосьев белой сорочкой и раскрытой головой.

Поймали ее только через пять дней. И, отбиваясь, она проявила страшную силу, искусила трех мужиков, крутивших ей руки новой вожжовкой.

Капри. Март. 1913

Чаша жизни

I

Тридцать лет тому назад, когда уездный город Стрелецк был еще проще и просторней, семинарист Кир Иорданский, сын псаломщика, влюбился, приехав на каникулы, в Саню Диесперову, дочь заштатного священника, за которой от нечего делать ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском. Саня была особенно беззаботна и без причины счастлива в то лето, каждый вечер ходила гулять в городской сад или кладбищенскую рощу, носила цветистый мордовский костюм, большим бантом крас-

ной шелковой ленты завязывала конец толстой русой косы и, чувствуя себя красивой, окруженной вниманием, все напевала и откидывала голову назад. Из всех ее поклонников нравился ей один Иорданский. Но она его боялась. Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и синими волосами, она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его. А Селихов был губернский франт, он держался всех любезнее, смешил ее подруг, был остроумен, находчив и заносчиво, играя тросточкой, поглядывал на Иорданского, даром что мал был ростом. Да и заштатному священнику казался он приятным и дельным молодым человеком, не то что Иорданский, дюжий и нищий семинар. И однажды, в июльский вечер, когда в городе все катались, все гуляли и в золотистой пыли, поднятой стадом, сидилось в конце Долгой улицы солнце, когда шла Саня в кладбищенскую рощу под руку с Селиховым, а сзади, среди подруг Сани, шагал сумрачный Иорданский и, покачиваясь, гудел великан Горизонтов, тоже семинарист, Селихов небрежно глянул на них через плечо и,

наклоняясь к ее лицу, нежно прижимая ее руку, вполголоса сказал:

— Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

II

Тридцать лет, избегая встречаться, почти никогда не видя друг друга, не забывали друг о друге Иорданский и Селихов. Все свои силы употребили они на состязание в достижении известности, достатка и почета. Давным-давно жили они оба в Стрелецке и, состязаясь, многого достигли. Иорданский стал протоиереем и весь уезд дивил своим умом, строгостью и ученостью. А Селихов разбогател и прославился беспощадным ростовщичеством. Иорданский купил дом на Песчаной улице. Не отстал от него и Селихов: назло ему купил дом вдвое больше и как раз рядом с ним. Встречаясь, они не кланялись, делали вид, что даже не помнят друг друга; но жили в непрестанной думе друг о друге, во взаимном презрении. Презирали они, не замечали и жен своих. Иорданский на десятом году супружества равнодушно лишился своей некрасивой жены. А Селихов почти никогда не раз-

говаривал с Александрой Васильевной. Вскоре после свадьбы он застал ее однажды заплаканной: в мордовском костюме, с косой, заплетенной по-девичьи, она стояла в спальне перед своим комодом, перед раскрытой венчальной шкатулкой, где лежали фотографические карточки, — между ними и карточка Иорданского, — пудрила свое распухшее лицо и покусывала губы, чувствуя приступ новых слез. Он знал, что это были слезы по молодости, по тому счастливому лету, что однажды выпадает в жизни каждой девушки, что не в Иорданском тут дело. Но простить ей этих слез не мог. И всю жизнь ревновал ее к о. Киру, самолюбивый, как все маленькие ростом. А тот всю жизнь чувствовал к ней тяжелую, холодную злобу.

И шли дни за днями, годы за годами, и осталась у Александры Васильевны одна дума, одна мечта — о доме.

III

Она была уже слаба, полна и склонна к слезам, к грусти. Состарился и Селихов. Но о своей посмертной воле он упрямо молчал. Аккуратный, спокойный и бескровный, чуть

горбясь и заложив холодные пальцы своих всегда дрожащих рук в немодные, прямые карманы панталон, он похаживал по своим чистыми пустым комнатам, среди мебели в чехлах, да насмешливо что-то обдумывал. Жизнь прошла, прошла и злоба на глупость людскую, — осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше, вынимал золотое пенсне все небрежнее и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых в заклад, все мимолетнее: всему цену знал он теперь! Дом купил он у помещика, старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце — в доме было тепло. На дворе палил летний зной — в доме было прохладно и смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом часов с десяти до трех пекло как раз в ту сторону, на которой стоял дом; но спасали зимние рамы — они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на Песчаной

улице. Но Селихов на улицу никогда не выходил. Бродя по комнатам, он обдумывал и все изменял завещание. Александра же Васильевна сидела в своей спальне окнами во двор и вязала чулок. Она думала о прошлом, о будущем, порою привычно, не бросая работы, плакала. Под мерный стук часов муж мерно ходил из комнаты в комнату, равнодушно поджидая закладчиков, то слезливых, то не в меру развязных, и с загадочной усмешкой поглядывал в кабинет, на железный нестораемый шкаф с большими железными шишками на скрепах, похожими на большие глаза. Но порою наступала полная тишина: он останавливал часы, садился за громадное старинное бюро — и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусяного пера... Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость?

Она знала одно — что ему ничего не стоило обречь ее на нищету, на позор перед целым городом, лишить ее не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел ее. Он сперва на «ты», а потом и совсем запретил ей разговаривать с

ним. При гостях он был иной: со всеми любезен, шутлив, меток на слово, мил и сдержан даже в карточных спорах. Но гости — два-три человека и все одни и те же: помощник исправника, податной инспектор и нотариус — бывали не больше двух-трех раз в году.

IV

Отец Кир пил. Вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живет он в Стрелецке, в этом полустепном городишке, где только возле неуклюжего собора и базарной площади белеют каменные дома хлебо-торговцев, а по окраинам — хибарки, нищета.

Высокий, дородный, он похож был на боярина; долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал, в него влюблялись самые восторженные девушки, те, полные, волоокие, до времени развившиеся, у которых бывают такие чудесные пепельные волосы, такой нежный цвет лица и такой горячий румянец застенчивости: не могли они спокойно видеть его черных соколиных глаз, его синих кудрей, лежавших по плечам, осыпанным перхотью, по коричневому подряснику, сладко пропахнувшему ладаном и та-

бачным дымом. Портили его только зубы, коричневые от неумеренного курения.

Всегда и всем, не делая никаких исключений, он говорил «ты»: ведь были же пастыри, говорившие так вельможам и князьям, даже царю самому. Они поучали, наставляли их сурово, порою обрывали их.

— Благослови, пастух, — сказал как-то один вельможа одному такому пастырю.

— Благословляю, во имя отца, и сына, и святого духа, самую глупую овцу стада моего, — отвечивал пастырь.

С купцами о. Кир был груб, с начальниками скор и находчив на резкое слово, с вольнодумцами краток и беспощадно логичен. В Стрелецке редко попадали в руки адресатов цветные открытки. Но о. Кир исправно получал даже самые красивые, с видами Кавказа и Крыма — от племянника, молодого, но уже видного чиновника при губернаторе: о. Кир пригрозил почтмейстеру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему. И весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался о. Киrom, как человеком необычайного ума и редкой учености. За

великую честь считали принять и угостить его. Но приглашения о. Кир принимал разборчиво, в свой же дом никого не пускал.

Дом его, длинный и невысокий, по кирпичу беленный мелом, был далеко виден по широкой улице. Нигде не росло ни единого деревца — разве какая-нибудь кривая яблонька на мещанском пустыре. Но за железной крышей протоиерейского дома пыльно и бледно зеленели верхушки молодых тополей. Везде входом служили калитки. У о. Кира был подъезд (к которому, впрочем, никто не подъезжал).

Вечно заперты были ворота о. Кира, подворотня заложена тяжелой тесиной. Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубахе. Только он один мог свободно выведывать о домашней жизни о. Кира у плечистой стряпухи в сапогах, когда она подставляла под бочку ушат, а он пускал в него толстую струю воды. Только к водовозу бил снисходителен о. Кир. Он шутил над ним, шутками отвечал ему и водовоз: это был удивительный человек — он никого не боялся, ни о чем не тужил, доволен

был решительно всем.

— Желудь! — громко и строго кричал о. Кир, выходя на крыльцо.

— Аюшки? — беззаботно отзывался старичок, подъехавший на бочке к воротам и с трудом, согнувшись в три погибели, поднимавший тесину.

— Опять не полную привез?

— Опять.

— Смотри: отколочу!

— И то не плохо! Дураков и в алтаре бьют...

Но однажды, узнав, что Желудь привез бочку воды и Селихову, о. Кир и Желудя лишил своего благоволения, навсегда прогнал его со двора долой.

V

Зимой на Песчаной улице было много снега, было серо и пустынно, весной — солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистые стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. Летом было очень жарко. От пыли небо тускло серебрилось. В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу, стоявшему за городом, под горой. В час они медлен-

но тянулись назад и везли приезжих, чаще всего купцов с ковровыми сумками, которые и теперь еще называются сак-де-войяжами, а не то распространителей граммофонов, молодых бритых евреев в английских картузах, с английскими трубочками в зубах. Встречаясь с о. Киrom, кажется, одни эти евреи глядели без страха, хотя он не терпел их, особенно их языка: он однажды, на вокзале, запретил евреям разговаривать на своем языке, сказав:

— Здесь вам не синагога.

Дородный и строгий, проходил он по Песчаной улице, в коричневом подряснике, в палевой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев наперсный крест, — и все боялись его. Под забором сапожника когда-то по целым дням играли в лодыжки мещанские подростки; там, бывало, стучали в забор свинчатки и раздавались крики: «Плоца! Жог! Ника!» Подростки эти были лодыри дерзкие. Но от протоиерея они ушли играть подальше — к хибаркам на спуске к вокзалу. Бегали ватагой мальчишки — запускали в небо змея, постоянно цеплявшегося за струны телеграфных столбов и оставлявшего на них свой мо-

чальный хвост. Но, завидя о Кира, они рассыпались куда попало. Пробиралась по теневой стороне, по ухабистому тротуару, мимо ворот и окошечек с горшками цветов, какая-нибудь старуха, настолько переломленная, склоненная к земле, что было удивительно, как может идти этот прямой угол. Но совсем не из-за тени, жидкой и короткой, пробиралась она там, а лишь бы не попасть на глаза о. Киру: он не любил старух, этих страстных поклонниц юродивого Яши, обитавшего в старой часовне над склепом в кладбищенской роще, он ненавидел человеческое безобразие. Загорелый мещанин, потевший в черном картузе и толстой чуйке, шел по середине улицы как будто вольно, заложив руки назад: что ж ему, он ведь не здешний, он шел с вокзала. Но, увидавши о. Кира, он с решимостью отчаяния вдруг обнажал голову и быстро направлялся к нему. В левой руке о. Кира была высокая палка с серебряным набалдашником. Правой, приостановясь, он благословлял — широко и властно. А благословив, совал к губам, покорно искавшим ее.

— Откуда? — громко спрашивал он.

— Липецкий, — бормотал мещанин.

— Надень картуз. Как у вас нынче сады?

— Цвели дивно, ваше преподобие, но ветер, господь с ним... Всю завязь обил.

— Садоводы, а бестолочь. Не знаете своего дела. Ну, ступай с богом...

Не терпел отец Кир и бродяг, беспаспортных, пришлых людей. Песчаная улица была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серб с бубном и обезьяной, несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рябое лицо, синеватые белки диких глаз, серебряная серьга в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах, те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо-страстно пел то, что поют все они спокон веку, — о родине. Он, думая о ней, далекой, знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменистые горы.

Синее море, белый пароход...

А спутница его, обезьяна, была довольно велика и страшна, старик и вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными

глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только до половины прикрывала ее шерсть, густая, остистая, похожая на енотовую накидку. А ниже все было голо, и потому носила обезьяна ситцевые в розовых полосках подштанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она, тоже думая что-то свое, чуждое Стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни, под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально, морщась, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь.

Лохматый сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну и серба, что этот серб — непременно вор. Все подхватили его слова, зашумели. Но показался вдали о. Кир. И улица мгновенно опустела: все скрылись по калиткам. Он же, приблизясь к сербу, запретил ему ходить по улицам Стрелецка. Он строго и кратко приказал ему уйти вон из города, постараться добиться до родины, исправиться и заняться честным трудом.

Александр Васильевне порою казалось, что была в ее жизни большая любовь: что схоронила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому, велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не о. Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский взгляд, свою недолгую беззаботность в то далекое лето? О. Кир служил в соборе; но она никогда не бывала там, ходила в Никольскую церковь, — Селихов запретил ходить в собор. Не будь о. Кир священником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним; но богу предстоял он, тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна: уже больной, мрачный, во хмелю, встретился о. Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом:

— Селихов! Помни час, его же не минует ни единое дыхание: это я, — слышишь ли, Селихов? — я, облеченный в траур, в оный день воздам тебе последнее земное целование, окружу тебя кадильным дымом и осыплю ли-

цо твое могильной перстью.

— Кто знает, отец Кир, — ответил ему Селихов с усмешкой. — Кто знает, не придется ли мне стоять у возглавия вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир.

Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне — быть между ними, всю жизнь состязавшимися в первенстве, уступающими друг другу только к могиле дорогу! Одна мечта, одна дума осталась у нее — о доме.

Иметь дом, свой, собственный, где бы то ни было, хотя бы в слободе, на буераках, и какой угодно, — это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен: чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно.

Все соседки говорили: «мой дом», «у меня в доме». А она? Сколько раз, придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданое ее!

Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он!

— Не беспокойся, — отвечал ей Селихов. — Ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба.

Он становился все страшнее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, испуганно искажив брови; дня по два не притрагивался ни к одному кушанию ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон — и никогда не заводил его. Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всенощной раньше времени, не достав, по слабости, службы, и вошла в дом с черного хода, услышала она крикливые плясовые звуки. А заглянувши в залу, обомлела: Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме, дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело и хрипло кричавшей: «Ай, ай, караул! Батюшки мои, разбой!..»

Только одна яблоня в саду, возле беседки, знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась болевшая от слез голова. А над калиткой селиховского дома все та же надпись:

«Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову. Свободен от постоя».

VII

Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти тридцать лет прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился он в Стрелецк, а возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем о. Кир и Селихов.

Горизонтов кончил семинарию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое: «Et tonat, et sonat, et fluvidum coelum dat...»[3], он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далекмо мог бы пойти этот человек! Но избрал он путь скромный — учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города: поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным достоинством в привычках, своим

нечеловеческим спокойствием и — своей философией.

Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж — и был прозван в Стрелецке Мандриллой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напруживая свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно со всеми раскланявшись, внушительно-серьезный и спокойный, он стал раздеваться — и все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул — не спеша разделся, не спеша окунулся ровно пятнадцать раз... С тех пор его видели в купальне каждый день. Каждый день вплоть до Покрова купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни, тучи висели за

речкой над полями, оловянная рябь шла по воде; а Горизонтов купался. Белел снег по берегам, по бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси; но, как только било на соборе час, с косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке.

Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал! Твердо отчеканивая слоги, уговаривался он:

— Суп, борщ, лапшу прошу подать мне не в тарелочках: предпочитаю в мисочках. Живность — штучно, а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, ровно как и пшенную — чугуничками...

— Мандрилла, Мандрилла! — орали мальчишки, стаями гоняясь за ним по Стрелецку. Но он даже не достаивал их взглядом, он шел так же мерно, как изо дня в день входил, бывало, в буйный класс, чтобы начать своей неизменной фразой:

— Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезарь,

узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля...

А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продолжение жизни, для чего и потребно: полное воздержание от сношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом — прежде всего в смысле питания его и освежения водою.

— *Nullus enim locus sine genio est!*[4] — насмешливо сказал однажды больной и сумрачный о. Кир, встретясь с ним на улице. — Давно слышу я, Горизонтов, о причудах твоих. Ответь мне: юрод ты или мудрец? Зачем живешь ты на свете, уподобясь тем, которые жили во времена зоологические, на первых ступенях развития?

Горизонтов, держа над головою зонтик и опираясь на костыль, долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови.

— Но скажите и вы мне, отец Кир, — ответил он наконец, — зачем вы живете?

— Я тебя не о цели жизни спрашиваю, — сказал о. Кир. — Я тебя спрашиваю о ее образе.

— Но ведь образ соответствует цели?

— Ага! Цели! Ну, допустим. В чем же заключается твоя цель?

— В долголетию и наслаждении им.

— Но наслаждаешься ли ты?

— По мере сил и возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни.

— Чашу жизни? — строго перебил о. Кир и широко повел рукой по воздуху. — Жизни здесь? На этой улице? Я не могу спокойно говорить с тобой! Ты достоин своей позорной клички!

— В земле не распознаешь костей человека от костей животного, — ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.

VIII

И вот смолкли наконец шаги в пустых комнатах селиховского дома. На тридцать

первом году замужества Александры Васильевны, великопостным вечером, вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого, как мел, старичка, хорошо и чисто одетого, в крахмальной рубашке с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через два дня его уже отпевали.

Была пятница, базарный день, началась весна, — мука была извозчикам нырять на колесах по ухабам грязных улиц, мука мужикам тащиться на розвальнях по базару, по мокрому навозу! Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора: ее под руки вели дальние родственники Селихова, — лысый остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашенных волос, вкось от затылка положенную на лысину, и его жена, женщина в трауре, высокая и сильная, никогда не терявшая присутствия духа. Воздух был сырой, острый. И Александра Васильевна была пьяна и от воздуха и от слез. Поставили у дверей парчовую, желтую с белым крестом крышку гроба, внесли покойника в зимний придел, теплый, низкий, старинный, со мно-

гими сводами... Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор! Как зловеще возносил руку толстоплечий дьякон, возглашая о упокоении новопреставленного! Как смиренно, под рыдания хора, поклонялся усопшему обступивший его траурный синклит иереев в скуфьях и камилавках и как тяжело, сотрясая пол своею тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисовое лицо пьяный и торжественно-мрачный, исполнявший свое предсказание о. Кир! Но, боже, что случилось и с ним за последний год! Уже не страшны были его возгласы, его каж-дение и поклоны, которыми провожал он из этого бренного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он сам, его ноги, раздутые водянкой, его живот, выпиравший под ризой, его отекавшее, почерневшее лицо, остекленевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки... Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника, — как бы не видя о. Ки-ра, — изнемогавшая от слез Александра Васильевна. А когда ударила по сердцам скорбно ликующая песнь о той обители, иде же несть

печали и воздыхания, она вскрикнула и потеряла сознание.

Ее понесли на паперть, на воздух. И Горизонтов, стоявший у входа, вежливо посторонился — и опять загудел, подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами.

IX

В больших ветхих сенях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестал длинкатать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее: и комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом несгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада: в двадцать первый раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого, к великому ее удивлению и даже растерянности. Все в городе говорили, что вот может она пожить нако-

нец в свое полное удовольствие. А она была сбита с толку, жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она перед чаем, воротясь от обедни...

На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом — и казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было! Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы. Но дрожала голова, дрожали руки — что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка. Александра Васильевна была ласкова с ней — и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви — и всегда ужасно утомлялась. Была она полна при низком росте, с жидкими пепельно-седыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком, в крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со стеклярусом. Все слеза набегала на ее левый глаз, и все подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устало

глядя на иконы над царскими воротами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку дьякон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода! С тоской чувствовала она, что не о чем стало ей молиться. Только о царстве небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? За что было награждать ее?

Однажды в апрельский день она пошла в кладбищенскую рощу — хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее, молодое время, а сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало — и воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлогий изволок к роще и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги, на серо-зеленый дымок одевающихся лозин и мещанские хибарки по оврагам! А в роще,

еще голой, зазеленевшей только снизу, было еще очень сыро, в проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все-таки чересчур буйно шумели грачи, в несметном количестве наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Ершова, где сидел Яша, а он мог высунуться из окошечка и крикнуть что-нибудь иносказательное, зловещее... И, спотыкаясь, горбясь, придерживая подол, Александра Васильевна спешила, спешила мелкими шажками пройти дальше — и сама не заметила, как пришла к могиле мужа! Во все не желала она того, шла за другим, а пришла. И, усталая, опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще не оправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний. Было только чувство горькой весенней нежности к кому-то — не то к себе, не то к о. Киру, не то к Селихову... Да, да, и к нему!

А когда она возвращалась домой, думая только одно: дай бог встретить извозчика! — Яша таки подстерег ее. Из часовни выходили

и крестились бабы и мещане, некоторые то слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, — ему было уже лет восемьдесят, — в длинном халатике, подпоясанном веревкой, в алой бархатной шапочке, надетой набекрень. Усы, бородку он выстригал — они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. Глазки у него были хитрые-прехитрые. Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменял к ней.

— Радуйся, Афродита Розоперстая! — закричал он старчески-детским голосом.

И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, — как бы украдкой и надеясь обрадовать, — четыре щепочки, связанные лычком.

Александра Васильевна рассердилась, что он испугал ее, и, оттолкнув его руку, почти побежала от него. А потом долго думала: что это значит — эта Афродита и эти четыре щепочки? И почему они связаны?

Часто в эти апрельские дни она горевала, что бог лишил ее детей, думала, как бы, если бы у нее был мальчик, назвала она его; не раз

переглядывала портреты в венчальной шка-
тулке. Странно было видеть девушку в мор-
довском костюме, с детски-милым взглядом,
кокетливо облокотившуюся на какую-то, буд-
то бы крестьянскую изгородь, и крепкого,
плечистого семинариста, с густой шевелюрой
над большим лбом, с такими мрачными и
все-таки лучистыми глазами, с таким упря-
мым, даже злым выражением стиснутых скул
и таким нежным очерком пухлых губ! Был и
портрет Селихова. Он снимался с какими-то
молодыми чиновниками. Они кружком, в де-
ланно-непринужденных позах расположи-
лись на креслах, а он, — тоже молоденький,
щеголеватый, — зачем-то сел у их ног на по-
лу.

Раз она встретила возле городского сада Го-
ризонтова и слабо окликнула его. Тот вежли-
во раскланялся, но не ответил. Она долго с ро-
бостью и удивлением смотрела ему вслед.

Х

На сороковой день Никольский причт слу-
жил панихиду в селиховском доме. Повис в
комнатах густой запах ладана, и велела Алек-
сандра Васильевна, боясь, что у нее разболит-

ся голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипел расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда, бодро вел житейскую беседу веселый, с большими ноздрями, Никольский священник, здоровый мужчина с широкой тугой поясницей, в широком, вышитом розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна. Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце темя Александры Васильевны, — и вдруг отнялись ее руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами... Когда, распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цеплялась пухлой рукой за золотую бахрому тяжелой старинной скатерти и, захлебываясь, стонала, силясь что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался, и в бессмысленных, бесцветных глазах стояли светлые слезинки...

Однако напрасно качали над ней головами — удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как ска-

зал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой капли, — и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешаясь возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она, — чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном: вошли будто в ее спальню два молодых монаха, стали раздевать ее, а она отбивалась, противилась — и так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели, раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться и все только кричала — от стыда, страха и радости... И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к о. Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним — последнее... Нет, не возгласы его, не кажделение, не поклоны усопшему врагу страшны были тогда, в соборе! Страшно было глядеть на них на обоих, страшно было вспоминать то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье

лицо, чувствовать, как доходит до сердца эта далекая, еще не истлевшая любовь — и в одно сливается и того, кого любила она, и того, с кем, нелюбимым — а все-таки когда-то носившим ее зонтик и накидку! — прожила она всю жизнь, кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу ее руку:

— Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

XI

Целый месяц она жила затаенной мечтой увидеть о. Кира десятого июня: десятого должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. Раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытое окно глухое гроыхание бубна, заунывное пение, потом шум, крики. И модистка, и Александра Васильевна, в кофте с одним рукавом, выскочили

на крыльцо: по улице бежал народ, а возле калитки о. Кира шумела толпа, и лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке... И Александра Васильевна горько заплакала: боже мой, как, значит, ослабел о. Кир!

А десятого была страшная жара. В новом платье, в бурнусе, в разноцветных перстнях на пальцах, Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. На этом же извозчике и привез ее обратно городской — мертвую: ее задавили, замяли в толпе.

На панихидах никто не плакал, кроме модистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехал остроглазый господин, в доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей — большеротую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница, под коленкором, лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали. Строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь рясофорная монахиня, родственница Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря, из уезда, — толстая све-

жая старуха в очках, с большим белым лицом, обрезанным черным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в которые лился радостный свет.

После похорон дом пустовал. Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые. Старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы, растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетки на тонкие старые стекла — и нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрово, пьяница с висячими усами, в котелке и засаленной визитке с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного гордона. Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф — больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели.

XII

Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили — некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело, и слышно было, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь.

Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные луга, извилистая речка, а за речкой, на скате полей — Стрелецк, железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роща... По мосту поезд пошел тише — мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, город был запылен, казался очень бледным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции...

Постояв пятнадцать минут, снова тронулись. Кондуктор зажигал одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в

тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь — и с большим саком в одной руке, с парусиновым зонтом в другой, вошел в вагон Горизонтов, такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланявшись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери.

Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках, человек, как можно было понять из его слов, московский, известный Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке. Измятое его лицо было красно и возбужденно. Строго блестели его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос, энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем, и наконец не вытерпел, спросил:

— А вы далеко изволите ехать?

— А в Москву, — не спеша, ответил Горизонтов, держа свои железные руки на зонте, поставленном между колен.

Господин в очках подумал, оглядывая его.

— А жить, вероятно, изволите в том городе, который мы только что проехали?

— Да, я из Стрелецка.

— И в Москву, конечно, по делам?

— По делам, — сказал Горизонтов. — Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием.

— Как? — с изумлением воскликнул господин в очках. — Вы продаете собственный скелет?

— А почему бы и нет? — сказал Горизонтов. — Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба?

— Но позвольте! — перебил господин в очках. — И вам не странно... да скажу даже — не

жутко совершать подобную сделку?

— Ничуть, — ответил Горизонтов. — Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти лет.

В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо. Гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне... А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах, было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него Желудь, гнутый старичок в кумачной рубашке, и напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с запавшими глазами о. Кир. Дворянин Хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном, с ружьем наперевес, по мокрым овсам возле кладбищенской роци, выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумрач-

ный воздух, в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов — рядом были бугры их могил. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прехитрыми глазками. Он работал пристально: стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, да-рами своих поклонниц.

2 сентября. 1913

Я все молчу

Молодым Александра Романова все звали Шашей, жил он тогда с отцом, в селе, в доме под железной крышей, а бил его отец, Роман.

Роман мнил себя первым человеком в округе, самим господам дворянам совал руку при встрече. Была у него лавка в селе, мельница за селом, а богател он тем, что скупал помещичьи рощи на сруб. Макару, родному брату его, есть было нечего; он, оборванный, плелся по выгону и смиренно говорил, снимая шапку: «Здорово, брат!» А Роман, сытый, похожий на дьякона, отвечал ему с крыльца: «Ты меня, дуралей, не обращай. Брат, брат! Поклонись да иди, куда шел, а в разговоры не лезь». Что же должен был чувствовать единственный наследник такого человека? Он по селу гулял в поддевке тонкого сукна, в сапогах с лакированными голенищами, наигрывал польки на дорогой ливенке. Встречались ему девки и ребята и провожали его теми взглядами, от которых у людей известных мурашки бегут по спине. Но мрачным и даже

свирепым взглядом встречал он эти взгляды: вся молодость его прошла как бы в приуготовлении себя к той роли, в которой достиг он впоследствии такого совершенства.

Роман на вершине благополучия стал слабеть, запутываться в делах. Сивый, бородастый, длиннопузый, в казинетовой поддевке, похожей на подрясник, он только во хмелю бодрился, а трезвый был уныл и нарочито груб. Слава и могущество еще были у него. Он на выгоне возле церкви, против своих окон, выстроил школу, был попечителем ее и в любую минуту мог заставить учителя в ногах у себя валяться. Он еще мог угостить гостя шпротами, кислым омаром в ржавой жестянке, цимлянским и, угощая, покрикивал а кого попроще: «Пей, глупей!» Но пора, пора было сменить его. А кому? Смены-то и не было. Шаша все больше втягивался в свою роль, роль человека, чем-то кровно оскорбленного, — и отношения между ним и Романом сводились только к тому, что Роман таскал его за «виски». Шаша, по его словам, ангела мог вывести из себя, не таскать его нельзя было. И он таскал. А чем больше таскал, тем все нестерпи-

мее становился Шаша.

Ему ли было не гордиться домом, могуществом и повадками отца! Отец при гостях кричал на него: «Да будь ты маленько поразвязней, дуралей!» Но ведь это была повадка тех, кому подражал отец, повадка купцов, а разве не высшая гордость — чувствовать себя купеческим сыном? Отец даже хвастался им порою, самодовольно говорил гостю: «Постой, я тебе сына покажу!» — и горланил на весь дом: «Шаша, подь суда, тобой Миколай Михайлыч антересуется!» Но, ах, как входил Шаша в комнату, где сидел гость с отцом! Он входил, багровея, глядя из-под насупленных и перекосенных бровей, руки держал туго, кренделем, ступал еще туже, внутрь носками и так щеголевато, точно пятую фигуру кадрили танцевал, а шаркнув гостю, тотчас же отскакивал к окну, к притолоке, раздувая ноздри, кусал заусенцы, на вопросы отвечал с нелепейшей краткостью и резкостью. Как же было не бить его? Гость уезжал; Роман, проводив его, молча подходил к Шаше и, размахнувшись, крепко сгребал Шашу за волосы. Шаша молча вырывал голову из его пятерни

и, выскочив в прихожую, бил себя кулаком в грудь:

— Нну, папаша! Я молчу! Я все-е молчу! — шипел он зловеще.

— Да животная ты этакая! — орал Роман. — Ведь за это за самое молчанье да ломанье я и бью-то тебя! Значит, ты сам того доби-ваешься? Зачем? Почему?

— Прах моей могилы все узнает! — отвечал Шаша яростно и загадочно.

Он ли не в рубашке родился! Деньги у него не переводились, одевался он щеголем, ухаживал на вечеринках за кокетливыми поповнами, за дочерью станового, танцевал с ними под аристон. Но и ухаживал он как-то едко, срыву. Да что! Даже наедине с самим собой, глядясь в зеркало и взбивая металлическим гребешком свое бурое руно, изверски косился он. Нос у него был раздавленный, голос хриплый, вид каторжный, мужики называли его палачом. Кажись, не велика честь! Так нет, он и этим наслаждался. «Подколодный дьявол! — говорили мужики. — Все ему не нравится, все не по его, не так!» И он изо всех сил старался оправдать эти клички.

«Хто? Это Шаша-то подколодный? — спрашивал Роман с негодованием — Да такими подколодными хоть мосты мости! Он дурак, ахтер, лодарь прирожденный, и боль ничего. Чего он карежится? Какого ему рожна надобно?» А Шаша глядел с ядовитой усмешкой да помалкивал. «Ну вот, глянь, глянь на него! — говорил Роман, — Глянь, что он строит из себя!» А Шаша все выше косил брови и уже сам верил, что закипает в нем что-то ужасное. «Ох, папаша! — шипел он, как бы не выдержав. — Ох, сказал бы я вам одну штуку!» Роман, унылый, с обвислыми мешками под глазами, страдальчески ухмылялся: «А что же эта за штука такая? У? Ну-ка, скажи?» — «Это я-то?» — спрашивал Шаша, кидая взгляд исподлобья. — «Да. Ты-то». — «Прах моей могилы все узнает!» — «Да что узнает-то? Ты пьян, негодяй?» — «Пьян! — отвечает Шаша. — Пьян! Я молчу! Я все-е молчу!» И, чуть не плача, Роман опять вставал на него, как медведь, опять ловил за голову и таскал с мучительным упоением.

Он женился и чудесно — на дочери управляющего барским именем, смешливой и хо-

рошенькой веснушчатой девице. Женитьбу его праздновали удивительно. Господа жили за границей, поэтому венчаться ездил Шаша в господской карете, и священник, из уважения к ней, поздравлял его с законным браком так изысканно, что казалось Шаше, что над ним издеваются. В господском доме шел и свадебный пир. Вино рекой лилось, Роман, при общих восторженных кликах, плясать пошел, сотрясая паркет, зеркала и люстры. Господский лакей превосходно изобразил поезд: гремуче засвистал в пальцы, затем начал медленно и тяжело отбивать грохот все расходящегося поезда и кончил буйным галопом. Дьячок, опившись на пиру коньяком, по дороге домой помер. Дьякона, на собственном дворе упавшего в навоз, едва не затоптали овцы. Мерзейший осенний рассвет бледно синел из тумана в господские дымные залы, а там все еще горели огни, все еще захлебывался охрипший аристон то «Лезгинкой», то «Вьюшками», все еще кричали мокрые от жары и хлопот шафера, управлявшие танцами, и у барышень мутились глаза от усталости, от пляса. Но Шаша и собственного торжества не

пощадил: притворясь пьяным, убедив себя, что он адски приревновал свою молодую жену к одному молоденькому помещику, он внезапно наступил во время вальса ей на шлейф, с треском оторвал его. А затем кинулся к ножу, пытался зарезаться и, будучи обезоружен, дико рыдал и рвал с себя белый галстук, взывая к памяти покойной матери.

Достигнув вершины, Роман неминуемо должен был, как это всегда водится, показаться опять вниз, в прежнее мужицкое логово. Вскоре после свадьбы оказалось, что он весь, с руками и ногами, запутан в долговых тенетах. Он стал страшен. Сивая борода его побелела. Лицо уподобилось грязно-серому выдоенному вымени. Глаза околели. Брюхо обвисло, издрябло. А Шаша злорадствовал: «Я говорил, говорил!» — и добивал его: бушевал, скандалил, требовал раздела. И Роман, зеленая от злобы, медведем вставал на него, жаждал изувечить — и уже не мог, не мог! Пришибленный мыслью о близком позоре, нищете, он пьянствовал на сломную голову. Потеряв всякий стыд, он в дом перетащил свою любовницу, солдатку-кухарку. Жил с нею, на-

зло ему, и Шаша. А жену он изнурял ревностью и страхами, — пропадал из дому и присылал ей с мужиками записки, где стояло: «Прощай навеки, благословляю детей», а внизу нарисована могила с крестом. Кончилось тем, что Романа разбил удар, что осталась от всего его богатства одна ветрянка за селом, что жена Шаши, забрав детей, бежала к какому-то своему любовнику.

Из села, на мельницу, вышел Роман нищим и еле живым. Нищим и вдовым, скрипя зубами в ярости, вышел за ним и Шаша. Можно было не плохо жить и мельницей. Но до того ли было Шаше! И прежде-то ему, непонятому, неоцененному, осужденному жить среди врагов, недоброжелателей, оставалось только одно: молчать, молчать! А теперь? Вот он тысячи мог бы нажить на одной этой мельнице, к ней ни проходу ни проезду не стало б от телег с зерном, будь у него хоть две, три сотни на новый стояк и новые жернова. Да где их взять? Это ведь только дуракам счастье само в руки прет, а дельного, умного судьба в бараний рог карежит!

Для Романа дело было вовсе не в том, что

вместо шпротов и цимлянского на столе его очутилась краюха черного хлеба и корец с водой — он ел бы с прежним вкусом: дело было в страданиях гордости, самых лютых человеческих страданиях. В большой покосившейся избе с земляным полом и дырами в углах, на холодной печи спал теперь Роман. Утром он вылезал за порог с высокой палкой в руке. Лебедой и бурьяном зарастала снаружи изба, крапива глушила огромный остов раскрытой ветрянки. Все это стояло на голом горбе полей, у проезжей дороги. И Роман выходил под дорогу и клал дрожащие, холодные лапы на палку. Он был без шапки, ветер пугал его седые космы, седую бороду — бороду мужицкого Иова. Он был бос, в затрапезных портках, в длинной рубахе, грязной от золы, от печного сора.

Ноги его были тонки, туловище велико и худо. Ехали те, что знали его в славе и богатстве, те, что прежде трепетали его, те, кого угощал и поучал он когда-то. И Роман, — недаром же породил он Шашу! — даже радовался, что видят его люди в нищете, позоре, и до земли кланялся им. Шаша, тот упивался

своим унижением по шинкам и кабакам, пропивая скудные остатки прежнего и расплачиваясь за свой язык синяками уже от мужицких кулаков. Особенно страшной муки добивался он ежегодно пятнадцатого июля.

Роман к тому времени уж помер, — ах, как злорадно горд был этим Шаша! Воротился со службы муж солдатки. Нужна она ему была, как летошний снег, но все-таки он счел неременным долгом своим мстить за свою поруганную честь, узнав, что она была любовницей Романа и Шаши. И мудро приурочил эту месть ко дню большого многолюдства в селе.

Ежегодно пятнадцатого июля, на престольный праздник, называемый Кириками, в селе бывает ярмарка. Льют холодные ливни, о лете напоминают только грачи в полях, густота хлебов и трав да жаворонки, распевающие над ними под дождем, вкось сдуваемые ветром. А на выгоне села уже растет кочевой городок палаток. Приехали торгаши из города — и с непривычки странно видеть в селе этих городских людей в длиннополых сюртуках, — они, застраивая и делая тесным выгон,

изменили простую сельскую картину своими крепкими телегами с товаром, покрытым кожами и ладно увязанным, привезли вместе с этим товаром базарный запах — дымят самоварами, чадят жаровнями, на которых жарится баранина. С раннего утра пятнадцатого они уже стоят за прилавками, заваленными жамками, рожками и красным товаром, а мужики с бабами и ребятишками едут и едут, отовсюду тянутся под мелким дождем к селу, запруживают возами выгон так густо, что иголке негде упасть, а надо всей этой теснотой, говором, гамом и скрипом телег гудит праздничный звон к обедне.

Под этот звон, на глазах едущих по грязному проселку мимо ветрянки, Шаша стоит возле своего порога, распояской, согнувшись, держит в одной руке корец с водой, а другой, мокрой, трет свое бородатое, корявое, распухшее со сна лицо. Как не похож этот коренастый мужик в разбитых сапогах на прежнего Шашу! С виду он стал спокойнее, но еще мрачнее, чем прежде. Волосы его и теперь страшно гусли, но уже стили по-мужицки лохматы. Умывшись, он раздирает их дере-

вянным овечьим гребнем, расчесывает спутанную круглую бороду, хрипло откашливается и косится взеркальце — на свое широкое, пористое, с раздавленным носом лицо. Он не забыл, что он похож на палача. И точно — похож, теперь особенно: причесавшись, он надевает хранимую для торжественных случаев линючую кумачную рубаху. В будни он тупеет от скуки, от долгого сна, от того, что никто не обращает внимания на него, никто его не слушает: его хвастовство своим прежним богатством, его намеки на то, что будто бы таится у него в душе, и гнусные рассказы про сбывшую жену давно всем надоели; нынче же — праздник, нынче он будет играть перед огромной толпой, нынче он будет страшно, до беспамятства избит на глазах этой толпы — и вот он уже входит в свою роль, он возбужден, челюсти его крепко сжаты, брови искажены... Нарядившись, он надевает рыжий картуз и тугим шагом, решительно и твердо идет в село.

Страннее всего благочестие, с которого он начинает этот день. Он направляется прямо к церкви и, ни на кого не глядя, но всем суще-

ством чувствуя на себе взгляды окружающих, с размаха кланяется и крестится. В церкви он продирается к самому амвону, где стоял когда-то по праву, и в эту минуту до мозга костей презирает мужиков, напоминает им кратко и строго, как власть имеющий, что не мешало бы догадаться посторониться. И мужики торопливо сторонятся. Быком, исподлобья глядя на священнослужителей, на иконы, он до самого конца обедни истово и сурово молится, надменно показывает всем, что только он один знает, когда именно нужно кланяться и креститься. Так же сурово ходит он и по ярмарке, после обедни, гордится тем, что он уже выпил, что он может подойти как равный к торгашу под палатку, поздороваться с ним за руку, облокотиться на прилавок, взять горсть подсолнухов и мешать торгашу разговорами о городе, о торговом деле, а порою прикрикнуть на девок, которые стадами, как овцы, давят друг друга к прилавку, на мужика, который с мешком под мышкой, — в мешке ерзает поросенок, — перепробовал уже все свистульки, все губные гармоньи и никак не может решить, какую взять. Народ, вылив-

шийся из церкви, затопил весь выгон, на колокольне трезвонят, нищие гнусаво горланят, скотина, которою тоже торгуют на Кирики, блеет и гогочет, — и среди густой толпы, плюющей подсолнухами и скользящей по грязи между палатками, уже много пьяных. Шаша успел еще выпить и чувствует: пора! Наговорившись с торгашами, он решительно шагает к каруселям. Там сгрудилось несчетное количество пороку, до головокружения глядящего на мелькающих кольцом деревянных коней и на их всадников. Там чуть не все село и головой выше всех — солдаткин муж. У Шаши холодеют руки, дергаются губы, но он делает вид, что не замечает своего врага. Он подходит к знакомым, громко говорит, хохочет, а сам ждет, начеку. И вот, шатаясь, притворяясь вдребезги пьяным, в новом картузе, на котором еще белеет лавочный билетик с ценой, выбритый, сытый, с сонными синими глазами, солдат идет прямо на него и со всего размаху, как будто ничего не видя, бьет его плечом в грудь. Шаша, стиснув зубы, сторонится и продолжает беседу. Но солдат возвращается, опять проходит мимо и опять — раз его

плечом в грудь! Тогда, как бы не выдержав такой наглости, Шаша с упоением искажает свое и без того искаженное лицо и сквозь зубы говорит:

— О-х, малый! Как бы я не толкнул тебя по-своему!

И вдруг солдат, сразу осадив свое наклонное стремление вперед, отшатывается назад и бешено взрывается:

— Што-о?

Среди ярмарочного гама, грохота и позвонков бешено крутящейся карусели и восторженных притворно-сострадательных криков ахнувшей и раздавшейся толпы солдат оглушает и окровавливает Шашу с первого же удара. Шаша, норовя, по старой мужицкой манере, запустить ему пальцы в рот, разорвать губы, зверем кидается на него и тотчас же замертво падает в грязь, под кованые каблуки, тяжело бьющие в грудь, в лохматую голову, в нос, в глаза, уже помутившиеся, как у зарезанного барана. А народ ахает и дивуется: вот настырный, непонятный человек! Ведь он же знал наперед, чем кончится дело! Зачем же он шел на него? И правда: зачем? И к чему

вообще так настойчиво и неуклонно идет он, изо дня в день опустошая свое разоренное жилье, стремясь дотла искоренить даже следы того, что так случайно было создано диким гением Романа, и непрестанно алкая обиды, позора и побоев?

Ужасные люди в две шеренги стояли во время обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жажде самоистязания, отворачивания к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам, — и трагическим и скоморошеским, — Русь издревле и без конца родит этих людей. И что это за лица, что за головы! Точно на киевских церковных картинах да на киевских лубках, живописующих и дьяволов, и подвижников мати-пустыни! Есть старцы с такими иссохшими головами, с такими редкими прядями длинных серых волос, с такими тончайшими носами и так глубоко провалившимися щелками незрячих глаз, точно столетия лежали эти старцы в пещерах, где замуровали их еще при киевских князьях и откуда вышли они в полуистлевшем рубище, крест-накрест возложили на свои останки нищенские сумы, на веревочных обрывках по-

весили их через плечо и пошли себе странствовать из конца в конец Руси, по ее лесам, степям и степным ветрам. Есть слепцы мордастые, мужики крепкие и приземистые, точно колодники, холодно загубившие десятки душ: у этих головы твердые, квадратные, лица топором вырублены, и босые ноги налиты сизой кровью и противоестественно коротки, ровно как и руки. Есть идиоты, толстоплечие и толстоногие. Есть горбуны, клиноголовые, как бы в острых шапках из черных лошадиных волос. Есть карлы, осевшие на кривые ноги, как таксы. Есть лбы, сдавленные с боков и образовавшие череп в виде шляпки желудя. Есть костлявые, совсем безносые старухи, ни дать ни взять сама Смерть... И все это, напоказ выставив свои лохмотья, раны и болячки, на древнецерковный распев, и грубыми басами, и скопческими альтами, и какими-то развратными тенорами вопит о гнойном Лазаре, об Алексее Божьем человеке, который, в жажде нищеты и мученичества, ушел из-под отчего крова «ня знамо куда...».

Все эти люди, двигая бровями над своими темными очами, наитием, инстинктом, ост-

рым, точным, как у каких-нибудь первичных особей, мгновенно чувствуют приближение дающей руки и уже немало нахватали огрызков хлеба, баранок и зеленых от махорки мужицких медяков. После обедни, с пенем уже более бодрым и требовательным, они растекаются по народному морю, по ярмарке. Двинулись за ними и калеки — безногие, ползающие на задах и четвереньках и лежащие на вечном одре, в тележках. Вот одна из этих тележек: в ней — маленький человечек, лет сорока, по ушам повязанный бабьим платком, со спокойными молочно-голубыми глазами, высунувший из ветошек тонкую фиолетовую ручку с шестью пальцами; возит его живоглазый мальчишка с очень острыми ушками и лисьим пухом на голове. Вот мужик с большим белым лицом, весь изломанный, исковерканный, совсем без зада, в одном прелом лапте. Верно, и его, — не хуже Шаши, — били где-то: весь платок его, ухо, шея и плечо в засохшей крови. В длинном мешке — куски сырого мяса, вареные бараньи ребра, корки и пшено. А сиденье подшито куском кожи — и вот весь он искривился, заерзал и пошел че-

сать задом по грязи, выкидывая вперед необутую ногу, до половины голую, в известковых струпах, сочащихся гноем и залепленных кусками лопуха.

— Гляньте, православные, гляньте скорее: йето считается, по старинному заведению, болезнь проказа! — развеселым, быстрым речитативом вскрикивает возле него рябой оборванец, его импрессарио.

И вот к этим-то людям и шел Шаша. Живет он еще три-четыре года на мельнице; встречает еще три-четыре ярмарки; вступает еще три-четыре раза в бой с солдатом; поливают его, бездыханного и безгласного, водой из жбанов добрые люди; он медленно приходит в себя; не раскрывая глаз, возит по земле мокрой головой и сквозь зубы тяжело стонет:

— Нну, добрые люди! Я молчу! Я все-е молчу!

Затем его везут на мельницу, он недели две лежит на печи, понемногу оправляется и вскоре уже опять гуляет по шинкам, хвастается, лжет, все и всех шельмует, бьет себя кулаком в грудь, грозит всем своим врагам и особенно — солдату. Но однажды выпадают

несчастливые Кирики: солдат переламывает ему каблуком руку и раздробляет переносицу, выбивает глаза. Вот Шаша и слепой и калека. Солдатка бросает его; мельницу, землю берут за долги добрые люди. И Шаша — у пристани: теперь он равноправный член, кость от кости, плоть от плоти нищей орды, стоящей на Кирики в церковной ограде. Босой, в лохмотьях, густобородый, с головой, стриженной ежом, в мешках крест-накрест, дико ломает он брови над выбитыми и затянувшимися глазами и сипло орет в лад с прочими за душу хватающие нищенские стихиры. Хор мрачно дерет кто во что горазд — звонко выделяются голоса поводырей, выкрикивающих каждый слог:

*Три сестры жили, три Марии Египетские были,
На три доли свою богатству делили:*

Одну долю отделили на незрящее тело,

Другую долю отделили по тюрьмам, темницам,

Третью долю отделили по церквям, соборам:

*Не сокращайте свое тело хорошим нарядом,
Сокрасьте свою душу усердным подаяньем.
Эта ваша подаяния на первом присутствии будет,
Как свеча перед образом-богом!*

Вступает и выделяется резкий голос Шаши:

*Придет время,
Потрясется земля, небо,
Все камушки распадутся,
Престолы господни нарушатся,
Солнце с месяцем примеркнет,
И пропустит господь огненную реку!*

И сливаясь, сходясь, достигая зловещей силы и торжественности, зычно горланит весь хор:

*Михаил Архангял
Тварь земную поморить,
Он вструбить в трубы,
Возглаголит людям:
Вот вы жили-были
Своей вольной волей,
В церкви не бывали,*

*Заутреню просыпали,
Позднюю обедню прожирали;
Вот вам рай готовый —
Огни негасимые,
Муки нестырпимые!*

14 сентября. 1913

Святые

Дом был полон гостей, — гости бывали часто и гостили подолгу, — светлая морозная ночь сверкала звездами за мелкими стеклами старинных окон. К кафельным печкам подойти было нельзя — так накалили их. По всем комнатам горели праздничные лампы, в самой дальней, диванной, даже люстра, мягко игравшая хрусталем, смугло-золотистым от времени. В гостиной сдавали на трех зеленых столах, за высокими канделябрами, в блеске свечей. В столовой стол был уставлен закусками, посудой и разноцветными графинами: гости то и дело выходили из гостиной, наливали рюмки, чокались и, потыкав вилками, возвращались к картам. В буфетной кипел ведерный самовар: старик-буфетчик волновался, ссорился с Агафьей Петровной, ши-

пел и замахивался серебряной ложкой на Устю, накладывая граненые вазы вареньем, наливал стаканы черным чаем и посылал подносы в гостиную. Вся лакейская была завалена хорошо пахнущими шубами, шапками и лисьими поддевками. А там, в дядиных комнатах, сидел Арсенич.

Дети заходили и в лакейскую и в буфетную, стояли возле играющих в гостиную; от нечего делать таскали со стола в столовой кружочки колбасы, смотрели в нижние стекла: видно было глубокое небо в редких острых звездах, снег, солью сверкавший под луною, длинная волнистая тень из поварской; а дальше, за белыми лугами — высокие косомеры, густо поросшие темным хвойным лесом, сказочно посеребренным луной сверху. Подражая гостям, дети говорили друг другу «вы».

— Мить, а Мить, — сказал застенчивый Вада, — вы нынче пойдете к Арсеничу?

— А вы? — спросил Митя, как всегда, очень строго. — Я непременно пойду.

И, оглянувшись пи гостиную, на буфетную, — ходить к Арсеничу запрещалось, потому что у него было очень холодно, — дети

медленно, как будто гуляя, перешли зал и вдруг быстро шмыгнули за небольшую дверку возле печки в углу — в те необитаемые комнаты, где жил и умер дядя-охотник и где теперь гостил Арсенич, раза два-три в год приходивший повидать своих господ.

Дом жил своей жизнью, веселой, праздничной, эти комнаты своей — бедной, всем чужой. Но Арсенич наслаждался своей близостью к той, первой. Два-три раза в год барыне докладывали, что он стоит у крыльца. Она приказывала сказать ему, чтобы он шел в дядины комнаты, и Агафья Петровна посылала ему самовар, колбасы, белого хлеба, графинчик водки. Арсенич, сидя весь день один-одинешенек, пил чай, курил, сладко плакал и поздно ночью, — в одно время с господами, — укладывался спать, усталый и растроганный, на соломе возле печки. Прожив так с неделю, он искал случая увидеть барыню и, наклонявшись ей, несколько раз поймав ее руку для поцелуя, удалялся на деревню, на свою квартиру у мужика. Это и называлось — повидаться со своими старыми господами.

Дядиных комнат было две. Теперь в пер-

вой комнате было темно, только на полу лежали и наполняли темноту таинственным лунным светом два белых частых переплета; пахло тут седлами дяди и крысами. В другой сумрачно, дрожащим пламенем полыхала на кухонном столе возле остывшего самовара толстая сальная свеча в черном жестяном подсвечнике и густыми волнами плавал дым: посылали Арсеничу и табаку, но слабого, турецкого, и Арсенич, чтобы накуриться, принужден был курить без передышки. Топили тут плохо, окно было запушено серым инеем, и от него несло морозом. Большая черная картина висела в углу вместо образа: на руках чуть видной богоматери деревянно желтел нагой Иисус, снятый со креста, с запекшейся раной под сердцем, с откинутым назад мертвым ликом. Арсенич, взлохмаченный, как кипень седой, красный и небритый, в истертом дядином пиджаке, сидел, подложив под себя одну ногу в валенке, на табурете возле стола. Он курил толстую вертушку и в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами, не стирая крупных капель, катившихся по носу. Как всегда, дети, не спуская с него

любопытных глаз, подошли к столу и стали пристально разглядывать сизые старческие руки, ворот грязной ночной рубашки, тоже дядиной, и красное, измятое, в колючем серебре лицо. Арсенич, стыдливо отвернувшись, стал искать по карманам свой ужасный носовой платок.

— Вы опять свои дудки курите? — спросил Вадя, остановив большие чистые глазки на этой ветошке, давно и бережно хранимой.

— Опять, сударь, — покорным шепотом, тихо и радостно улыбнувшись, ответил Арсенич.

— И водку пили? — спросил Митя.

— Пил и ее, окаянную...

— Всю?

— Всю-с, — прошептал Арсенич. — Только вы за ради бога не сказывайте мамаше про мои слезы. Это я не от этого-с. Сами извольте знать — не первый раз...

— Я ни за что не скажу, — сказал Митя твердо. — А вы? — спросил он Вадю. — Вы ведь тоже не скажете?

Вадя, что-то думая, нежно покраснел, поспешно перекрестился и помотал головой. Из

зала доносился смех, говор. Кто-то, на время освободившийся от карт, играл на фортепьяно польку «Анну». Слушать старинные звуки было приятно и грустно. Слушая и думая что-то, Вадя спросил:

— Вы бедные?

Арсенич вздохнул.

— Бедность не беда-с, и в богатстве, например, пропадают люди, — ответил он. — Мне ваша мамаша мещину выдают и рубль серебром денег, а за квартиру я не бог вещь что плачу, всего четвертак в месяц... В этом случае я на бога не жалуюсь.

— Вы теперь умрете скоро, — сказал Митя.

— Суцая правда ваша-с. Полагаю, даже нынешней зимой.

— А охотником вы были?

— Нет-с, этого не привел бог. Я у вашего дедушки буфетчиком был.

— Вы о дедушке плачете?

— Ну, что ж о них плакать-с! — сказал Арсенич. — Они, например, еще в сорок осьмом году скончались. Да и прожили по нашему времени немало — восемьдесят семь лет с лишком. Я нонче плакал по поводу блудницы и

мученицы Елены, о судьбе ее несчастной...

Из-под печки вынырнула мышь, метнулась было к столу и побежала в темную комнату. Дети проводили ее заблестевшими глазами, потом, облокотившись на стол, опять стали рассматривать глянцевитые рукава Арсенича, жилы на его сморщенной розовой шее.

— Ее казнили? — спросил Вадя, вспоминая других мучениц и мучеников, о которых постоянно рассказывал Арсенич.

— Это уж как водится, — ответил Арсенич. — Только не мечом, не пыткой, а еще хуже того...

— Вам ее жалко?

— Понятно, жалко-с. Только я ведь больше не от жалости плачу, а, например, от своего чувственного сердца. Это дело-с, по старому преданию, так было, — сказал Арсенич, стараясь не глядеть на детей, отводя от них глаза, опять покрасневшие. — Жила-была, например, самая что ни на есть отпетая блудница, по имени Елена, девушка богатого рода, отменная красавица и бездушная кокетка...

— А где она жила? — спросили дети, пер-

хая от дыма. — В лесу?

— Нет-с, это ей потом господь привел жить и пострадать за свою верную любовь в лесу, а сперва она проживала в столичном городе, в просторной и чудной квартире, в пирах, в веселии, по балам да маскарадам, — попросту сказать, блуд творила за большие деньги. Была же она, например, все-таки не настоящая госпожа и называлась промеж господ Адель, а брала, конечно, с кого попало, и с пьяного и с трезвого, даже, может, не побрезгала бы приказным творением, будь у того средства. Ездили к ней первые князья и графы, делали ей подарки из последнего, многие даже руки на себя наложили из-за ней... ну только она в этом случае и бровью не вела и была ко всем, например, бесчувственна, как Ниоба, ни к кому не питала привязанности: была у нее вечная-бесконечная тоска на душе. Такая-с тоска, что и сказать невозможно!

— А вы у ней в гостях были? — спросил Ва-
дя.

— Статочное ли дело-с! — сказал Арсе-
нич. — Я, сударь, холоп простой, дворовой че-
ловек всего-навсего. Меня оттуда господа пал-

ками выгнали бы; да и поделом было бы!

— А дедушка?

— Дедушка — те иное дело, но только они тогда, может, и на свет не рождались еще. Это, сударь, в старинные времена было, и тому теперь никогда не бывать, теперь век настал бездушный... Ну, так вот я и докладываю вам: была эта Елена просто алчная блудница, и множество господ пропали, например, из-за ее красы, как червь капустный. Только всходит однажды в ее уборные комнаты, уж этак поздно вечером, главный ее камердинер и докладывает, что желает ее немедленно видеть молодой и прелестный граф из свиты самой государыни императрицы. Она сидит, например, за своим туалетом в одном капоте, чешет бесподобным черепаховым гребнем роскошные волны кудрей и отвечает, что, мол, я бы весьма рада, да теперь слишком поздно, я и так, говорит, из-за своей корысти день-деньской как в смоле киплю и, значит, примять его и осчастливить никак не могу, беру ванну с духами, а потом спать ляжу, меня тоска съела, ненавижу всех, зрить не могу... Слуга удаляется, но только вскорости опять всходит и

говорит, что, мол, так и так... граф проиграл в штос вес свое состояние и хочет на последние свои средства... — Арсенич при этих словах с трудом овладел голосом... — и хочет, говорит, на последние свои средства провести ночь прекрасной любви... А будучи, например, допущен к ней, несказанно пленил се своей младостью и томной грустью, и порешили они тут же умереть одной смертью в один час и даже миг. Да господь-то, видно, не по-ихнему судил! Может, на то вон ее святая воля была, — сказал Арсенич, поднимая воспаленные глаза и указывая ими на богоматерь. — Всякие там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, они только страсть свою питали, а ведь она сама за свою любовь к кресту пошла скорбеть... Но только спаситель ей так сказал: «Не плачь, моя мать, дева Мария, моя мука — живот вечный отныне и во веки веков...»

И Арсенич, заплакав, на минуту смолк, прижимая рукав к лицу, облитому слезами.

— Все? — тихо спросили дети, дожждав продолжения.

— Нет-с, не все еще, — со вздохом облегче-

ния сказал Арсенич. — Они, докладывая вам, умереть решились, и, конечно, молодой граф тотчас же скончался, а ее этот яд не мог взять, ей вскорости полегчало, и осталась она еще жить на белом свете, чтобы, например, пострадать и награду получить за свою первую и последнюю любовь... Мужское дело, конечно, иное... мужчина может, и любя свой предмет, прельщаться на других, а уж женщина нет, никогда себе этого не позволит, она, может, оттого и грех делает, что не нашла себе достойного... Ну, вот так и тут. Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудала, стала еще прекраснее прежнего и совсем отворотилась, например, от бездушной светской жизни, стала negliжировать своими обязанностями и уж ни за какие блага в мире не соглашалась предать свое тело, полюбивши одного до гробовой доски. Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна, зачала ее всячески мальтретировать, она же безо всякого ответа собрала в ночное время все, например, самоцветные камни и брошки, какие ей надарили, завязала свое голландское белье в узелочек, да и

удалилась в дремучий лес, где, может, только одни орлы скрыжут да рыси по дубам прядают. Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благословение, образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе, идет по межам куда глаза глядят и плачет горькими слезьми, не хуже меня такого-то — конечно, уж от радости, что вырвалась, значит, на волю, под голубые небеса, и доходит до большого стада. Пастух спрашивает, кто она такая, а она безо всякого страха подходит прямо к нему, отдает ему свой драгоценный узелок, всякие свои редкости, снимает с себя роскошные наряды и кринолины и просит его отдать ей свое нищее рубище. Тот, понятно, рад-радехонек, скинул поскорей свой пошлый зипун и прикрывает, например, ее почесть нагое тело. А она, низко ему поклонившись, идет бедной странницей дальше и приходит в тихий монастырь, в прекрасную женскую обитель в этом дремучем лесу, просит стариц принять ее простой послушницей и начинает вместе с ними спасаться, грехи свои, например, замаливать и изо всех сил просить себе у бога вечной-бесконечной жиз-

ни.

— Где тля тлит, — добавил Вадя, вспоминая прежние рассказы Арсенича.

— Нет, сударь, не тля, — сказал Арсенич, — а напротив того, радость безмерная. И вот, по воле божьей, происходит такой нечаянный случай: оказался в той обители старец древний, живописец крепостной, пожелавший к монахиням на покой удалиться. Писал он, например, всякие образа, всякие священные живописи для ихней церкви и начинает, видя ее красоту и муку, всякий ее самый низкий труд, умолять ее дозволить списать с нее образ царицы небесной, всех скорбящих радости. Она падает в ноги ему, закликает Христом-богом не делать того. «Я, говорит, великая грешница, я предана вечному унынию, смертному греху, я имею на душе страшную тайну», — ну, словом, почесть признается, что я, мол, и до сих пор не могу расстаться с любовью к одному человеку... да, наконец того, просто и одежда моя не позволяет, я, мол, в черной бедной рясе, а снять ее не могу ни на одну минуту — такой обет богу дала... Но только тот старец остается, например, непре-

клонен: говорит, эта одежда разрешается, ты бледна и прекрасна, как мраморный групп, и черный цвет тебе как нельзя кстати... Жалуются, наконец, самой матери игуменье... А та возьми да и прикажи немедленно же снять этот портрет с нее. Старец, конечно, радуется несказанно, регулярно делает свое дело, остается только венчик золотой округ головы подрисовать и в церковь несть... И уж хотели было так и сделать, как думали, венчик, значит, подрисовать и освятить этот образ прелестный, чтобы в церковь его, например, поставить, как оказывается вдруг страшное, несказанное дело: оказывается, эта девица Елена... ну, просто сказать, тяжелая, беременная, и уж никак нельзя скрывать этого больше, сама природа не позволяет... Боже мой, — воскликнул Арсенич, качая головой, — что тут было делать монахиням! Свет везде бездушен, а ведь она плод любви понесла! Она никогда того положения не знала, не могла, не любя, зачать дите в своей утробе, а тут полюбила как на грех, а уж раз она стала не простая девица, а мать беременная, как могла она блуд в этом случае творить?

— Они ее убить велели? — спросил Митя.

— Нет-с, хуже, они ее в ночь-полночь в лес выгнали, — сказал Арсенич. — И вот извольте подумать, что она должна была почувствовать в этом случае? Может, одна Фекла-старлица то испытала в сновидении, в хождении своей души по мукам. А ведь, однако, один платочек белый, какой она подала нищему старику и какой ангел на весы, в посрамление бесам, кинул, и то спас ее, всех ее грехов тяжелее оказался!

— А зачем ее выгнали в лес? — спросили дети.

— А куда же-с? — ответил Арсенич. — Конечно, в лес дремучий, непроходимый...

— Где орлы скрыжут, — добавил Вадя.

— Истинно-с, где орлы скрыжут и всякий зверь необузданный съесть может, — повторил Арсенич с горьким торжеством. — Где дивья темь лесная и одна скала-пещера могла служить ей приютом! А она в той пещере принуждена была дитя родить, и пеленает его, например, чем может, дерет в этом случае свою последнюю рубашку на свивальнички, а тут, может, всякие рыси голосят, глядят с

дубов зелеными глазами и летит и шумит сама птица-Игра, — Арсенич крепко сделал ударение на первой букве, — летит птица-Игра, вся белая с черными крыльями, вьется, кричит, хочет его, например, крыльями до смерти затрепать... И, конечно, не смогли они, беззащитный младенец с матерью, стерпеть такой муки, голоду-холоду, поругания и тут же и скончались, потому что у ней не только молока в грудях, а и хлеба ни синь пороха не осталось для пропитания... И что же тут случилось, какое внезапное чудо! Звери, птицы, и те возрыдали, восскорбели о ней, и такой вихорь поднялся по лесу, что в самую ночь — полночь проснулась вся обитель от такого шума, а древний этот старец, живописец, вскочил, например, с ложа в своей студии, слышит в этом страшном шуме чей-то голос, повелевающий ему поскорее в лес идти, и, как был, так и выбегает вон, всех будит, зовет мать игуменью, зовет самую старую старицу-схимницу и отправляются они, значит, в трех лицах, с огнями, с фонарями, в этот самый непроходимый лес. А там, например, только уж бездыханное тело лежит! Стоит ча-

ща дремучая — и лежит под ней, под сосной, которая певг называется, мать красы неописанной, вся как снег белая, в своей ризе черной, гробной, с мертвым младенцем у бесплодной груди — и горит округ ее головы венчик огненный, весь лик ее бледный и ризу озаряет: значит, тот самый, какой не насмелился старец-живописец на своей иконе подрисовать, узнавши о грехе Елены, про то, кто она такая в миру была! Это ли-с не чудо великое, это ли не указание? — воскликнул Арсенич восторженно и горько, глядя на детей вопрошающими красными глазами, от которых еще белее казалась его взлохмаченная седина.

— Ее в монастырь принесли? — спросили дети.

— Понятно-с, куда же больше. И, конечно, с великими почестями отпели и схоронили, как мощи, в самой церкви, даже с младенцем вместе, и к ручке ее со слезами прикладывались... Вот тут-то, небось, и вспомнили, что апостолы-то святые нам наказывали: помните, мол, — великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!

Темная свеча полыхала, как лучина, Арсенич смолк и долго молчал в какой-то думе, глядя на свою руку и на ветошку, зажатую в ней. Митя пристально и серьезно ковырял подсвечник, облитый застывшим салом. Вадя не сводил с огня неподвижных и уже дремотных глаз. В зале опять играли польку «Анну», и кто-то, смеясь, кричал: «Не пускать, не пускать!» Вдруг Вадя очнулся и спросил охрипшим голосом:

— А вы будете святой?

Арсенич закачал головой.

— Ах, сударь, какой вы грех великий говорите! Да я, как пес какой, округ господ весь век свековал, дня одного страдания не знал! За что же награждать-то меня?

— А вы это все сами выдумали?

— Боже избави! Я все это по народу слышу да из книг сличаю-с. Сижу и читаю на гулянках, — у меня книги бесподобные, старинные есть... Душа у меня, правда, не нонешнего веку... Мне господь не по заслугам великий дар дал. Этому дару старцы валаамские только при великой древности, да и то не все, помогают. Этот прелестный дар — слезный дар

называется. А уж как я стихи, например, люблю, того и сказать даже невозможно!

И, глядя на детей грустно-радостными глазами, Арсенич, на старинный лад, певуче декламировал:

*И в последний мой час я завет
вам даю:
Посадите вы ель на могилу мою!*

За окном, по сугробам, скрипели полозья саней, со скрипом шли к крыльцу лошади, громыхая бубенчиками: кто-то уезжал в светлую морозную ночь, в те туманно-серебристые леса, что сказочно темнели по косогорам за лугами.

В зале играли и танцевали польку «Анну», и Арсенич, закрыв глаза, с улыбкой, покачивал в такт головою.

— Ах, но и светская жизнь хороша-с! — сказал он, вздыхая. — И кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

— А зачем?

— А затем-с, что все бы жил, смотрел, на божий свет дивился... Очень я расстроился нонче, раздумавшись об этой Елене, вечной

печальнице, а потом вспомнил, например, великомученика Вонифатия — и залился в три реки от радости! Тоже простого звания человек был... раб крепостной, только и всего-с... И уж совсем иного склада: отпетый бокутир, беспутная головушка, все нипочем... Пишут его, например, на образах русым... в житии так прямо и сказано: желтоволос был, — значит, весь, небось, в веснушках, ростом не велик и глаза веселые, наигранные, не то что у этой Елены-страдальицы. Был он в городе Риме у госпожи своей Аглаиды стольником, при столе, например, прислуживал — ну, и пленил ее... В житии, конечно, уж очень бездушно сказано — мол, не будучи замужней, жизнь свою протекала в грехах, сделалась преклонна своим похотям, проживала в беззаконном сожителстве с рабом своим Вонифатием, а ежели судить в этом случае по человечеству, то, небось, так случалось: увидит его, глянет и усмехнется, — вот, мол, хороший человек, а там и полюбила и приблизила к себе... Ну, живут они таким побытом год, живут другой, она за ним, небось, как за ребенком заботится, — есть такие женщины ласковые,

прелестные, богомольные душой, хоть и в грехе всегда, никому, например, не умеют отказать по своей доброте... Он день и ночь с приятелями, на гитарах там на разных играет и вино пьет, — в житии так и сказано: был обуреваем страстями, погрязал в грехах, — а она все дома, шьет, небось, ому что-нибудь, нежно о нем думает, все измены прощает ому, вроде матери... Только-с время-то не ждет, проходят, например, ее лета, стала она над своей судьбой задумываться, иной раз, небось, и поплачет тишком... И, как говорится, насмелилась раз. Дорогой, говорит, мой возлюбленный, есть у меня мечта заветная: я для тебя всем пожертвовала, ни людей, ни бога, например, не боялась, а живем мы все-таки не венчанные, не признанные — надо нам в дом часть мощей внести, просветить наш дом. Умоляю тебя — снаряди корабль, возьми золота, серебра, дорогих благовонных плащаниц всяких, чтобы, например, эти честные мощи увить, и плыви ты в Киликийскую страну, в город Таре, там много святых страстотерпцев свои главы за Христа сложили... Ну, он, конечно, на это соглашается, снаряжа-

ет корабль парусный, устиляет его, например, всякими коврами и шелками шамаханскими и отплывает в путь с друзьями-приятелями, с винами, с музыкой, со всякой дворовой прислугой...

— А дорогой буря поднялась? — спросили дети.

— Нет-с, напротив того, все они преблагополучно достигли тех стран. Опустили там все свои якоря, паруса — и отправляется он в этот город Таре, в гостиный дом, чтобы, значит, отдохнуть, погулять, а с утра и за дело взяться. Проходит, например, градские ворота, идет вверх по улице, конечно, беспечный, беззаботный, напевает свою арию и вдруг слышит страшный шум... Спешит, понятно, поскорей туда и видит бесчеловечное смертоубийство: сгрудился народ на площади, кричит, махает руками и требует казни, а посередь площади сидит жестокий судья и мучает лютейшими муками святых христиан, — кого велит надвое рубить, кому глаза выколоть, кому голову отсечь, — а перед ним старец на коленях, преклонился под острый обоюдный меч и восклицает в свой последний час: «Да

святится имя господне, Христово, пречистое!» И как услышал это Вонифатий, этот, например, беззаветный бокутир, так и загорелся весь, — в житии так прямо и сказано: возвеселился духом за имя господне, — кинулся в самый народ, выскочил наперед всех, да и подхвати, даже не подумавши, тот старцев крик: «Да прославится, мол, имя господнее! Что вы, мол, делаете, язычники бездушные, пропустите меня — хочу и я пострадать за спасителя!» Тут все, понятно, к нему — ужасаются за него, уговаривают — побойся, например, за жизнь свою, одумайся, ты чужеземный гость, какое тебе дело... А он все свое: «Знать ничего не хочу, недостойны вы меня склочить, прельстить — проклинаяю ваших мраморных богов, секите мне голову!» Разорвал единым махом все свои одежды разноцветные, пал на колени середь площади, уронил свою голушушку...

— И принял мечное сечение, — добавил Вадя тихо.

— Да-с, и принял мечное сечение, ненаглядная моя деточка! — воскликнул Арсенич и, поймав его ручку, крепко прижался к ней

своими холодными губами, на которые закапали горячие слезы. — Ну, да что! — прошептал он потом, отвертываясь и ловя по столу свой платок. — Никуда я стал, совсем никуда!

Утершись, он достал из кармана осьмушку табаку, стал, облегченно вздыхая, вертеть толстую папиросу. Дети долго смотрели то на его седую голову, то на большую дрожащую тень ее на стене, слушая нестройный, уже застольный говор и смех в зале.

— Вам Вонифатий больше нравится? — строго спросил Митя.

— Грешный человек, — прошептал Арсенич, поспешно наклоняясь, чтобы языком заклеить свою вертушку, — уж очень мне его кураж нравится!

Капри. 23 января 1914

Весенний вечер

На Фоминой неделе, в ясный, чуть розовый вечер, в ту прелестную пору, когда земля только что вышла из-под снега, когда в степных лощинках еще лежит под голыми лубками серый затвердевший снежок, ходил по одной елецкой деревне, от двора к двору, старик-нищий — без шапки, с длинной холщовой кисой через плечо.

Деревня эта большая, но молчаливая, полевая. Да и вечер такой выдался. Пусто было вдоль бесконечно разлившегося глинистого пруда, на ровном выгоне, где, в тени от изб и пунек, шел, держа в руке высокую ореховую палку, этот лысый и еще черный старик, похожий на святителя. Выгон чисто, ярко зеленел, в воздухе свежело, пруд, выпукло-полный, зеркально-телесного тона, очень хорош был, хотя еще плавала на нем одна бутылочно-зеленая льдина. Где-то на том боку, тепло и ласково освещенном в упор низким солнцем, — где-то, как казалось, очень далеко, — плакал ребенок, заблудившийся за какой-нибудь ригой или амбаром, и мило было слу-

шать по заре его жалобный однообразный плач... Но подавали плохо.

Там, при въезде, возле старого богатого двора с вековыми дубами в грачиных гнездах, за красной кирпичной избой в три связи, подала молодая сероглазая бабочка, да и то пустяк. Стояла она у каменного порога среди подсыхающей весенней грязи, на тугой тропинке, держала сидевшую у нее на руках хорошенькую девочку с бессмысленными голубыми глазами, в разнолокутном чепчике, и, прижимая ее к себе, плясала, притоптывала босыми ногами и повертывалась, раздувая ситцевую юбку.

— Вон старик, сейчас в сумку отдам, — заговорила она сквозь зубы, впиваясь губами в щечку девочки.

*Пнайду плясать,
Альни пол хрустит...*

И, перевернувшись, переменила голос на звонкий, кому-то подражающий, кокетливый:

— Старик, старик, не надобно ли вам девочку? Девочка не испугалась, она спокойно

сусолила толстую баранку — и мать, шутя, на все лады, стала уговаривать девочку отдать ее подошедшему и улыбававшемуся нищему:

— Отдай, деточка, отдай, а то мы с тобой во всем дворе одни-одинешеньки, нам и милостинку сотворить не из чего...

И девочка тупо протянула короткую ручку, свой маленький кулачок с зажатой в нем слюнявой котелкой. И нищий, с улыбкой качая головой на чужое счастье, взял и пошел, на ходу закусывая.

Он шел, держа палку на отлет, наготове: то кубарем катится под ноги злая хрипучая шавка — и, докатившись, неожиданно смолкает; то желтый пушистый кобель яростно дерет, кидает землю задними ногами, стоя возле пуньки, и рычит, захлебываясь, с огненными глазами... Подойдя к избе, к маленькому окошечку, нищий смиренно кланялся и легонько стучал батошкой в раму. Но часто никто не отзывался на этот стук: еще досевали, допахивали многие, были в поле. И старая крестьянская душа даже втайне радовалась: в поле народ... это время год кормит... не до нищих... А порой за стеклами, в которые постукивал ни-

ций, склонялась сидевшая на лавке с грудным на руках белолицая баба. В окошечке, маленьком, бедном, она казалась очень большой. Ничуть не стыдясь, что нищий видит ее мягкую пшеничную грудь, она махала крупной рукой в серебряных кольцах, а ребенок, не выпуская сладкого соска изо рта, лежал, смотрел ей в лицо темными ясными глазами, драл голые каряки в розовых точках от блох. — «Бог даст, не прогневайся!» — говорила баба спокойно. Что до старух, то каждая, болезненно морщась, непременно высовывалась наружу и долго жаловалась, все твердила, что рада б радостью подать, да нечего... все в поле... а без спросу боязно, ее, старуху, и так заглодали... Нищий соглашался, говорил: «Ну, прости за ради бога», — и шел дальше.

Он сделал за день верст тридцать и ничуть не утомился: только одеревенели, притупились, стали неладно вилять ноги. Длинный мешок его был до половины набит корками и кое-каким добришком; а под низками, под армяком в больших заплатах, под овчинной курткой и заношенной рубахой, давно висела на кресте ладанка, где зашито было девяносто

два рубля бумажками. И на душе у него было покойно. Конечно, стар, худ, выветрился, — рот стянутый, пересохший дочерна, нос как кость, шея вся в трещинах, клетчатая, точно пробковая, — но бодр еще. Глаза, когда-то бывшие черными, гноились и туманились легкими бельмами; да все-таки видели — и полноводный пруд, и розовый свет на избах на том боку, и даже чистое бледное небо. Воздух свежел, слышнее, но как будто еще дальше замирал детский плач, пахло холодеющей травой... Два голубя дружно пронеслись над крышами, пали па глинистом берегу пруда и, подымая головки, стали пить... Давеча на большой дороге, в одиноком дворе, расщедрились бабы: подали большой кусок коленкора и хорошие, совсем еще хоть куда штаны: справил себе ихний малый, да придавило его в яме, в пищуге, где мужики глину копали. Теперь нищий шел и думал: не то сбывать их, не то самому надеть, а свои, уж очень непарадные, в поле под межу кинуть?

Кончив деревню, он пошел в короткий переулочек, на выезд в степь, И в глаза ему глянуло лучистое, погожее апрельское солнце,

опускавшееся далеко за равниной, за серыми парами и яровыми взметами. На самом выезде, на повороте указанной блестящей дороги в ту дальнюю притынную деревушку, где думал заночевать нищий, стояла небольшая новая изба, плотно крытая вприческу лимонного цвета старновкой. Ото всех отделись, поселились тут с год тому назад, — еще щепка валялась кое-где, — муж с женой, люди хозяйственные и приятные, тайком торговавшие водкой. Нищий и пошел прямо к этой избе: штаны можно было продать хозяину ее; да любил он и просто заходить в нее, любил за то, что живет она какой-то своей особенной жизнью, тихой и прочной, стоит на выезде и глядит чистыми окошечками на закат солнца, при котором допевают в холодеющем воздухе свои вечерние песни жаворонки. Под глухой стеной, выходящей в переулок, была тень. А с лица было весело. Прошлой осенью хозяин посадил под окошечками три куста акации. Теперь они принялись и уже опушились желтоватой зеленью, нежной, как на вербе. Обойдя их, нищий вошел через сени в горницу.

Сперва, после солнца, он ничего не видел, хотя солнце и сюда глядело, освещая голубой прозрачный дым, плававший над столом, под висячей жестяной лампой. Выгадывая время для глаз, он долго кланялся, крестился на новую фольговую икону в углу. Потом сложил мешок и палку возле двери на пол и различил крупного мужика в лаптях и оборванном полушубке, сидевшего спиной к двери, на скамейке за столом, а на лавке — нарядную хозяйку.

— Благодать вам господня, — негромко сказал он ей, еще раз кланяясь. — С прошедшим праздником.

Хотел было спеть «Христос воскресе», да почувствовал, что будет некстати, и подумал:

«А хозяина-то, знать, дома нету... Жалко...»

Хозяйка была хороша собой, с ладным станом, с белыми руками, точно и не баба простая. Одета она была, как всегда, по-праздничному: перловое ожерелье, миткалевая сорочка с тонкими вздернутыми рукавами, красным и синим расшитая занавеска, шерстяная кубовая юбка в кирпичную клетку и грубые, но крепко и по ноге сшитые полусапожки со

стальными подковками. Склонив аккуратную голову, чистое лицо, она вышивала рубаху мужу. Когда нищий поздоровался, она подняла на него твердые, без блеску глаза, пристально посмотрела и приветливо кивнула. Потом, легонько вздохнув, отложила работу, ловко воткнула в нее иголку, прошла, постукивая по деревянному полу полусапожками и виляя задом, к печке, вынула из шкапчика косушку водки и толстую чашку в синих разводах.

— А притомился, однако... — как бы про себя сказал нищий — и в извинение за водку, и слегка смущаясь молчанием не повернувшегося к нему мужика.

Мягко ступая лаптями, скромно обойдя его, он сел на другую лавку, на угол стола, напротив. А хозяйка поставила перед ним косушку, чашку и вернулась к работе. Тогда тяжело поднял голову этот здоровый оборванный степняк, — перед ним зеленел полштоф, — и, прищурившись, уставился на своего скромного собутельника, Может, он и притворялся малость; но все же лицо его воспалено было, глаза пьяны, налиты мутным блеском хмеля,

пересмягшие губы полураскрыты, точно в жару: видно, уж не первый день пил он. И нищий слегка подтянулся и осторожно стал наливать свою чашку. Что ж, мол, всякий свое пьет... тут шинок, и мы друг дружке не мешаем. Он поднял голову, и туманно-черные глаза его цвета спелого терна и весь выветренный и загрубевший в степи лик ничего не выражали.

— Где таскался? — грубо и шало спросил мужик. — Воровать пришел, благо народ в поле?

— Зачем воровать? — ровно и скромно отозвался нищий. — У меня шесть человек детей было, свой дом, хозяйство...

— Слепой, слепой, а небось сколько натаскал перьев, прутьев у свою яругу!

— Зачем? Я в черной работе на шахтах харьцызских десять лет работал...

— Энто не работа. Энто...

— Ты лишнего не говори, — не возвышая голоса, не поднимая ресниц, сказала хозяйка и перекусила нитку. — Я похабного не слушаю. От мужа еще не слыхала.

— Ну, молчи, не буду... барыня! — сказал

мужик. — Низвините... Я тебя испрашиваю, — сказал он, нахмуриваясь, нищему, — какие такие шахты, когда земля не сеяна, не скорожена?

— Да ведь, конечно... у кого она есть, к примеру...

— погоди, я тебе умней! — сказал мужик, хлопнув ладонью по столу. — Отвечай на вопрос: в солдатах служил?

— Ундер-цер десятого гренадерского малороссийского генерал-фитьмаршала графа Румянцева-Задунайского полка... Как же так не служил?

— Молчи, не вякай лишнего! В каком году взяли?

— Семьдесят шестом году, в ноябре месяце.

— Ничем не был провинен?

— Никак нет.

— Начальство ублажал?

— Не мог того не делать. Присягу примал.

— А это что за шрам на шее? Понял ай нет, куда я вижу? Это я его испытываю, — сказал мужик, угрюмо двигая бровями, но меняя властный тон на более простой и обращая к хозяйке свое шальное лицо, золотисто освещенное.

ценное сквозь табачный дым закатом. — Я его насквозь вижу... Не лаптем щи хлебаю!

И опять нахмурился, взглянув на нищего:

— Перед святым крестом-евангелием преклонялся?

— Так точно, — ответил нищий, успевший выпить, вытереться рукавом, сесть опять прямо и придать своему лицу и туманным глазам бесстрастное выражение.

Мужик мутно оглядел его:

— Встань передо мной!

— Не шуми. Тебе сказано ай нет? — спокойно вмешалась хозяйка.

— Постой ты за ради бога, — отмахнулся мужик и повторил: — Встань передо мной!

— Да что-й-то вы, ей-богу... — забормотал было нищий.

— Встань, тебе говорят! — крикнул мужик. — Я тебе вопрос сделаю.

Нищий поднялся и переступил с ноги на ногу.

— Руки по швам! Так. Пачпорт есть?

— Да ай вы урядник, что ли...

— Молчи, не смей так со мной балакать! Я умней тебе! Я сам тянулся. Показывай сию

минуту!

Покорно, поспешно отстегнув крючки армяка, потом овчинной куртки, нищий долго рылся за пазухой. Наконец вытащил завернутую в красный платок бумагу.

— Поддай сюда, — отрывисто сказал мужик.

И, развернув платочек, нищий подал ему истертую серую книжечку с большой сургучной печатью. Мужик неловко раскрыл ее корявыми пальцами и, делая вид, что читает, далеко отставил от себя, откинулся и долго смотрел сквозь дым в краснеющий свет зари.

— Так. Вижу. Все в аккурате. Бери назад, — с трудом сказал он спекшимися губами. — Я беден, беден, я, может, другую весну не пашу, не сею... меня люди зарезали, а у него, у собаки, в ногах валялся... а мне, может, цены нету... А что наворовал, сказывай, а то убью сейчас! — крикнул он свирепо. — Я все знаю, все приизошел... сам в смоле кипел... Жизнь нам господь дает, а отымает ее всякая гадина... Давай сюда мешок, и боле никаких!

Хозяйка только головой качнула и отклонилась от вышивки, разглядывая ее. Нищий пошел к двери, подал мужику и мешок. Му-

жик взял, подложил возле себя на скамейку и, приминая его, сказал:

— Правильно. Теперь садись, давай побалакаем. Я все эти дела разбюру. Я свою ревизию сделаю, не бойся!

И замолчал, уставившись в стол.

— Вясна... — пробормотал он. — Ах, да несчастная субботушка, нельзя в поле работать... Делай! — крикнул он, стараясь щелкнуть пальцами. —

*Пошла барыня плясать,
Голубые пальцы...*

И опять замолчал. Хозяйка заглаживала наперстком вышивку.

— Я корову пойду доить, — сказала она, поднимаясь с места. — Огня без меня не вздувайте, а то еще пожару спьяну наделаете.

Мужик очнулся.

— Господи! — воскликнул он обиженно. — Хозяюшка! Да неужто мы... Об мужу небось скучились?

— Это не твоя печаль, — сказала хозяйка. — Он в городе, по делу. По кабакам не таскается.

— Потаскаешься! — сказал мужик. — Что ж мне, ай под дорогу теперь выходить? Вам, чертям, богатым, хорошо...

Хозяйка, захватив подойник, вышла. В избе темнело, было тихо, и розовый свет разливался в темноте, мягкой, весенней. Мужик, облокотясь на стол, дремал, насасывая потухшую сигарку. Нищий сидел смирно, неслышно, прислоняясь к темному простенку, и лица его почти не было видно.

— Пиво пьешь? — спросил мужик.

— Пью, — послышался негромкий ответ. Мужик помолчал.

— Бродяги мы с тобой, — сказал он хмуро и задумчиво. — Сволота несчастная... побирушки... Мне с тобой скушно!

— Это правильно...

— А пиво я люблю, — опять помолчав, громко сказал мужик. — Не держит, стерва! А то бы я и пива выпил... и закусил бы... у меня язык намок, есть хочется... Закусил бы и выпил... да... А эта, хозяйка, хороша лицом! Мне бы такую-то на пристяжку, я бы... Ну, ничего, сиди, сиди... Я слепых уважаю. Придет престольный праздник, я их, слепых-то, бывало,

человек двадцать за стол посажу, у нас двор был — поискать такого-то! Они мне и стих споют и покланяются... Стихи можешь петь? Про Алексея Божьи человеки? Я этот стих долюбую. Бери чашку, — своей угощу...

Взяв из рук нищего чашку, он поднял ее на слабый свет зари и налил до половины. Нищий встал, низко поклонился, вытянул чашку до дна и опять сел. Мужик потащил к себе на колени его мешок и, развязывая, забормотал:

— Я тебя сразу понял... У меня, брат, денег хватит, я тебе не ровня... Я их хладнокровно проживаю... пропиваю... В год по лошади пропиваю, по хорошему барану прокуриваю... Ага! Накололся на мужичка, понял, кто я такой? А мне тебя жалко... Я понимаю! Вас, таких-то, тыщи весеннее время идут... Грязь, чичер, ни пути ни дороги, а ты иди, кланяйся... Да еще не то дадут, не то нет... Брат! Разя я не понимаю? — спросил мужик горько, и глаза его налились слезами.

— Нет, вешнее время ничего, хорошо, — тихо сказал нищий. — Идешь полем, большаком... один, как есть... Опять же солнушко,

тепло... Правда, большие тысячи нас таких-то идут.

— Я две лошади пропил, — сказал мужик, выгребая из мешка корки, вытаскивая жилетку, коленкор, штаны и лапоть. — Я все твои хрупки, лохмотья несчастные разберу... Стой! Брюки! Это я у тебя, с деньгами справлюсь, обязательно куплю... Сколько?

Нищий подумал.

— Да я бы за два отдал...

— Трояк дам! — сказал мужик, поднимаясь, подсовывая под себя штаны и садясь на них. — Мои! А лапоть где другой? Совсем новый, — значит, обязательно украл... Ну, да уж лучше воровать, чем так-то, не хуже меня, сердце себе терзать вешнее время, с голоду околевать, сенцы последние раскрывать, когда последний пастух, и тот при делу... Я лошадь пропил, а она, скотина-то, дороже человека стоит... Ай я не пахарь, не косец? А теперь пой стих, а то убью сейчас! — крикнул он. — Мне с тобой скушно!

Дрожащим, скромным, но привычным голосом нищий запел из темноты:

Жили-были братья родные,

Богом Христом братья сводные...

— Ах, да и своднаи! — высоко и жалостно подхватил мужик, надрываясь.

Нищий ровным церковным напевом продолжал:

*Один беден-скуден,
У гною-проказе...*

— А другой бога-атый! — не в лад, заглушая его, со слезами в голосе подхватил мужик. — Сердитей! — крикнул он, срываясь. — Мне горе съело, у всех людей праздник, у всех людей севы, а я грызу землю, она, родимая, другую весну у меня пустуя... Поддай сюда чашку, а то убью сейчас! Открой мне окошко!

И опять нищий покорно подал чашку. Потом стал отворять окно. Новое, оно забухло и долго не подавалось. Наконец, подалось, распахнулось. Свежо, хорошо запахло полем. Поле было уже совсем темно, розовая заря потухала, чуть реяла над мягкой тьмой его, тихого, счастливого, оплодотворенного. Слышно было, как допевали свои самые последние песни полусонные жаворонки.

— Пой, Лазарь, пой, родный мой братец! —

сказал мужик, протягивая нищему полную чашку. — Оба мы с тобой... Только что ты передо мной? Бродяга! А я рабочий человек, всех страдащих поилец-кормилец...

Он тяжело, срыву сел и опять полез в мешок.

— А это что у тебя такое? — спросил он, разглядывая коленкор, чуть порозовевший от едва уловимого света зари.

— Так... бабы подали, — сказал нищий тихо, чувствуя, что от хмеля все плывет под ним, что пора уходить и что надо как-нибудь вытянуть из-под мужика штаны.

— Как — так? Брешешь! — крикнул мужик, ударяя кулаком по столу. — Это саван! Вижу! Это гробный саван! — со слезами крикнул он, отпихнул от себя мешок и, замотав лохматой головой, заплакал. — Возгордился я на бога! — горько сказал он, плача.

И, нутживаясь, ладно, сильно запел:

*Зародила-сохранила меня мать,
Непростительного!
Усе муки приызашел,
Все печали приызашел,
Нигде счастья не призрел!*

*Говорила мне мать,
Приговаривала:
Кабы знала-ведала,
Такой чады никогда
Не стерпела бы...*

— Душа моя грешница, веретенница! — дико закричал он, плача, и вдруг с жутким хохотом захлопал в ладоши. — Нищий человек, отдай мне свои деньги! Я тебе насквозь знаю, я тебе насквозь чую — отдай! Знаю, что есть! Не может быть, чтобы не было, — отдай за ради самого господа бога!

И, шатаясь, поднялся, и у нищего, тоже поднявшегося, отнялись ноги от страха, заныло в ляжках. Заплаканное лицо мужика, чуть видимое в сумерках, было безумно.

— Отдай! — повторил он сразу охрипшим голосом. — За ради царицы небесной — отдай! Вижу, вижу — за грудь, за пельки ухватился, — значит, есть, — у вас у всех есть! Отдай — тебе все равно ни к чему, ты в гробу одной ногой, а я навек человеком стану! Отдай добром, — брат, родный, не доводи до греха!

— Никак нет, — тихо и бесстрастно сказал нищий.

— Как?

— Никак нет. Двадцать лет собирал. Не рещушь.

— Не отдашь? — сипло спросил мужик.

— Нет, — едва слышно, но непоколебимо сказал нищий. Мужик долго молчал. В темноте было слышно, как у обоих стучали сердца.

— Хорошо, — с безумной покорностью проговорил мужик. — Я тебе убью. Пойду, найду камень и убью.

И, шатаясь, пошел к порогу.

Нищий, прямо стоя в темноте, широко и медленно перекрестился. А мужик, быком склонив голову, уже ходил под окнами.

Потом послышался хруст, — видно, он выдирает камень из фундамента.

И через минуту дверь снова хлопнула — и нищий вытянулся еще более.

— Остатний раз тебе говорю... — пробормотал мужик спаленными губами, подходя к нему с большим белым камнем в руках. — Брат...

Нищий молчал. Лица его не было видно. Размахнувшись левой рукой и поймав нищего за шею, мужик крепко ударил его в откач-

нувшееся лицо холодным камнем. Нищий рванулся назад и, падая, задевая лаптем стол, стукнулся затылком об лавку, потом об пол. И, навалившись на него, мужик стал яростно, сдавив в груди дыхание, перебивать ему камнем горло.

Через десять минут он уже был далеко в темном ровном поле. Было звездно, свежо, металлически пахло землей. Совсем трезвый, он шел так быстро и так легко, что, казалось, можно было еще сто верст пройти. Ладанку, сорванную с креста нищего, он крепко держал в кулаке. Потом вдруг швырнул в темные взметы. Глаза его стояли по-совиному, зубы были стиснуты, как клещи. Раскрытую голову, — шапку он не нашел в темноте, хотя искал долго, — обливало холодом. Она была как каменная.

Капри. 31 января. 1914

Братья

Взгляни на братьев, избивающих друг друга.

Я хочу говорить о печали.

Сутта Нипата

Дорога из Коломбо вдоль океана идет в ко-
косовых лесах. Слева, в их тенистой дали,
испещренной солнечным светом, под высо-
ким навесом перистых метелок-верхушек,
разбросаны сингалезские хижины, такие ни-
зенькие по сравнению с окружающим их тро-
пическим лесом. Справа, среди высоких и
тонких, в разные стороны и причудливо изогнутых темно-кольчатых стволов, стелются глубокие шелковистые пески, блещет золотое, жаркое зеркало водной глади и стоят на ней грубые паруса первобытных пирог, утлых сигароподобных дубков. На песках, в райской наготе, валяются кофейные тела черноволосых подростков. Много этих тел плещется со смехом, криком и в теплой прозрачной воде каменистого побережья... Казалось бы, зачем им, этим лесным людям, прямым наследни-

кам земли прародителей, как и теперь еще называют Цейлон, зачем им города, центы, рупии? Разве не всё дают им лес, океан, солнце? Однако, входя в лета, одни из них торгуют, другие работают на рисовых и чайных плантациях, третьи — на севере острова — ловят жемчуг, спускаясь на дно океана и поднимаясь оттуда с кровавыми глазами, четвертые заменяют лошадей, — возят европейцев по городам и окрестностям их, по темно-красным тропинкам, осененным громадными сводами лесной зелени, по тому «кабуку», из которого и был создан Адам: лошади плохо переносят цейлонский зной, всякий богатый резидент, который держит лошадь, отправляет ее на лето в горы, в Кэнди, в Нурилью.

На левую руку рикши, между плечом и локтем, англичане, нынешние хозяева острова, надевают бляху с номером. Есть простые номера, есть особенные. Старику-сингалезу, рикше, жившему в одной из лесных хижин под Коломбо, достался особенный, седьмой номер. «Зачем, — сказал бы Возвышенный, — зачем, монахи, захотел этот старый человек умножить свои земные горести? Затем, Воз-

вышенный, захотел этот старый человек умножить свои земные горести, что был он движим земной любовью, тем, что от века призывает все существа к существованию». Он имел жену, сына и много маленьких детей, не боясь того, что «кто имеет их, тот имеет и заботу о них». Он был черен, очень худ и невзрачен, похож и на подростка и на женщину; посерели его длинные волосы, в пучок собранные на затылке и смазанные кокосовым маслом, сморщилась кожа по всему телу, или, лучше сказать, по костям; на бегу пот ручьями лил с его носа, подбородка и тряпки, повязанной вокруг жидкого таза, узкая грудь дышала со свистом и хрипом; но, подкрепляя себя дурманом бетеля, нажевывая и сплевывая кровавую пену, пачкая усы и губы, бегал он быстро.

Движимый любовью, он не для себя, а для семьи, для сына хотел счастья, того, что не суждено было, не далось ему самому. Но по-английски знал плохо, названия мест, куда надо было бежать, разбирал не сразу и часто бежал наугад. Колясочка рикши очень мала; она с откидным верхом, колеса ее тонки, ог-

лобли не толще хорошей трости. И вот влезает в нее большой белоглазый человек, весь в белом, в белом шлеме, в грубой, но дорогой обуви, усаживается плотно, кладет нога на ногу и сдержанно-повелительно, в горло себе, каркает. Подхватив оглобли, старик припадает к земле и летит вперед, едва касаясь земли легкими ступнями. Человек в шлеме, держа палку в конопатых руках, задумался о делах, загляделся — и вдруг он злобно выкатывает глаза: да он мчится совсем не туда, куда надо! Короче сказать, немало палок влетало старику в спину, в черные лопаточки, вечно сдвинутые в чаянии удара, но немало и лишних центов сорвал он с англичан: осадив себя на всем бегу у подъезда какого-нибудь отеля или конторы и бросив оглобли, он так жалостно морщился, так поспешно выкидывал вперед длинные, тонкие руки, сложив ковшиком мокрые обезьяньи ладони, что нельзя было не прибавить.

Раз прибежал он домой совсем не в урочное время: в самый жар полдня, когда золотыми стрелами снуют в лесах те лимонные птички, что называются солнечными, когда

так весело и резко вскрикивают зеленые попугаи, срываясь с деревьев и радугой сверкая в пестроте лесов, в их тени и лаковом блеске, когда так сладко и тяжело пахнут в оградах старых буддийских вихар, крытых черепицей, сливочные цветы безлиственного жертвенного дерева, похожие на маленькие туберозы, такими яркими самоцветами переливаются толстогорлые хамелеоны, мелькая и по гладким и по кольчатым, как хобот слона, стволам деревьев, так много реет и замирает на солнце огромных пышных бабочек и агатовым зерном кишат, текут горячие бурые холмики муравьев. Все в лесах пело и славило бога жизни-смерти Мару, бога «жажды существования», все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью, истребляя друг друга, а старый рикша, уже ничего не жаждавший, кроме прекращения своих мучений, лег в душном сумраке своей мазанки, под ее пересохшей лиственной крышей, шуршащей красными змейками, и к вечеру умер — от ледяных судорог и водяного поноса. Жизнь его угасла вместе с солнцем, закатившимся за сиреновой гладью великих водных про-

странств, уходящих к западу, в пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков, — и настала ночь, когда в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорченный труп, потерявший свой номер, свое имя, как теряет свое название река Келани, достигнув океана. Солнце, заходя, переходит в ветер; а во что переходит умерший? Ночь быстро гасила сказочно-нежные, розовые и зеленые краски минутных сумерек, летучие лисицы бесшумно проносились под ветвями, ища ночлега, и черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух и таинственно, знойно звеня цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки. В далекой лесной кумирне, перед лампадой, чуть мерцавшей на черном жертвеннике, облитом кокосовым маслом, усыпанном рисом и увядшими цветочными лепестками, на правом боку, кротко подложив ручку под голову, покоился Возвышенный, гигант из сандального дерева, с широким позолоченным лицом и длинными косыми глазами из сапфира, с улыбкой мирной грусти на тонких губах. На спине лежал в

темной хижине рикша, и смертная мука искажала его жалкие черты, ибо не дошел до него голос Возвышенного, призывавший к отречению от земной любви, ибо за могилой ждала его новая скорбная жизнь, след неправой прежней. Зубастая старуха, сидевшая у порога хижины, у костра под котелком, плакала в эту ночь, скорбь свою питая все той же неразумной любовью и жалостью. Возвышенный уподобил бы ее чувства медной серьге в ее правом ухе, имевшей вид бочонка: серьга была велика и тяжела, она так оттянула разрез мочки, что образовалась порядочная дыра. Резко белела ее короткая кофточка из бумажной материи, надетая прямо на голое кофейное тело. Голые дети, как чертенята, играли, визжали, гонялись друг за другом возле. А сын, легконогий юноша, стоял в полутьме за огнем. Он вечером видел свою невесту, круглолицую тринадцатилетнюю девочку из соседнего селенья. Он испугался и удивился, услышав о смерти отца, — он думал, что это будет еще не скоро. Но, верно, был он слишком взволнован другою любовью, которая сильнее любви к отцам. «Не забывай, — ска-

зал Возвышенный, — не забывай, юноша, жаждущий возжечь жизнь от жизни, как возжигается огонь от огня, что все страдания этого мира, где каждый либо убийца, либо убиваемый, все скорби и жалобы его — от любви». Но уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юношу. Он стоял и смотрел на огонь. Как у всех диких, ноги его были не в меру тонки. Но и Шива позавидовал бы красоте его торса цвета темной корицы. Блестели при огне его черно-синие конские волосы, длинные, стянутые и закрученные на макушке, блестели глаза из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен блеску кокса против огня.

На другой день соседи отнесли мертвого старичка в глубину леса, положили в яму, головой на запад, к океану, торопливо, но стараясь не шуметь, забросали землей, листьями и торопливо пошли омываться. Старичок отбежался; с его тонкой, посеревшей и сморщившейся руки сняли медную бляху — и, любуясь ею, раздувая тонкие ноздри, юноша надел ее на свою, круглую и теплую. Сперва он только гонялся за опытными рикшами, прислушива-

ясь, куда посылают их седоки, запоминал названия улиц и английские слова; потом и сам стал возить, сам стал зарабатывать, готовясь к своей семье, к своей любви, желание которой есть желание сыновей, равно как желание сыновей есть желание имущества, а желание имущества — желание благополучия. Но однажды, прибежав домой, он наткнулся на другую страшную вестъ: невеста его исчезла — пошла на Невольничий Остров, в лавку, и не вернулась. Отец невесты, хорошо знавший Колумбо, часто ходивший туда, дня три разыскивал ее и, должно быть, что-нибудь узнал, потому что вернулся успокоенный. Он вздыхал и опускал глаза, выражая покорность судьбе; но это был большой притворщик, старик лукавый, как все, у кого есть достаток, кто торгует в городе. Он был полон, с женскими грудями, с матовой сединой, украшенной дорогим черепаховым гребнем; ходил он босиком, но под зонтом, бедра обертывал куском хорошей пестрой материи; кофта на нем была пикейная. От него нельзя было добиться правды, а женщины, девушки нее слабы, как все реки извилисты, и молодой

рикша понимал это. В столбняке просидев двое суток дома, не притрагиваясь к пище, только жуя бетель, он наконец очнулся и опять убежал в Коломбо. О невесте он, казалось, совсем забыл. Он бегал, жадно копил деньги — и нельзя было понять, во что больше он влюблен: в свою беготню или в те серебряные кружочки, что собирал за нее. Один русский моряк снялся с ним в фотографии и подарил ему карточку. Долго после того молодой рикша радостно дивился на свое изображение: он стоял в оглоблях, повернув лицо к воображаемым зрителям, и всякий сразу мог узнать его, — вышла даже бляха на руке. Благополучно, с виду даже счастливо проработал он так с полгода.

И вот сидел он как-то утром, вместе с другими рикшами, под многоствольным банианом на той длинной улице, что идет от Невольничьего Острова к Парку Виктории. Горячее солнце только что показалось из-за деревьев со стороны Мараданы. Но высоко разросся баниан, и уже не было тени у его корней, осыпанных сожженной листвой. Колесочки накалялись от зноя, тонкие оглобли

их лежали на темно-красной разогретой земле, пахнувшей и нефтью, и так, как пахнет теплый от размола кофе. С этим запахом мешались густые сладкие запахи вечноцветущих окрестных садов, камфары, мускуса и того, что ели рикши; а ели они бананы, маленькие, теплые, нежно-розовые, в золотистой коже, и болтали, сидя на земле, до подбородка поднимая острыми углами колени, положив на них руки, а на руки — свои женские головы. Вдруг вдалеке, возле белых оград бунгалоу, испещренных светотенью, показался человек в белом. Он шел посредине улицы той упрямой и твердой походкой, которой ходят только европейцы. И, молнией вскочив с земли, вперегонки кинулась к нему вся стая этих голых длинноногих людей. Они налетели на него со всех сторон, и он грозно крикнул, взмахнув тростью. Робкие и обидчивые, они со всего разбега осадили себя вокруг него. Он взглянул на них, — и седьмой номер с его смоляными волосами показался ему сильнее прочих. На седьмой номер и пал его выбор.

Он был невысок и крепок, в золотых очках, с черными сросшимися бровями, в черных

коротких усах, с оливковым цветом лица, на котором тропическое солнце и болезнь печени уже оставили свой смуглый след. Шлем на нем был серый, глаза как-то странно, будто ничего не видя, глядели из угольной тьмы бровей и ресницу сквозь блестящие стекла. Он сел умело — сразу нашел в колясочке ту точку, при которой рикше свободнее бежать, и, взглянув на татуированного кисть левой руки, короткой и сильной, на маленькие чашки в кожаной лунке, назвал Йорк-Стрит. Деревянный голос его был тверд и спокоен, но взгляд странен. И рикша подхватил оглобли и понесся вперед, поминутно пощелкивая звонком, прикрепленным на конце оглобли, и тасуясь с пешеходами, арбами и другими рикшами, бегущими взад и вперед.

Был конец марта, самое знойное время. Не прошло и трех часов с восхода солнца, а уж казалось, что близок полдень, — так жарко, светло было всюду и так многолюдно возле лавок в конце улицы. Земля, сады, вся та высокая, раскидистая растительность, что зелена и цвела над бунгалоу, над их меловыми крышами и над старыми черными лавками,

пресытили воздух теплом и благовонием, — лишь дождевые деревья туго свернули свои листья-чашечки. Ряды лавок, вернее, навесов, крытых черной черепицей, увешанных огромными связками бананов, сушеной рыбой, вяленой акулой, были полны покупателями и продавцами, одинаково похожими на темнокожих банщиков. Рикша, подавшись вперед, мелькая длинными ногами, бежал быстро, и еще ни одной капли пота не было на его лоснящейся кокосовым маслом спине, на его округлых плечах, среди которых тонкий ствол девичьей шеи грациозно держал смоляную голову, накаляемую солнцем. В самом конце улицы он вдруг остановился. Чуть повернув лицо, он быстро проговорил что-то по-своему. Англичанин, его седок, увидел концы изогнутых ресниц, уловил слово «бетель» и поднял брови. Как? Такой молодой, крепкий, пробежал каких-нибудь двести шагов — и уже бетель? Не ответив, он ударил рикшу тростью по лопаткам. Но тот, — трусливый, как все сингалезы, но и настойчивый, — только дернул плечом и стрелой полетел вкось по улице, к лавкам.

— Бетель! — повторил он, поворачивая к англичанину гневные глаза и по-собачьи оскалившись.

Но англичанин уже забыл о нем. И через минуту рикша выскочил из лавочки, держа на узкой ладони лист перечного дерева, намазывая его известью и завертывая в него кусочек арекового плода, похожий на кусочек кремня. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги и ничем не опьяняйся, заповедовал Возвышенный. Да, но что знал о нем рикша? Смутно звучало в его сердце то, что было смутно воспринято несметными сердцами его предков. В дождливое время года он ходил с отцом к священным шалашам и там, среди женщин и нищих, слушал жрецов, читавших на древнем, всеми забытом языке, и ничего не понимал только подхватывал общее радостное восклицание при имени Возвышенного. Не раз случалось, что молился при нем отец на пороге кумирни; он преклонялся перед лежащей деревянной статуей, бормоча ее заповеди, поднимая соединенные ладони ко лбу, а потом клал на жертвенник самую мелкую и старую из своих тяжело заработанных

монет. Но бормотал он равнодушно, — он ведь только боялся картин на стенах кумирни, изображений муки грешников; он преклонялся и перед другими богами, перед ужасными индусскими статуями, он и в них верил, как верил в силу демонов, змей, звезд, мрака...

Сунув бетель в рот, рикша, в чувствах своих резко изменчивый, дружелюбно улыбнулся англичанину глазами, схватил оглобли и, оттолкнувшись левой ногой, опять побежал. Солнце слепило, сверкало в золоте и стеклах очков, когда англичанин поднимал голову. Солнце жгло его руки и колени, земля горячо дышала, было даже видно, что над ней, как над жаровней, дрожит воздух, но он сидел неподвижно, не дотронулся до верха колясочки. Две дороги вели в город, или, как называют его резиденты, в Форт: одна вправо, мимо малайского капища, по дамбе между лагунами, другая влево, к океану. Англичанину хотелось последней. Но рикша обернулся на бегу, показывая свои окровавленные губы, и сделал вид, что не понимает, чего хотят от него. И англичанин опять уступил, — он рас-

сеянно смотрел вокруг себя. Зеленая лагуна, блестящая, теплая, полная черепах и гнили, окаймленная вдали кокосовой рощей, лежала справа. По дамбе шли, ехали, бежали, щелкая звонками. Стали попадаться рикши в белых кителях и коротких белых панталонах. Европейцы, сидевшие в колясочках, были бледны после томительной ночи, высоко задирали свои белые башмаки, положив колено на колено. Прокатила двуколка, запряженная серым горбатым бычком, — под ее навесом, в легкой жаркой тени, сидел парс, желтолицый старик, похожий на евнуха, в халате и бархатном черепеннике, шитом золотом. Великан-афганец в белых шароварах, в мягких сапогах с загнутыми носками, в белом казакине и огромном розовом тюрбане, неподвижно стоял над лагуной, глядя на черепах, в теплую жидкую воду. Без конца тянулись влекомые волами длинные крытые арбы. Под их узкими соломенными сводами навалены были тюки товаров, а порою целая куча коричневых тел, молодых рабочих. Тощие, сожженные зноем старики, с красными от красной пыли ногами, шагали у колес, точно мумии

старух. Шли каменщики, дюжие черные томилы... «Пагода», — разумея чайный дом, сказал англичанин под теми патриархальными деревьями, что растут при въезде в Форт, под необъятными навесами зелени, светлой от солнца, ее проникающего.

Возле старого голландского здания с аркадами в нижнем этаже остановились. Англичанин посмотрел на часы и ушел пить чай и курить сигару. А рикша сделал полукруг по широкой тенистой улице, по красно-лиловой мостовой, усыпанной желтыми и алыми лепестками кетмий, и, бросив оглобли у древесных корней, с разбегу сел. Он поднял колени и положил на них локти, жарко дыша баннным благовонным теплом полдня и бессмысленно поводя глазами за проходящими сингалезами и европейцами, вынул из-за передника к тряпку, вытер ею окровавленные бетелем губы, лицо, выпуклости на гладкой груди и, сложив ее бинтом, приложил ко лбу, повязал голову: это было совсем некрасиво, придавало ему вид больного, но ведь многие рикши делают так. Он сидел и, может быть, думал... «Тела наши, господин, различны, но сердце,

конечно, одно», — сказал Ананда Возвышенному, и, значит, можно представить себе, что должен думать или чувствовать юноша, выросший в райских лесах под Коломбо и уже вкусивший самой сильной отравы — любви к женщине, уже вмешавшейся в жизнь, быстро бегущую за радостями или убегающую от печалей. Мара уже ранил его, но ведь Мара и заживает раны. Мара вырывает из рук человека то, что схватил человек, но ведь Мара и разжигает человека вновь схватить отнятое или другое что-нибудь, подобное отнятому... Напившись чаю, англичанин бродил по улице, заходил в магазины, рассматривал в витринах драгоценные камни, слонов и будд из эбенового дерева, всякие пестрые ткани, золотые в черных крапинах шкуры пантер. А рикша, что-то думая или только чувствуя, ярко переглядывался с другими рикшами и ходил позади англичанина, возя за собой колясочку. Ровно в полдень англичанин дал ему рупию, чтобы он купил себе поесть, а сам ушел в контору большого европейского пароходства. Рикша купил дешевых папирос, стал курить, сильно затягиваясь, глядя на папиросу, как

делают это женщины, и выкурил подряд целых пять штук. Сладко одурманенный, сидел он в сквозной топи против трехэтажного дома, где была контора, и вдруг, подняв глаза, увидел, что на балконе под белой маркизой появился его седок и еще человек пять европейцев. Все они смотрели в бинокли на гавань — и вот за крышами пристани показались одна за другой и медленно поплыли три высокие, тонкие мачты, слегка отклоненные назад. С балкона замахали платками, а из-за крыш мрачно, могуче и величаво отзываясь по рейду и в городе, заревела труба: пароход из далекой Европы, которого ожидал седок рикши номер седьмой, прибыл. С точностью вошел он после двенадцатидневного плавания в Коломбо — и то, чего совсем не ожидал рикша, полный надежд и желаний, этот роковой для него обед в доме на лагуне был решен.

Но до обеда, до вечера оставалось еще много времени. И опять вышел на улицу этот ничего не видящий человек в очках. Он простился с теми двумя, что вышли с ним и направились к белой статуе Виктории, к кры-

той пристани, и опять побрел по улице рикша — на этот раз к отелю, где в ту пору, в полутемной зале, знойную духоту которой развевали, мешали с запахом кушаний вертевшиеся под потолком весла, ело и пило много богатых резидентов и туристов. И опять, как собака, сел рикша на мостовую, на лепестки кетмий. Сквозная тень соединяющихся светло-зелеными вершинами деревьев осеняла улицу, и шли мимо него в этой тени женоподобные сингалезы, навязывая европейцам цветные открытки, черепаховые гребни, драгоценные камни, — один даже таскал за собой на шнурке и продавал зверька в шубке из длинных колючек, — и всё бежали, бежали по этой богатой европейской улице полудикие рикши... Вдали, среди открытой площади, горела белизной большая мраморная женщина, гордая, с двойным подбородком, в порфире и короне, восседавшая на высоком мраморном пьедестале. И оттуда толпой шли только что прибывшие из Европы. На подъезд отеля выскакивали сизые и черные слуги, кланяясь, выхватывая из рук у них трости, мелкие вещи, и поклонами, сдержанными, изысканны-

ми, встречал их на пороге человек, блестящий напомаженным пробором, глазами, зубами, запонками, крахмальным бельем, пикейным смокингом, пикейными панталонами и белой обувью. «Люди постоянно идут на пиршества, на прогулки, на забавы, — сказал Возвышенный, некогда посетивший этот райский приют первых людей, познавших желания. — Вид, звуки, вкус, запахи опьяняют их, — сказал он, — желание обвивает их, как ползучее растение, зеленое, красивое и смертоносное, обвивает дерево Шала». Следы усталости, истомы от зноя, морской качки и болезней были на серых лицах шедших к отелю. У всех вид был полумертвый, все говорили, не двигая губами, но все шли и один за другим скрывались в сумраке вестибюля, чтобы разойтись по своим комнатам, вымыться, ободриться, а потом, до красноты лица опьянив себя едой, питьем, сигарами и кофе, покатить па рикшах на берег океана, в Сады Корицы, к индусским храмам и буддийским вихарам. У каждого, у каждого в душе было то, что заставляет человека жить и желать сладкого обмана жизни! А рикше, рожденному на зем-

ле первых людей, разве не вдвойне был сладок этот обман? Мимо него шли женщины, пожилые, некрасивые, такие же длиннозубые, как его черная мать, сидевшая в далекой лесной хижине, но порою проходили и девушки, милovidные, в белых нарядах, в небольших шлемах, опутанных легкими вуалями, и, возбуждая в нем вождеделение, пристально глядели на его поднятые великолепные ресницы, на тряпку вокруг его смоляной головы и на окровавленный рот. А разве она, та, что пропала в этом городе, была хуже их? Тепло тропического солнца взрастило ее. От белой, в голубых цветочках, короткой кофты и такой же юбки, надетых па голое, чуть полное, но крепкое, небольшое тело, она казалась чернее. У нее была круглая головка, выпуклый лобик, круглые сияющие глаза, в которых детская робость уже смешивалась с радостным любопытством к жизни, с затаенной женственностью, нежной и страстной; было коралловое ожерелье на круглой шее, маленькие руки и ноги в серебряных браслетах... Вскочив с места, рикша побежал в один из ближних переулков, где в старом одно-

этажном доме под черепицей, с толстыми деревянными колоннами, был простонародный бар. Там он положил на прилавок двадцать пять центов и за это вытянул целый стакан виски. Смешав этот огонь с бетелем, он обеспечил себя блаженным возбуждением до самого вечера, до той поры, когда леса под Коломбо, наполняясь черной жаркой тьмой, таинственно зазвенят журчанием древесных лягушек, когда чащи бамбука затрепещут мириадами огненных искр.

Пьян был и англичанин, выйдя с сигарой из отеля, — глаза его были сонны, порозовевшее лицо стало как будто полнее. Поглядывая на часы и что-то думая, видимо, не зная, как убить время, он в нерешительности постоял возле отеля, потом приказал везти себя сперва на почту, где опустил в ящик три открытки, а от почты — к саду Гордона, куда даже не зашел, — только посмотрел в ворота на монумент и на аллеи, — а от сада Гордона — куда глаза глядят: к Черному Городу, к рынку в Черном Городе, к реке Келани... И пошел, пошел мотать его пьяный и с головы до ног мокрый рикша, возбужденный еще и надеждой

получить целую кучу центов. В самый истомный час послеполуденного тепла и света когда, посидев две минуты на скамье под деревом, оставляешь на ней темный круг пота, он в угоду англичанину не знавшему, как дотянуть до обеда, пробежал весь Черный Город, старый, многолюдный, пряно-пахучий, — и много видел полусонный англичанин голых цветных тел и разноцветных тканей на бедрах, много парсов, индусов, желтолицых малайцев, вонючих китайских лавок, черепичных и тростниковых крыш, храмов, мечетей и капищ, праздных матросов из Европы и буддийских монахов — бритых, худых, с безумными глазами, в канареечных тогах, с обнаженным правым плечом и опахалами из листвы священной пальмы. Рикша и его седок неслись среди этой тесноты и грязи Древнего Востока быстро, быстро, точно спасались от кого-то, вплоть до самой реки Келани, узкой, густой и глубокой, перегретой солнцем, полуприкрытой непролазными зелеными зарослями, низко склонившимися с ее берегов, любимой крокодилами, все дальше, однако, уходящими в глубь девственных лесов от

барж с соломенными сводами, нагруженных тюками чая, рисом, корицей, еще не обработанными драгоценными камнями и особенно медлительно плывущих в густом блеске предвечернего солнца... Потом англичанин приказал вернуться в Форт, уже опустевший, закрывший все свои конторы, агентства и банки, побрился в циркульне и неприятно помолодел, покупал сигары, заходил в аптеку... Рикша, мокрый, похудевший, смотрел на него уже неприязненно, глазами собаки, чувствующей приступы бешенства... В шестом часу, пробежав мимо маяка в конце Квинс-Стрит, пробежав тихие и чистые военные кварталы, он выскочил на берег океана, вольно глянувшего ему в глаза своим простором и зелено-золотистым глянцем от низкого солнца, и побежал к Невольничьему Острову.

Все отели в Форте было полны, англичанин жил в простом, за Невольничьим Островом, — и тут еще раз пробежал рикша мимо баниана, под который сел он нынче утром в жажде заработка от этих беспощадных и загадочных белых людей, в упрямой надежде на счастье. Пошли сплошные сады, каменные

ограды и голландские крыши бунгалов, низких, приземистых. Вскочив во двор одного такого бунгалов, рикша с полчаса отдыхал возле широкой террасы, пока англичанин переодевался к обеду. Сердце у него колотилось, как у отравленного, губы побелели, черты темно-коричневого лица обострились, прекрасные глаза еще больше почернели и расширились. Запах его разгоряченного тела стал неприятен — это был запах теплого чая, смешанного с кокосовым маслом и еще с чем-то, как если взять и растереть в руках кучку муравьев.

Солнце меж тем закатилось. Пожилая девушка полулежала под навесом террасы в качалке, читая при последнем свете дня молитвенник. Увидя ее с улицы, во двор бесшумно вошел немой индус из Мадур, высокий черный старик с седыми кудрями на груди и на животе, худой, как скелет, в нищенском тюрбане, в длинном переднике из ткани, бывшей когда-то красной, в желтых поперечных полосках. На руке у старика была закрытая корзина из пальмового лыка, Подойдя к террасе, он подобострастно поклонился, приложив

руку ко лбу, и присел на землю, поднимая крышку корзины. Не глядя на него, лежавшая в качалке махнула рукой. Но он уже вынимал из-за пояса тростниковую дудку. И рикша вдруг вскочил на ноги и в непонятной ярости громко крикнул на него. Вскочил и старик, захлопнул корзину и, оборачиваясь, побежал к воротам. Но у рикши еще долго были круглые глаза, — совсем как у той, страшной, которую он представил себе — медленно, тугим жгутом выползающую из корзины и с шипением раздувающую свое голубым отблеском мерцающее горло. Быстро падала темнота — уже в темноте вышел на террасу размытый, в белом смокинге англичанин. И рикша покорно кинулся к оглоблям. Была уже ночь, особенно жаркая, как всегда перед наступлением дождей, еще более пахучая, чем день. Еще гуще стал теплый и приторный аромат мускуса, смешанный с запахом теплой земли, тучной от цветочного перегноя. Так было черно среди садов, где бежал рикша, что только по тяжелому дыханию и по скудному фонарику на оглобле можно было понять, что несется впереди встречный. Потом слабо замерцала под

черными навесами деревьев гнилая лагуна, закрипели огни, длинно отражавшиеся в ней. Большой двухэтажный дом насквозь светился в этой тропической черноте прорезами окон. Во дворе было темно. Много рикш, сливавшихся с темнотой своими телами и слабо белевших передниками, набежало в этот двор с гостями. А большой, открытый на лагуну балкон сиял свечами в стеклянных колпаках, осыпанных несметной мошкаррой, блестел скатертью длинного стола, уставленного посудой, бутылками и вазами со льдом, и белел смокингами сидевших, которые немолчно, хотя и сдержанно, бормотали себе в горло, меж тем как босоногие полные слуги, похожие на нянек, шуршали голыми подошвами, прислуживая им, а громадная китайская циновка, ребром привешенная над ними к потолку, все махалась и махалась, приводимая в движение малайцами, сидевшими за стеной, не достигающей до потолка, и все веяла, веяла ветром на обедающих, на их холодные, мокрые лбы. Рикша номер седьмой подлетел к балкону. Сидевшие за столом приветствовали запоздалого гостя радостным ропотом. Гость

выскочил из колясочки и вбежал на балкон. А рикша понесся вокруг дома, чтобы опять попасть к воротам, во двор, к другим рикшам, и, обегая дом, вдруг так шарахнулся назад, точно его ударили в лицо палкой: стоя возле открытого и освещенного окна второго этажа, — в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотых широких браслетах на обнаженных руках, — на него глядела круглыми сияющими глазами его невеста, та самая девочка-женщина, с которой он уже уговорился полгода тому назад обменяться шариками из риса! Его, внизу, в темноте, она не могла видеть. Но он сразу узнал ее — и, отшатнувшись, застыл на месте.

Он не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо и сильно. Постояв с минуту, он присел на землю, под вековой смоковницей, вся вершина которой, как райское дерево, горела и трепетала россыпью огненно-зеленых искр. Он долго смотрел на черную круглую головку, на красный шелк, свободно обнимавший маленькое тело, и на поднятые, поправлявшие прическу руки той, что стояла в раме окна. Он сидел на корточ-

ках до тех пор, пока она не повернулась и не прошла в глубину комнаты. А когда она скрылась, он мгновенно вскочил на ноги, поймал на земле оглобли и, птицей пролетев через двор за ворота, опять, опять пустился бежать — на этот раз уже твердо зная, куда и зачем он бежит, и уже сам управляя своей сразу освободившейся волей.

— Проснись, проснись! — кричали в нем тысячи беззвучных голосов его печальных, стократ истлевших в этой райской земле предков. — Стряхни с себя обольщения Мары, сон этой краткой жизни! Тебе ли спать, отравленному ядом, пронзенному стрелой? Стократно страдает имеющий стократно милое, все скорби, все жалобы — от любви, от привязанностей сердца — убей же их! Недолгий срок пребудешь ты в покое отдыха, снова и снова, в тысяче воплощений, исторгнет тебя твоя эдемская земля, приют первых людей, познавших желание, но он, этот краткий отдых, все же настанет для тебя, слишком рано выбежавшего на дорогу жизни, страстно погнавшегося за счастьем и раненного самой острой стрелой — жаждой любви и новых за-

чатий для этого древнего мира, где от века победитель крепкой пятой стоит на горле побежденного!

Показались под черными навесами сросшихся вершинами деревьев огни в открытых лавочках Невольничьего Острова. Рикша жадно съел в одной из них чашечку теплого вареного риса, пересыщенного перцем, и кинулся дальше. Он знал, где живет старик из Мадуры, час тому назад приходивший во двор отеля: он жил вместе с своим племянником, при его большой фруктовой лавке, в низком доме с толстыми деревянными колоннами. Племянник, в грязной европейской одежде из полотна, с громадным колтуном черной вьющейся шерсти на голове, перетаскивал корзины с плодами в глубину лавки, морщась от дыма папиросы, прилепленной к его нижней губе. Он не обратил внимания на бешеный вид мокрого, горячего рикши. И рикша молча вскочил под навес среди столбов, ногой толкнул в глубине под ним дверку, за которой надеялся найти немого старика. В потной руке он крепко держал заветный золотой, который он еще на бегу достал из-за пе-

редника, из кожаного гамана, привешенного к поясу. И золотой быстро сделал свое дело: назад рикша выскочил с большой коробкой от сигар, перевязанной шнурком. Он запла- тил за нее большую цену, зато она была не пустая: то, что в ней лежало, билось, извива- лось, стучало в крышку тугими кольцами и шуршало.

Зачем он захватил с собой колясочку? А он таки захватил ее — и ровным, сильным ма- хом полетел на берег океана, на плац Голь-Фэ- са. Плац был пуст, далеко темнел в звездном свете. За ним были рассыпаны редкие огонь- ки Форта, и в небе медленно вращалась мут- но-зеркальная вышка маяка, кидавшая дым- ные полосы белого света только в сторону рейда. Слабый прохладный ветер тянул с оке- ана, ровный, сонный шум которого был чуть слышен. Добежав до побережья, до середины дороги, рикша в последний раз бросил тон- кие оглобли, в которые рано, но ненадолго впрягла его жизнь, и сел уже не на землю, а на скамью, сел смело, как резидент.

Он, отдавая индусу целый фунт, требовал самую маленькую и самую сильную, самую

смертоносную. И она была, — помимо того, что сказочно-красива, вся в черных кольцах с зелеными каемками, с голубой головой, с изумрудной полосой на затылке и траурным хвостом, — она была, при всей своей малости, необыкновенно сильна и злобна, а теперь, после того, как её помотали в деревянной пахучей коробке, особенно. Она, вероятно, как стальная, пружинила, извивалась, шуршала и стучала в крышку. И он быстро развязал, распутал шнурок... Впрочем, кто узнает, как именно сделал он свое страшное дело? Известно лишь то, что укус ее огненно жгуч и с головы до ног пронзает все тело человека несказанной болью, такой, что после него даже обезьяны раздражаются рыданиями. И нет сомнения, что, ощутив этот огненный удар, рикша колесом перевернулся на скамье, и коробка полетела от него в сторону. А затем тотчас же распахнулась под ним бездонная тьма, и все понеслось перед его глазами куда-то вкось, вверх: и океан, и звезды, и огни города.

Шум океана хлынул ему в голову — и сразу оборвался: глубокий обморок бывает всегда после этого удара. Но вслед за обмороком

человек всегда быстро приходит в себя, как будто только затем, чтобы его тяжело, с кровью стошнило — и опять повергло в небытие. Их, этих обмираний, бывает несколько, и каждое из них, ломая человека, перехватывая ему дыхание, частями уносит человеческую жизнь, человеческие способности: мысль, память, зрение, слух, боль, горе, радость, ненависть — и то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью, жаждой вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то.

-

Дней через десять, в темные, жаркие сумерки перед грозой, к большому русскому пароходу, готовому отплыть в Суэц, две пары гребцов гнали в гавани Коломбо шлюпку, в которой полулежал седок рикши номер седьмой. Пароход уже гудел от грохота якорной цепи, когда, выскочив возле громадной железной стены пароходного бока, взбежал он по длинному трапу на палубу. Капитан сперва наотрез отказался принять его: пароход грузовой, заявил он, агент уже уехал, — это невозможно. «Но я чрезвычайно, чрезвычай-

но прошу вас!» — возразил англичанин. Капитан с удивлением взглянул на него: на вид крепок, энергичен, но на лице налет нездорового загара, а глаза за блестящими очками стоячие, как будто ничего не видящие и беспокойные. «Подождите до послезавтра, — сказал капитан, — послезавтра будет немецкий почтовый пароход». — «Да, но провести еще две ночи в Коломбо мне очень трудно, — ответил англичанин. — Этот климат изнуряет меня, я болен. Я измучен этими цейлонскими ночами, бессонницей и всем тем, что чувствует всякий нервный человек перед заходящими грозами. А взгляните на эту тьму, на тучи, заступившие все горизонты: ночь опять будет ужасная, период дождей, собственно, уже начался». И, пожав плечами, подумав, капитан уступил. И через минуту топкие, как ужи, сингалезы уже тащили по трапу сундук в черной лакированной коже, весь испещренный разноцветными этикетками отелей и помеченный красными инициалами.

Свободная докторская каюта, которую предложили англичанину, была очень тесна и душна. Но англичанин нашел ее прекрас-

ной. На скорую руку разложивши в ней вещи, он вышел через столовую на верхнюю палубу. Все быстро тонуло в темноте. Пароход уже снялся и поворачивал к открытому морю. Справа как бы плыли на него другие пароходы, огни на мачтах, огни Форта. Слева, из-под высокого борта, зыбко неслась к низменному берегу, к складам угля и к черной гуще тонкоствольных кокосовых лесов гладь темной воды, еще отражавшей тьму и печаль туч, и своим зыбким стремлением кружила голову. Все меняя направление, все туже дул откуда-то влажный, тошнотворно-благовоновый, мягкий ветер. Внезапно молчаливые тучи распахнулись такой бездной бледно-голубого света, что в самой глубине лесов мелькнули озаренные им стволы пальм, бананов и хижины под ними. Англичанин испуганно моргнул, оглянулся на плывущий уже слева от него бледный мол с красным огоньком на конце, на свинцовую даль океана за молотом — и быстро пошел назад, в каюту.

Старик-лакей, человек злой от усталости, без нужды подозрительный и наблюдательный, несколько раз заглядывал перед обедом

за ее занавеску. Англичанин сидел в складном холщовом кресле, держа на коленях толстую тетрадь в кожаном переплете, писал в ней золотым пером, и выражение его лица, когда он поднимал его, блестя очками, было и тупо и вместе с тем удивленно. Потом, спрятав перо, он задумался, как бы слушая шум и шорох волн, тяжело несущихся за стеной каюты. Лакей прошел мимо, мотая громко звенящим колокольчиком. Англичанин встал и догола разделся. С ног до головы обтершись губкой, насыщенной водой с одеколоном, он выбрился, подровнял короткие толстые усы, причесал щечками свои черные волосы на косой ряд, надел свежее белье, смокинг и пошел к обеду с обычным своим решительным, солдатским видом.

Моряки, уже давно сидевшие за столом и бранившие его за опоздание, встретили его преувеличенно любезно, друг перед другом щеголяя знанием английского языка. Он ответил им сдержанной, но не меньшей любезностью и поспешил сказать, что ему очень нравится русский стол, что он был в России, в Сибири... что он вообще много путешествовал и

всегда прекрасно переносил путешествия, чего, однако, нельзя сказать о его последнем пребывании в Индии, на Яве и на Цейлоне: тут он захворал печенью, расстроил себе нервы, дошел даже до странностей — вот вроде той, которую он проявил час тому назад, так неожиданно явившись на пароход... За кофе он угощал моряков коньяком и ликерами, принес коробку толстых египетских папирос и поставил ее на стол открытой, для общего пользования. Капитан, человек с умными и твердыми глазами, во всем старающийся быть европейцем, завел речь о колониальных задачах Европы, о японцах, о будущем Дальнего Востока. Внимательно слушая, англичанин возражал, соглашался. Говорил он складно и не просто, а так, точно читал хорошо написанную статью. И порою внезапно смолкал, еще внимательнее прислушиваясь к шороху волн за открытыми дверями. От грозы ушли. Давно потонула в черном бархате долго переливавшая алмазами цепь огней Колумбо. Теперь пароход был в безграничной тьме, в пустоте океана и ночи. Столовая помещалась на палубе, под капитанским мости-

ком. И тьма резко чернела в открытых дверях и окнах, стояла и глядела в ярко освещенную столовую. Влажно дуло из этой тьмы — влажным, свободным дыханием чего-то от века свободного — и свежесть, доходя до сидящих за столом, давала им чувствовать запах табачного дыма, горячего кофе и ликеров. Но порою свет электричества вдруг падал — двери, окна мелькали бледно-синими квадратами: беззвучно и несказанно широко распахивалась вокруг парохода голубая бездна бездн, блистала текучая зыбь водных пространств, угольной чернотой заливало горизонты — и оттуда, как тяжкий ропот самого творца, еще погруженного в довременный хаос, доходил глухой, мрачный и торжественный, все до основания потрясающий гул грома. И тогда англичанин как бы каменел на минуту.

— В сущности, это страшно! — сказал он своим мертвенным, но твердым голосом после одного особенно ослепительного сполоха. И, встав с места, подошел к двери, зиявшей темнотой. — Очень страшно, — сказал он, как бы разговаривая сам с собой. — И страшнее всего то, что мы не думаем, не чувствуем и не

можем, разучились чувствовать, как это страшно.

— Что именно? — спросил капитан.

— А вот хотя бы то, — ответил англичанин, — что под нами и вокруг нас бездонная глубина, та зыбкая хлябь, о которой так ужасно говорит Библия... О, — строго сказал он, взглядываясь в темноту, — и вблизи и вдали, всюду загораются борозды зеленой огненной пены, и чернота вокруг этой пены черно-лиловая, цвета воронова крыла... Это очень жутко — быть капитаном? — серьезно спросил он.

— Нет, почему же, — ответил капитан с притворной небрежностью. — Дело ответственное, но... Все зависит от привычки...

— Скажите лучше — от нашей тупости, — сказал англичанин. — Стоять вон там, на вашем мостике, по бокам которого мутно глядят сквозь толстое стекло два этих больших глаза, зеленый и красный, и идти куда-то в тьму ночи и воды, простирающейся на тысячи миль вокруг, — это безумие! Но, впрочем, не лучше, — прибавил он, опять заглядывая в двери, — не лучше и лежать внизу, в каюте,

за тончайшей стеной которой, возле самой твоей головы, всю ночь шумит, кипит эта бездонная хлябь... Да, да, разум наш так же слаб, как разум крота, или, пожалуй, еще слабей, потому что у крота, у зверя, у дикаря хоть инстинкт сохранился, а у нас, у европейцев, он выродился, вырождается!

— Однако кроты не плавают по всему земному шару, — усмехаясь, ответил капитан. — Кроты не пользуются паром, электричеством, беспроволочным телеграфом... Вот хотите — я буду сейчас говорить с Аденом? А ведь до него десять дней ходу.

— И это страшно, — сказал англичанин и строго взглянул сквозь очки на засмеявшегося механика. — Да, и это очень страшно. А мы, в сущности, ничего не боимся. Мы даже смерти не боимся по-настоящему, ни жизни, ни тайн, ни бездн, нас окружающих, ни смерти — ни своей собственной, ни чужой! Я участник бурской войны, я, приказывая стрелять из пушек, убивал людей сотнями — и вот не только не страдаю, не схожу с ума, что я убийца, но даже не думаю о них никогда.

— А звери, дикари — думают? — спросил

капитан.

— Дикари верят, что так надо, а мы нет, — сказал англичанин и замолчал, пошел ходить по столовой, стараясь ступать тверже.

Сполохи, уже розовые, мелькавшие по звездам, слабели. Ветер дул в окна и двери сильнее и прохладнее, черная тьма за дверями шумела тяжелее. Большая раковина, пепельница, ползала по столу. Чувствовалось под неприятно слабеющими ногами, как снизу что-то нарастает, приподнимает потом валит на бок, расступается — и пол все глубже уходит из-под ног. Моряки, допив кофе, накурившись, сдерживая зевок и поглядывая на своего странного пассажира, посидели, помолчали еще несколько минут, потом, желая ему покойной ночи, стали братья за фуражки. Остался один капитан. Он курил и водил за англичанином глазами. Англичанин, с сигарой, качаясь, ходил от двери к двери, раздражая своей серьезностью, соединенной с рассеянностью, старика-лакея, убиравшего со стола.

— Да, да, — сказал он, — нам страшно только то, что мы разучились чувствовать страх!

Бога, религии в Европе давно уже нет, мы при всей своей деловитости и жадности, как лед холодны и к жизни и к смерти: если и боимся ее, то рассудком или же только остатками животного инстинкта. Иногда мы даже стараемся внушать себе эту болезнь, увеличить ее — и все же не воспринимаем, не чувствуем в должной мере... вот, как не чувствую и я того, что сам же назвал страшным, — сказал он, показывая на открытую дверь, за которой шумела черная темнота, уже высоко поднимавшая с носа и валившая скрипящий переборками пароход то на один, то на другой бок.

— Это на вас Цейлон так подействовал, — заметил капитан.

— О, несомненно, несомненно! — согласился англичанин. — Мы все, — коммерсанты, техники, военные, политики, колонизаторы, — мы все, спасаясь от собственной тупости и пустоты, бродим по всему миру и силится восхищаться то горами и озерами Швейцарии, то нищетой Италии, ее картинами и обломками статуй или колонн, то бродим по скользким камням, уцелевшим от каких-то амфитеатров в Сицилии, то глядим с

притворным восторгом на желтые груды Акрополя, то присутствуем, как при балаганном зрелище, при раздаче священного огня в Иерусалиме, платим бешеные деньги за то, чтобы терпеть мучения от проводников и блох в могильниках и глиняных капищах Египта, плывем в Индию, в Китай, в Японию — и вот только здесь, на земле древнейшего человечества, в этом потерянном нами эдеме, который мы называем нашими колониями и жадно ограбляем, среди грязи, чумы, холеры, лихорадок и цветных людей, обращенных нами в скотов, только здесь чувствуем в некоторой мере жизнь, смерть, божество. Здесь, оставшись равнодушным ко всем этим Озирисам, Зевсам, Аполлонам, к Христу, к Магомету, я не раз чувствовал, что мог Ой поклоняться разве только им, этим страшным богам нашей прародины, — сторукому Бrame, Шиве, Дьяволу, Будде, слово которого раздавалось поистине как глагол самого Мафусаила, вбивающего гвозди в гробовую крышку мира... Да, только благодаря Востоку и болезням, полученным мной на Востоке, благодаря тому, что в Африке я убивал людей,

в Индии, ограбляемой Англией, а значит, отчасти и мною, видел тысячи умирающих с голоду, в Японии покупал девочек в месячные жены, в Китае бил палкой по голове беззащитных обезьяноподобных стариков, на Яве и на Цейлоне до предсмертного хрипа загонял рикш, в Анарадхапуре получил в свое время жесточайшую лихорадку, а на Малабарском берегу болезнь печени, — только благодаря всему этому я еще кое-что чувствую и думаю. Те страны, тех несметных людей, что еще живут или младенчески-непосредственной жизнью, всем существом своим ощущая, и бытие, и смерть, и божественное величие Вселенной, или уже прошли долгий и трудный путь, исторический, религиозный и философский, и устали на этом пути, мы, люди нового железного века, стремимся поработить, поделить между собою, и называем это нашими колониальными задачами. И когда этот дележ придет к концу, тогда в мире опять воцарится власть какого-нибудь нового Тира, Сидона, нового Рима, английского или немецкого, повторится, непременно повторится и то, что предрекли Сидону, возомнив-

шему себя, по слову Библии, богом, иудейские пророки, Риму — Апокалипсис, а Индии, арийским племенам, поработившим ее, — Будда, говоривший: «О, вы, князья, властвующие, богатые сокровищами, обращающие друг против друга жадность свою, ненасытно потворствующие своим похотям!» Будда понял, что значит жизнь Личности в этом «мире бывания», в этой Вселенной, которой мы не постигаем, — и ужаснулся священным ужасом. Мы же возносим нашу Личность выше небес, мы хотим сосредоточить в ней весь мир, что бы там ни говорили о грядущем всемирном братстве и равенстве, — и вот только в океане, под новыми и чуждыми нам звездами, среди величия тропических гроз, или в Индии, на Цейлоне, где в черные знойные ночи, в горячечном мраке, чувствуешь, как тает, растворяется человек в этой черноте, в звуках, запахах, в этом страшном Всеединном, — только там понимаем в слабой мере, что значит эта наша Личность... Знаете ли вы, — сказал он, остановившись и блестя очками на капитана, — буддийскую легенду?

— Какую? — спросил капитан, уже тайком

зевнувший и посмотревший на часы.

— А вот какую: ворон кинулся за слоном, бежавшим с лесистой горы к океану; все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны — и ворон, томимый «желанием», пал за ним и, выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из волн, опустился на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидел, что отнесло его на этой туше далеко, туда, откуда даже на крыльях чайки нет возврата, — и закричал жалким голосом, тем, которого так чутко ждет Смерть... Ужасная легенда!

— Да, это ужасно, — сказал капитан.

Англичанин замолчал и опять пошел от двери к двери. Из шумящей темноты слабо донеслись отрывистые, печальные звуки второй склянки. Капитан, посидев из приличия еще пять минут, поднялся, пожал руку англичанину и пошел в свою большую покойную каюту. Англичанин, что-то думая, продолжал ходить. Лакей, протомившись в буфете еще с полчаса, вошел и с сердитым лицом стал тушить электричество, оставил только один рожок. Англичанин, когда лакей скрылся, подо-

шел к стене, потушил и этот рожок. Сразу пал мрак, шум волн сразу стал как будто слышнее, и сразу раскрылись в окнах звездное небо, мачты, реи. Пароход скрипел и лез с одной водяной горы на другую. Он размахивался все шире, поднимаясь и опускаясь, — и в снастях широко носились, летая то в бездну кверху, то в бездну книзу, Канопус, Ворон, Южный Крест, по которым еще мелькали розовые сполохи.

Капри. 1914

Клаша

Клаша Смирнова кончала в уездном городе Быкове гимназию, когда неожиданно умерла тетка, воспитавшая ее, Любовь Лукьяновна Жемчужникова, кружевница и содержательница постоянного двора на Монастырской площади. Ивана Ивановича Жемчужникова в живых давно не было, Клаша осталась в эту весну круглой сиротой. Однако, по природе тихая и нежная, выросшая в полном повиновении тетке, она ничуть не растерялась. Справив похороны, она посоветовалась с Павлом Ивановичем Жемчужниковым, дьяко-

ном, и обстоятельно написала в губернский город Алексею Лукьяновичу Нефедову, брату умершей, ее единственному наследнику. Но Нефедов не отозвался на письмо, и месяца два Клаше было трудно.

Всегда странно было ее положение. Все подруги ее по гимназии хорошо знали, что живет она, сирота, дочь неизвестного отца, из милости, среди приезжающих и уезжающих мужиков и прасолов, ест с деревянного круга требуху с хреном, ночует при лампадке и отворенных дверях в кухню, где спят постояльцы и кухарка, где тараканы и лохань с помоями, в которую нею ночь медлительно каплет вода из медного рамонойника; все знали это и дивились: живет в таком грубом быту, а нежна, хороша собой, ходит в гимназию в коричневом платьице и белых воротничках, учится французскому, делает реверансы начальнице, которая всегда приветлива с ней, но неизменно провожает ее долгим, неприятно-внимательным взглядом и втайне раздражается на нее даже за то, в чем она ни сном, ни духом не повинна, — за то, что второй год влюблен в нее молодой законоучитель, за-

стенчивый батюшка с каштановыми вьющимися волосами и большими пугливыми ресницами... Теперь положение стало еще странное: нужно было и в гимназию ходить, рассуждать там о древнерусской письменности или о типе Онегина, и в то же время, пользуясь только кое-какими советами дьякона, человека очень осторожного и уклончивого, уже самостоятельно править постоялым двором, толковать с кухаркой об обедах и ужинах для постояльцев, спорить с ними о цене на халуй, на овес, на сено и мучительно долго рассчитываться, проверять хромого дворника и думать, напоили ли корову, сыты ли свиньи... Но вот Нефедов, два месяца не отвечавший на ее письмо, неожиданно явился в Быков самолично — затем, чтобы везти ее к себе.

Был жаркий день, уже давно купались и купали лошадей в реке мещане, разъехались гимназисты на каникулы, отцвела сирень в монастырском саду, и цвела рожь в полях за монастырем; постоялый двор был тих и пуст, исхудавшие без призора свиньи ревели с голоду в своей жаркой закуте, с ногами лезли в

пустое, измазанное засохшим тестом корыто; Клаша, гремя от скуки коклюшками, сидела в тени у раскрытого окна, в которое горячо дышала сушью и зноем безлюдная и пыльная Монастырская площадь; как вдруг возле ворот остановилась новая, с резным передком телега, и с ее грядки неловко слез невысокий седой старик в картузе и поддевке, немного схожий с Толстым: завиваются из-под картуза матово-серебряные волосы, супятся под козырьком бугристые брови, еще густые, но уже серые, велики мясистые бледные уши, старчески худа шея и суха, обтрепана, легка раскидистая борода.

— А я за тобой, за тобой, — сказал он, даже не поздоровавшись, только мельком взглянув на Клашу маленькими водянистыми внимательными глазками. — Будет, поучилась, пора в свет выезжать, кальеру делать, — сказал он вдруг неприязненно и насмешливо, привыкнув всю жизнь играть, кому-то подражать, и повел загремевшую по камням телегу во двор, неуклюже ступая растоптанными сапогами. И Клаша, никогда не выдавшая его, только много о нем слышавшая, знавшая, что

он столь же любил ее несчастную мать, сколь не любил счастливую Любовь, вдруг вся вспыхнула от радости, от нежности к этому старику, к его бороде, худой шее и слабой старческой груди под розовой косовороткой, живо вскочила с места и выбежала к нему на жаркое крыльцо.

В числе привычек Нефедова была привычка удивлять неожиданными поступками, неожиданными словами, была манера уезжать из дома внезапно. Куда и зачем он едет, он домашним никогда не говорил, а спрашивать его не спрашивали, — остался страх от прежнего времени. Когда-то он свято верил, что расспросы — гибель для задуманного дела: «Закудакали — добра не будет». Под старость он не верил ни во что, и власть его к тому времени совсем ослабела, — своей волей стали жить и жена его Раиса Матвеевна, и сын Ефрем и дочь Мариша, а он свою волю проявлял редко. Но когда проявлял, то, опять-таки по привычке, проявлял твердо, и ему уж не перечили. Так было и на этот раз: никому ни слова ни говоря, Нефедов, после двухмесячного раздумья, вдруг решил ехать в Быков,

чтобы взять Клашу к себе, и так и поступил, и всю дорогу зачем-то шел пешком, притворялся жадным стариком-мужиком.

В Быкове он расправился с делами, как он сам выразился, по-суворовски, в два дня: расчел дворника, кухарку, за бесценок продал на сальни свиней, за бесценок уступил дьякону весь домашний скарб, закрыл окна, запер на рыжий громадный замок ворота, прилепив к ним билетик: «Сей постоялый двор продается», взял с собой только клетку с цыплятами и, перекрестясь, тронулся домой.

— А вы мне, дядечка, очень нравитесь, — сказала, садясь в телегу, Клаша, удивившая его за эти дни своим спокойствием, соединенным с наивными вспышками радости.

— Ага! — ответил польщенный Нефедов. — Старая кобыла борозды никогда не испортит, — похвастался он, хотя Клаша много раз слышала от покойной тетки, что давно испорчена вся жизнь его, что он, весь век норотивший жить по-хорошему, установленному, устроиться возможно прочнее, по своим собственным, сто раз продуманным предначертаниям, прожил как попало, по чьей-то чу-

жой воле, что семейный лад его, при самом своем начале, был разбит изменой Раисы Матвеевны, жившей с барином, у которого он был крепостным человеком.

Выехали по холодку, когда звонили ко все-нощной, на блеск низкого солнца, и, оглянувшись на пыльный город, на его каланчу, Клаша перекрестилась, по-детски вздохнула и оправила платье, усаживаясь получше. Пока не стемнело, кой о чем разговаривали, потом стали дремать. Ночью разразился ливень с грозой, — еще в сумерках все сверкало в тучах на востоке, — по дорогам образовалась страшная грязь, и крепкая лошадь Нефедова едва тащила тяжелую, хотя и с излишком подмазанную телегу. Телега поскрипывала, качалась и укачивала Клашу, спавшую под кожей, вопле прикрытой веретьем клетки с цыплятами. А Нефедов, одолевая сон и старость, всю ночь крепился, играл в прежнего, хозяйственного и упрямого Нефедова: сидел, в мокрой чуйке, в мокром картузе, на краешке грядки, на изволок бежал возле колеса, закатавшегося в жирную грязь и в травы, поспешал за надувавшейся, мокрой и потной

лошадью, на бегу подвязывал ей узлом хвост... Вблизи города стало светать, дождь перестал. Клаша очнулась и, взглянув из-под отяжелевшей кожи, вздохнула сладкой полевой сыростью, услышала шорох колес, воды и грязи, увидала сквозь редевший влажный сумрак бледную холодную на вид зелень прилегших к земле хлебов, втулку вертящегося колеса, всю осыпанную жемчугом — крупными каплями воды, свертывавшейся на маслянистом дегте...

— Это вика? — спросила она, разумея гороховое поле, мимо которого ехали.

— Вика — трава для скотины, — сказал Нефедов, шагавший возле ее головы. — Это, сударыня моя, горох. А тебе-то что?

Но Клаша не отозвалась — она опять крепко заснула. А когда въехали в город и опять потемнело, опять пошел сильный дождь и стал громыхать гром, да еще страшней, раскатистой, как всегда на рассвете да еще над камнем, над городом, она, накрывшись кожей, спала уже сидя, но, хотя и спала, все видела, как неживая, — видела предрассветные бледно-фиолетовые молнии, освещавшие черные

крыши домов, на которых младенчески кричали от страха кошки, высокую колокольню, мелькавшую своей белизной при молниях, галок, кружившихся над крестом, а потом улицу, выходящую в поле, какие-то заборы и шумящие за ними липы. Цыплята пищали, все проснулись, лезли друг на друга, а Клаша сидела и спала. Нефедов долго вглядывался сумрачными от усталости глазами в ее лицо, сперва с удивлением, потом даже с некоторым страхом, и наконец пробормотал:

— Да что-й-то ты, господи, я таких и сроду не видывал! Ты спишь, что ли?

Клаша, бледная и странно тихая, слабо улыбнулась, но как-то так, что выражение ее неподвижных глаз ничуть не изменилось, и тупо сказала:

— Вы не бойтесь. Это у меня, когда я разоплюсь, бывает.

Сонная, она видела немощеную широкую улицу, выходящую в поле, старые усадьбы, похожие на деревенские, из которых самая большая принадлежала помещику Страхову, — «прежнему нашему господину», — сказал Нефедов, кнутом указывая на высокий

черный сад и на большой бревенчатый дом дикого цвета, глядевший на улицу чистыми стеклами. Проехав этот дом, телега остановилась возле маленького поместья, возле тесовых ворот. Над ними вился на тесте белый конский хвост, — нечто степное, азиатское, — а к ним примыкал тоже азиатский какой-то домик: его стена, та, что выходила на улицу, была глухая, без окон. Нефедов ушел в калитку, потом отворил изнутри ворота, и телега въехала во двор, устанный навозом, по которому со степной яростью носилась по рыскалу, гремела цепью желтая широкогрудая собака. Клаша слезла по колесу с телеги, поднялась на длинное деревянное крыльцо, на которое глядели из-под навеса три окна. На пороге стояла высокая женщина с черной и, как показалось Клаше, красивой головой. Клаша ласково и тихо, как неживая, поздоровалась с ней и, пройдя по еще темному, теплому дому туда, куда ей указали, легла на постель и опять заснула.

В одиннадцатом часу вся нефедовская семья, уже сходявшая по случаю воскресенья к обедне, сидела на крыльце за самоваром, слу-

шая Нефедова, который, в круглых серебряных очках, очень хорошо умещавшихся в его больших глазных впадинах, пил чай с молоком и рассказывал о своей поездке, а Клаша все еще спала, и в открытом окне ее комнаты медленно дулась от ветра белая занавеска. Нефедов в церкви не был, — он, очень набожный, но не любивший духовенства, всегда осуждавший его за коростолубие и поспешность при исполнении служб, читал обедню дома, в своем чистом полутемном зальце, где было много церковных книг, образов старого письма, медных складней и стоял аналой. Утомленный бессонной ночью и чтением вслух, он рассказывал подробно, невыразительно, и путем слушала его только дочь, скромная на вид, стройная и небольшая, с твердыми ушками, полуприкрытыми сухими каштановыми волосами. Сын, высокий, гнутый, лепил бумажного змея, и его стоячие, близко друг к другу посаженные глаза ничего не выражали, кроме внимания к своему делу; он, преданный матери, всегда целовавший по утрам ее руку, ходивший с ней к обедне, за покупками, делавший ей бумажные цветы на

образа и на лампы, к отцу был всегда невнимателен. А Раиса Матвеевна, — крупная, худая, с маленькой черно-глянцевитой головой, с длинными, редкими зубами, — мыла чашки и смотрела своими неприятными глазами на самовар: она уже с раздражением думала о заспавшейся Клаше. И вдруг щеколда в калитке стукнула, и как раз в ту самую минуту, когда на крыльцо вышла Клаша, наконец проснувшаяся и бесшумно умывавшаяся за белой занавеской своего окна, во двор вошел Модест Страхов.

Он тоже заспался в это утро, как всегда, впрочем: покоен был его большой дом, тих кабинет, выходивший окнами во двор, широка кровать красного дерева, стоявшая под старинной, чуть не всю стену занимавшей картиной, — под смуглой нагой Сусанной с милым овальным лицом, стыдливо и грациозно выходившей из мраморного водоема. Страхов, старый вдовец, живший в имении, верстах в пяти от города, никогда ни в чем не стеснял Модеста, давал ему во всем полную свободу, и Модест пользовался ею. Кое-как одолел он гимназию, университета не кон-

чил, хотя и не вышел из него, а просто забыл о нем, приехав на Святки из Москвы и увлекшись катком и любительскими спектаклями. Теперь он часто ходил к Нефедовым, и все дивились, зачем он бывает в этом скучном доме, в семье бывшего отцовского крепостного. Он был среднего роста, держался прямо, в одежде соблюдал щегольство, опрятность; чесался на прямой ряд и тоже очень тщательно, — ровно проложен был пыльный пробор в его черных крупных волосах, тускло блестевших от фиксажура; брился по-актерски, и щеки у него были всегда голубые. Беспокойны были его коричневые глаза, но правильные черты лица оживлялись редко: тогда у него слегка дрожали руки, дрожали пальцы, которыми он всегда поправлял батистовый траурный платочек, углом торчавший из кармана его пиджака на левой стороне груди. Втайне гордясь знатностью своего рода, он занимался геральдикой и до смешного был сведущ в ней. Старик Нефедов его боялся, но проще всего Модест вел себя именно у него в доме. Он был на «ты» с Ефремом и Маришей, которую всегда стесняло это. С напускной непринуж-

денностью обращалась с ним одна Раиса Матвеевна.

Он вошел во двор, поднялся на крыльцо, всем пожал руки, обернулся к Клаше.

— А это, позвольте вам представить, моя племянница, — сказала Раиса Матвеевна не то насмешливо, не то церемонно.

И он особенно вежливо наклонил перед Клашей свой напыженный пробор и слабо коснулся ее прохладной отводки руки. Потом взглянул ей в глаза, быстро окинул всю ее фигуру: со сна, с темным румянцем на щеках и темным блеском глаз, в беленькой кофточке, такой легкой, что в рукавах розово сквозили предплечья, она была свежа, хороша, — он живо почувствовал это. И она чуть смешалась и сбежала по ступенькам на густой навоз двора. Он поспешил заговорить с Ефремом, а она, щурясь, подняла глаза на небо и радостно сказала, ни к кому не обращаясь:

— Ах, боже мой, как уже поздно!

Погода разгуливалась; тепло солнца, скрытого за облаками, доходило до лица, до рук. В небе пели невидимые жаворонки, серо-жемчужные облака высоко плыли над улицей, по

которой тянуло легким, влажным воздухом и запахом цветов с поля, а в страховском саду, глядевшем из-за забора, ровно лепетала серебристая листва осин. И велик, живописен показался Клаше этот сад, темный, сырой внутри, в глубине, где на столетних липах вили гнезда ястреба, а под мшистыми елями зеленели и гнили скамьи, на которых уже давно не сидел никто...

Рим. 24 марта. 1914

Архивное дело

Этот потешный старичок, по фамилии Фисун, состоял в нашей губернской земской управе архивариусом. Нас, его молодых сослуживцев, все потешало в нем: и то, что он архивариус, и не только не находит смешным это старомодное слово, а, напротив, понимает его очень высоко, и то, что его зовут Фисуном, и даже то, что ему за восемьдесят лет. Он был очень мал ростом, круто гнул свою сухую спинку, носил престранный костюм: длинный базарный пиджак из чего-то серого и громадные солдатские сапоги, в прямые и широкие голенища которых выше колен уходили

его тонкие, на ходу качавшиеся ножки. Он очень плохо слышал, — «сего Хвисуна хоть под колокол подводи!» — говорили управские сторожа, с хохлацкой насмешливостью поглядывали на его большие и всегда холодные восковые уши; он тряс от старости головой, голос имел могильный, рот впалый, и ничего, кроме великой усталости и тупой тоски, не выражали его выцветшие глаза. Прибавьте к этому еще и облезлую смушковую шапку, которую Фисун натягивал на голову ниже ушей, боясь, что в них надует и уж совсем лишит его слуха, прибавьте толстые морщины на сапогах, — фигура-то получится и впрямь потешная. Но мало того, — такой потешной наружности и характер соответствовал потешный.

Секретарь, бывший семинарист, недаром называл Фисуна Хароном. Фисун, как я уже сказал, был убежденнейший архивариус. Служить он начал лет с четырнадцати и служил исключительно по архивам. Со стороны ужаснуться можно было: чуть не семьдесят лет просидел человек в этих сводчатых подземельях, чуть не семьдесят лет прошмыгал в их

полутемных ходах и все подшивал да присургучивал, гробовыми печатями припечатывал ту жизнь, что шла где-то наверху, при свете дня и солнца, а в должный срок нисходила долу, в эту смертную архивную сень, грудями пыльного и ужо ни единой живой душе не нужного хлама загромождая полки! Но сам-то Фисун не находил в своей судьбе ровно ничего ужасного. Напротив: он полагал, что ни единое человеческое дело немислимо без архива.

— А ежели справка понадобится? — говорил он и твердо был уверен, что фраза эта неотразима.

В подземелье, до сводов заваленном докладами и отчетами, сидел в ту пору и я, ближайший сосед Фисуна, библиотекарь управы, тоже, значит, Харон в некотором роде. Но ведь я сидел всего третий год, а не шестьдесят пятый; я получал, ничего не делая, почти тридцать девять рублей и все был недоволен. А Фисун изнурялся в трудах и заботах с раннего утра до самого вечера, получал тринадцать с полтиной и даже терялся, не зная, куда девать такую уйму золота, — настолько были

ограничены его житейские потребности. Два рубля в месяц зарабатывал он при начале своего служебного поприща в архиве опекунского совета, и то благодарил бога, а если и «не чуял ног под собой от радости», достигнув после десятилетней службы в сиротском доме четырех рублей с копейками, то не чуял вовсе не из корысти: единственно потому, что это был оклад уже не мелкой сошки, а полного господина архивных недр, оклад архивариуса.

В управе он служил чуть не с первого дня ее существования. И как служил! Не знаю, когда он просыпался. Но думаю, что не позднее четырех утра, потому что жил он очень далеко, не в городе, а за городом, в голубой хатке среди оврагов предместья, шаркал своими расчищенными сапогами и переставлял костыль очень медленно и все-таки являлся в управу ровно в шесть. Бывало, еще солнце не успеет нагреть тенистых и росных садов, еще плавно и гордо вихляются по деревянным «пешеходам» грудастые хохлушки с коромыслами через плечо, с махотками молока и кошелками вишен, еще пуст базар и по-утрен-

нему чисты, белы улицы, а он, в своем башлыке и болотных сапогах, уже поспешает. Сторожа, которых будил он стуком в дверь управы, не раз выскакивали на подъезд с твердым намерением надавать ему в шею; да ведь все-таки был он не простой человек, не свой брат сторож, а архивариус. Сторожа ругали, стыдили его; но он был упрям — и таки добился, что они смирились, привыкли к его стуку ни свет ни заря.

При таком служебном рвении, можете себе представить, когда он покидал управу! Вот уже кончается долгий летний день, ушли из управы не только столоначальники, но даже самые последние писцы, и гулко раздаются в пустых отделениях свободные голоса сторожей, грохот передвигаемых столов и стульев, а Фисун все еще бродит в своих темных владениях, в дугу согнув свою худую спину держа в бледной, обезображенной ревматизмом руке пылающий огарок и заботливо осматривая полки с кипами дел; плавает над городом, в блеске опускающегося солнца дрожащий бас соборного колокола, призывая инвалидов и старух к вечерне; ложатся тени от крыш и

садов, и усаживаются благодушествовать у раскрытых окон пообедавшие и вздремнувшие горожане; а Фисун только еще голову башлыком закутывает и стучит костылем в пол, распекая своего подчиненного — за то, что тот опять явился сегодня в управу чуть ли не в семь часов, чуть не на целый час позже своего прямого начальства.

— Я бачу, бачу ваше поведэніе! — глухо кричит он, стоя возле входа в архив, под широкой лестницей, ведущей во второй этаж, и глядит с тоской, злобой и старческой растерянностью.

Да, как этот ни смешно, у Фисуна тоже был подчиненный! И этот подчиненный пресерьезно называл его иногда тираном, и, что всего странней, не без основания: характер у Фисуна был не легкий. Все управские старики, кое-что знавшие о личной жизни Фисуна, в один голос утверждали, что он и в семье тиран: что он весь век держит в истинно ежовых рукавицах свою жену, робкую и беззаветно преданную ему старушку, кое-чем торгующую на базаре, что она слова лишнего не смеет пикнуть при нем и все-таки с самой трога-

тельной заботливостью, до седьмого пота начищает каждое утро его сапоги на пороге своей хаты. Как же мог после этого не бояться Фисуна вышеупомянутый подчиненный его, Луговой? Фисун шамкает, горбится от раздражения все круче, почти касаясь хвостом пиджака сапожных голенищ, и крепко стучит костылем, а тот, хотя и хмурится, да все-таки молчит, не поднимает глаз. Это был большой и угрюмый хохол, коренастый мужик в люстриновом костюме, долго работавший на почте по части зашивания и штемпелевания посылок и наконец попавший в управу на пост «помощника архивариуса». Он одним щелчком мог пришибить Фисуна, но ведь давно известно, что сила не в самой силе, а в той власти, с которой связана она. А что Фисун облечен был властью, что Фисун чувствовал себя очень строгим начальником и заражал Лугового своим чувством, в этом не было ни малейшего сомнения. Говоря по совести, дел (и совсем не спешных) было в архиве очень мало, но Фисун отличался удивительным умением находить их и работал так кропотливо, что работы и забот оказывалось всегда по гор-

ло. И он упивался ими, он замучивал Лугового особенно осенью, перед земскими собраниями, когда в управе шли вечерние занятия, в которых для архива не было ни малейшей необходимости и которые тем не менее Фисун «назначал» неукоснительно.

Само собой разумеется, что далеко не всегда, — и, прежде всего, по причине своей глубокой старости, — ощущал он себя носителем власти. Да и умалялась она сторожами, которые часто орали на него, находя, что он вечно мешает им под лестницей, вечно «вертится под ногами». Не всегда, конечно, трепетал перед Фисуном Луговой: были часы, когда нужно было отдохнуть от понесенных трудов и подкрепить силы для дальнейших, когда закуска, чаепитие и курение тютюна почти совсем уравнивали Фисуна с Луговым. Тут, сидя под лестницей за столиком, они беседовали, резали житный хлеб, чистили тарань и заваривали фруктовый чай в жестяном чайнике совсем как простые, одинакового ранга люди. Тут объединяла их еще и ненависть к сторожам, которые и Лугового не очень-то жаловали, а кроме того — глубокая отчужденность

архива от всех прочих отделений управы: твердо держались эти архивные кроты, — и Фисун, конечно, особенно твердо, — того убеждения, что низ и верх суть два совершенно разных мира, что во веки веков не расти двум колосьям в уровень, что до скончания времен пребудут большие и малые, власть и подчинение, что напрасно молокососы потешаются над ними... и верой и правдой служили этому убеждению, один — властвуя, а другой — подчиняясь.

Упрямы были они, эти темные люди! Знать не хотел Фисун того нового мира, в который попал он, старозаветный человек. И мы, молокососы, не только пожимали плечами, но порой и негодовали: смешон и странен был в нашем мире этот выходец из мира опекунских советов! Конечно, времена были тогда глухие, архиреакционные: но ведь все-таки были мы земские люди. А наше земство было к тому же не простое: на всю Россию славилось свободолюбием, демократичностью. Я в ту пору тоже находился внизу, но я уже был на пороге, на выходе из своего подземелья, и не куда-нибудь, а в статистику. Я

был тоже не велик господин, но я уже был вхож в тот чуждый, заповедный для Фисуна и Лугового мир, где жизнь питалась совсем не теми идеями «времен Очакова и покоренья Крыма», что в архиве, — где со стен председательского кабинета глядели лица украшенных великолепными бакенбардами деятелей «эпохи великих реформ», где в двухсветной зале собрания, перед очами красавца царя-освободителя, во весь рост изображенного стоящим на зеркально-лаковом полу, от самого начала шестидесятых годов и до дней глубокой старости Фисуна смело звучали голоса «последних из стаи славной», где с уст старца Станкевича, могикана этой стаи, раздавалось столько бодрых и красноречивых призывов к «забытым словам», к добру, к правде, к гуманности, «к неуклонному следованию по тернистому пути русской гражданственности». И, повторяю, досадно и смешно было мне, подымавшемуся в этот мир и на обратном пути проходившему под лестницей, глядеть на своих столь архаических сослуживцев! Бывали минуты, когда даже не смеяться мне хотелось, а подойти к Фисуну и Луговому и ка-

ким-нибудь одним словом, одним жестом, вроде крепкого рукопожатия, заставить воспрянуть духом и этих людей, дать им почувствовать, как не правы они в своем страхе перед тем миром, что наверху. Но нужно было видеть, какими холодными взглядами провожали меня Фисун и Луговой, когда я, развязно спустившись из этого мира, проходил мимо них в библиотеку! Да впрочем, холодные-то взгляды были бы еще туда-сюда: беда в том, что дело обстояло еще хуже. Не одну враждебность ко мне, не одно презрение к моей развязности чувствовал Фисун: нет, несмотря на мой низкий чин, он непременно поднимался с места, когда я проходил мимо, и вытягивал руки по швам, старался разогнуться и лучше уставить свои качающиеся ножки, до колен погруженные в прямые и широкие голенища. Ему чудилось сияние вокруг головы того, что спустился в эту темную архивную юдоль с горних высот, он знал, что сам председатель почему-то подает мне руку, что я как равный курю и болтаю с секретарем, — и чувствовал, что вместе со мною как бы доходит до него некое веяние оттуда, где обитала та

самая власть, у подножья которой столько лет пресмыкался он и чьей ипостасью, хотя и очень малою, признавал он порой и себя самого.

Так вот и шли рядом две совершенно разных жизни наша и архивная. Так и стояли мы с этим упрямым и потешным старичком каждый на своем, коснея в своих совершенно разных убеждениях... Как вдруг старичок взял да и умер. Смерть его, как и всякая смерть, конечно, не могла быть потешной, — ведь все-таки горько плакала старушка на пороге хаты в предместье, нагревая щеткой солдатские сапоги и не желая расставаться с надеждой, что хозяин их поднимется и опять поплетется в архив, — но что эта смерть была не менее странной, чем и жизнь Фисуна, с этим, надеюсь, согласится всякий. Произошла она, правда, отчасти по нашей вине: мы ведь все-таки на некоторое время сломили его упрямство, заразили его своей верой в торжество свободы и равенства; да ведь кто же мог знать, что он уж до такой крайней степени окажется робок во втором этаже управы, что он, будучи таким робким и от природы, и в силу давней

привычки трепетать перед вторыми этажами, вдруг перейдет всякие границы свободы и что дело кончится смертью?

Произошла же эта смерть следующим образом.

Служил я первый год, служил второй, третий... а Фисун шестьдесят шестой, шестьдесят седьмой. Время, повторяю, было трудное, — недаром обжора и пьяница, но либеральнейший человек, старший врач губернской земской больницы говорил: «Бывали хуже времена, но не было подлей»; время было темное, но ведь уж известно, что «чем ночь темней, тем ярче звезды», что «самая густая тьма — предрассветная». И мы все крепче верили в этот «грядущий рассвет». А Фисун по-прежнему твердо держался своего — того косного убеждения, что двум колосьям в уровень никогда не расти. Однако буквально каждый год приносил поражение за поражением этому Фоме неверному: с каждым годом все бодрее звучали голоса и старых земских бойцов, и идущих на смену им. И вот, наконец, чуть не поголовно всеми, ежегодно собиравшимися в ноябре в двухсветной зале нашей управы,

овладели знаменитые «весенние мечтания». А когда из-за редяющих зимних облаков выглянуло и само весеннее солнце, когда полетели в поднебесье первые птицы и затрещал кое-где лед, сковывавший дотоле вольные воды, эти мечтания, прихлынув к сердцам, вылились уже в определенную форму, в форму страстных протестов, пожеланий, требований и самых зажигательных речей! До самых подземелий управы проник горячий весенний свет, и Фисун, хотя и растерялся от этого света, невольно зажмурил свои старые глаза, уже не мог не видеть, не мог отрицать того, что стало зримым, явным и несомненным для всех. Управа в тот ноябрь была подобна вешнему улью: сверху донизу гудела она народом, среди которого было и огромное количество посторонних, начиная с курсисток, студентов, врачей и кончая даже обывателями, и, казалось, уже не стало никакого различия между низом и верхом, между большими и малыми: все, от первых земских магнатов до последнего сторожа, от предводителя дворянства до Лугового, жаждали заключить друг друга в объятия, чтобы уже одним пото-

ком к одной цели двинуться вперед. «Свобода! свобода!» — звучало повсюду. И вот на этот-то клич и двинулся к изумлению всех, даже и сам Фисун: повязался по холодным восковым ушам свернутым красным платком, выполз, горбясь и оседая на ноги, касаясь хвостом пиджака голенищ, из своих подземелий, добрал до лестницы, во всю ширину крытой красным сукном, — и хотя и очень медленно, но упрямо стал подниматься наверх, к тем огромным зеркалам, туманно-голубым от табачного дыма и отражающим в себе целое море народа, что были по бокам главного входа в двухсветный зал собрания. А поднявшись, смешался с шумными, воедино слитыми в одну массу народными толпами, вольно стал бродить по коридору, по отделениям, по кабинетам — и узрел-таки, наконец, самого Златоуста нашего, самого Станкевича.

И ах, как говорил Станкевич в этот день! Смелое и гордое решение приступом идти на твердыни старого мира уже созрело, — оставалось только уронить в полную чашу ту драгоценную каплю, что переливает влагу через край. И звучно провозгласил предводитель

дворянства, председатель собрания, терявшийся за морем голов в туманно-голубом зале, у блистающего золотом, лаком и красками царского портрета, что принадлежит слово Алексею Алексеевичу Станкевичу, и среди благоговейной тишины поднялась из среды сидевших за бесконечно длинным столом могучая и седовласая фигура «льва русской гражданственности». Он и наружностью похож был на льва. Правда, уже согбен годами и думами, лицом очень красен, взором важно-печален и тускл; поднялся медленно, концами дрожащих красных пальцев оперся на стол, крытый зеленым сукном, заговорил сперва тихо, отдельно... Но какая уверенность звучала в этих тихих, отдельно произносимых словах, какая буйная грива седых кудрей возвышалась над высоким челом, ниспадая на плечи, облеченные в простой черный сюртук! А как потом окреп голос оратора, как зазвучал сталью, призывая без страха и сомнения вперед на борьбу, как поверг этот голос всю залу, вплоть до переполненных хор, сперва в жуткое молчание, а после в неистовый восторг, прорвавшийся бешеными

кликами, — того и описать невозможно!

Сам потрясенный своей речью и разбитый усталостью, но торжествующий, засыпанный аплодисментами и цветами с хор, опустился Станкевич на свое место и долго, бледный и важный, как бы ничего не видящий, сидел, откинувшись к спинке кресла. А потом снова приподнялся — и среди почтительно расступавшегося земского и иного люда со старческой неспешностью проследовал вон из зала.

Где был в это время Фисун? Но вот в том-то и дело, что Фисун проследовал к той же цели, которая подняла с места Станкевича, еще ранее. Фисуну, долго стоявшему у входа в зал, за плечами сгрудившейся толпы, ровно ничего не было слышно. И, устав стоять, чувствуя дремоту и некоторую потребность, он медленно, но довольно свободно опять побрел по коридору. И, дойдя до конца его, постоял в раздумье, сонно глядя на дверь, за которую смели прежде заглядывать только председатель, гласные да высшие чины управы; а затем, ничтоже сумняшеся, взялся за ее скобу и, затворившись на крючок, долго-долго пробыл за этой дверью.

Не будь он глух, не завязывай платком ушей, слышал бы он, несчастный, что чья-то рука несколько раз дергала за скобку и что чей-то недовольный, тоже старческий голос бормотал что-то. Но он был глух, глух и повязан платком! Был он, кроме того, очень неспор в движениях, потребных для приведения своего костюма в порядок. Когда же одолел он все это и распахнул дверь, то увидел, что перед ним — сам Станкевич! И застыли, замерли два старика друг перед другом, — первый от изумления и негодования, а второй от ужаса.

— Как? — медленно выговорил первый, выкатывая глаза и нагибаясь. — Как? Так это ты, негодяй, сидел там?

— Никак нет, — хотел выговорить второй, тоже выкатывая глаза, — и не мог: и от страха, и от того, конечно, что уж слишком бы не соответствовало это истине.

— Как? Ты осмелился забраться в господскую уборную? — еще медленнее выговорил первый, наливаясь под своей белоснежной сединой кровью и наступая.

— Никак нет, — бессмысленно пролепетал

второй, бледная, как смерть, и прижимаясь к стене, оседая на свои голенища, на свои отнявшиеся ноги.

— Да ты кто такой? — бешено крикнул первый, затопав в ярости ботинками.

Но второй, выпучив глаза, став похожим на зайца, благодаря хвостикам платка, торчавшим на его макушке, уже и лепетать не мог...

Конец этой трагикомической истории вы знаете: будучи через час после этого доставлен в бессознательном состоянии домой, Фисун слег в постель, а вскоре и душу богу отдал, в первый и последний раз побывав во втором этаже управы, в первый и последний раз проехавшись на извозчике... Смерть его, равно как и другие некоторые события, последовавшие вслед за «весенними мечтаниями», конечно, не изменили наших идеалов, не угасили нашей веры в грядущее торжество этих идеалов. Но что она отчасти смутила кое-кого из нас, — в том числе и меня, — в этом я не могу не признаться. Идут дни, годы, а я нет-нет да и вспомню эту смерть. И как уже немало прошло этих дней и годов, то немало и со-

мнений закралось в мою душу. Я, например, всецело присоединился теперь к тому великому почтению, какое питал покойный Фисун к архивам. Равенство-то равенством, а очень прав он был, что немыслима без архивов жизнь и что надо, надо оберегать их, ибо, если бы их не было, если б не существовало Фисунов, как бы сохранился вот хоть этот листок, на котором пишу я бедную и жалкую повесть Фисуна? А при Фисунах он, конечно, сохранится и, конечно, попадетя кому-нибудь на глаза — и чем позднее, тем лучше: резче ударят тогда в глаза нового человека строки этой старой истории. Фисун говорил: «А ежели справка понадобится?» Так вот, ежели понадобится справка о нашем времени, пригодится, может быть, и моя справка о нем.

Одесса. 21 июля. 1914

Грамматика любви

Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда.

Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне, у богатого мужика. Правил ими сын этого мужика, малый лет восемнадцати, тупой, хозяйственный: Он все о чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток. И, убедившись, что с ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая так идет к ладу копыт и громыханию бубенчиков.

Ехать сначала было приятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и жаворонков; с хлебов, с невысоких сизых ржей, простиравшихся насколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от нее было даже туманно. Малый, в новом картузе и неуклюжем люст-

риновом пиджаке, сидел прямо; то, что лошади были всецело вверены ему и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали, валец левой пристяжки порою скреб по колесу, порою натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова.

— К графу будем заезжать? — спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом.

— А зачем? — сказал Ивлев.

Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода, сумрачно ответил:

— Да чай пить...

— Не чай у тебя в голове, — сказал Ивлев. — Все лошадей жалеешь.

— Лошадь езды не боится, она корму боится, — ответил малый наставительно.

Ивлев поглядел кругом: погода поскучнела, со всех сторон натянуло линючих туч и уже накрапывало — эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями... Старик, пахавший возле деревни, сказал, что

дома одна молодая графиня, но все-таки захали. Мальй натянул на плечи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокойно мок под дождем на козлах тарантаса, остановившегося среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в землю, истыканную копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял кнутовищем шлею на коренике; а Ивлев сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графинею и ждал чая; уже пахло горящей лучиной, густо плыл мимо открытых окон зеленый дым самовара, который босая девка набивала на крыльце пуками ярко пылающих кумачным огнем щепок, обливая их керосином. Графиня была в широком розовом капоре, с открытой напудренной грудью; она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугие и круглые руки; затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и между прочим рассказывала про своего близкого соседа, помещика Хвощинского, который, как знал Ивлев еще с детства, всю жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости. «Ах, эта

легендарная Лушка! — заметил Ивлев шутиливо, слегка сконфузясь своего признания. — Оттого, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней, бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша была собой». «Да? — сказала графиня, не слушая. — Он умер нынешней зимой. И Писарев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем остальном он нисколько не был помешан, и я вполне верю этому — просто он был не теперешним чета...» Наконец босая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами.

Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться каляным, ссохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями лошади, по их темным и блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы какого-то рубежа среди хлебов, где малый по-

ехал в надежде сократить путь, под верхом собирался теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого тарантаса... «Так вот оно что, Хвоцинский умер, — думал Ивлев. — Надо непременно заехать, хоть взглянуть на это опустевшее святилище таинственной Лушки... Но что ни человек был этот Хвоцинский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» По рассказам стариков-помещиков, сверстников Хвоцинского, он когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть ее, — и все пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и больше двадцати лет просидел на ее кровати — не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит — это Лушка насылает грому, объявлена война — значит, так Лушка решила, неурожай случился — не угодили мужики Лушке...

— Ты на Хвощинское, что ли, едешь? — крикнул Ивлев, высовываясь под дождь.

— На Хвощинское, — невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего картуза которого текла вода. — На Писарев верх...

Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж, лошади пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку; в какие-то еще не кошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах. Потом дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по днищам оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах... Была чья-то маленькая пасека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой... Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд — глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста... Пара черных куличков с плачем метнулась из них в дождливое небо... А на плотине, среди крапивы, мелкими бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст, то милое деревце, кото-

рое зовут «божьим деревом», — и вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в молодости верхом...

— Говорят, она тут утопилась-то, — неожиданно сказал мальй.

— Ты про любовницу Хвощинского, что ли? — спросил Ивлев. — Это неправда, она и не думала топить.

— Нет, утопилась, — сказал мальй. — Ну, только думается, он скорей всего от бедности от своей сошел с ума, а не от ней...

И, помолчав, грубо прибавил:

— А нам опять надо заезжать... в это, в Хвощино-то... Ишь как лошади-то уморились!

— Сделай милость, — сказал Ивлев.

На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса, среди мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, горько и свежо пахнувшей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, — только овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою, но, когда тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава гро-

мадных собак, черных, шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем накипела вокруг лошадей, взвиваясь к самым их мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх тарантаса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом расколосось от оглушительного удара грома, малый с остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов...

За лесом уже видно было Хвоцинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расходились, не то заходили теперь с трех сторон: слева — почти черная, с голубыми просветами, справа — седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хвоцинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, — мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних облаков. Но над тарантасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей

сыростью поля.

Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец то, о чем слышал так много, но по-прежнему казалось, что жила и умерла Лушка не двадцать лет тому назад, а чуть ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя; среди них, далеко друг от друга, раскидывались старые серебристые тополи. Дом, довольно большой, когда-то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. Не было кругом ни сада, ни построек, только два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по канавам. Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто, с обвисшими карманами, гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скучен: окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической блузе, подпоясанной

широким ремнем, черный, с красивыми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо.

Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев сказал, что хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, которая, как говорила графиня, осталась от покойного, и молодой человек, густо покраснев, тотчас повел его в дом. «Так вот это и есть сын знаменитой Лушки!» — подумал Ивлев, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишний раз взглянуть на хозяина, который казался слишком моложав для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, путался, видимо, и от застенчивости, и от жадности; что он страшно обрадовался возможности продать книги и вообразил, что сбудет их недешево, сказано в первых же его словах, в той неловкой торопливости, с которой он заявил, что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя достать. Через полутемные сени, где была наслана красная от сырости солома, он ввел

Ивлева в большую переднюю.

— Тут вот и жил ваш батюшка? — спросил Ивлев, входя и снимая шляпу.

— Да, да, тут, — поспешил ответить молодой человек. — То есть, конечно, не тут... они ведь больше всего в спальне сидели... но, конечно, и тут бывали...

— Да, я знаю, он ведь был болен, — сказал Ивлев.

Молодой человек вспыхнул.

— То есть чем болен? — сказал он, и в голосе его послышались более мужественные ноты. — Это все сплетни, они умственно несколько не были больны... Они только все читали и никуда не выходили, вот и все... Да нет, вы, пожалуйста, не снимайте картуз, тут холодно, мы ведь не живем в этой половине...

Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. В неприветливой передней, оклеенной газетами, на подоконнике печального от туч окна стояла лубяная перепелиная клетка. По полу сам собою прыгал серый мешочек. Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на лавку, и Ивлев понял, что в мешочке сидит перепел; затем вошли в зал. Эта

комната, окнами на запад и север, занимала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза. Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами; среди них выделялся и величиной и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах.

— Простите, пожалуйста, — начал было Ивлев, превозмогая стыд, — разве ваш батюшка...

— Нет, это так, — пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его. — Они уже после ее смерти купили эти свечи... и даже обручальное кольцо всегда носили...

Мебель в зале была топорная. Зато в простенках стояли прекрасные горки, полные чайной посудой и узкими, высокими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан сухими пчелами, которые щелкали под ногами. Пчелами была усыпана и гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и еще какую-то су-

мрачную комнату с лежанкой, молодой человек остановился возле низенькой двери и вынул из кармана брюк большой ключ. С трудом повернув его в ржавой замочной скважине, он распахнул дверь, что-то пробормотал, — и Ивлев увидел каморку в два окна; у одной стены ее стояла железная голая койка, у другой — два книжных шкапчика из карельской березы.

— Это и есть библиотека? — спросил Ивлев, подходя к одному из них.

И молодой человек, поспешив ответить утвердительно, помог ему растворить шкапчик и жадно стал следить за его руками.

Престранные книги составляли эту библиотеку! Раскрывал Ивлев толстые переплеты, отворачивал шершавую серую страницу и читал: «Заклятое урочище»... «Утренняя звезда и ночные демоны»... «Размышления о таинствах мироздания»... «Чудесное путешествие в волшебный край»... «Новейший сонник»... А руки все-таки слегка дрожали. Так вот чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира и этой каморке и еще так недавно ушла из нее... Но, может

быть, она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна? «Есть бытие, — вспомнил Ивлев стихи Баратынского, — есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье, — меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье...» Расчистило на западе, золото глядело оттуда из-за красивых лиловатых облаков и странно озаряло этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то загадочной в своем обаянии Лушки...

Взяв из-под койки скамеечку, Ивлев сел перед шкапом и вынул папиросы, незаметно оглядывая и запоминая комнату.

— Вы курите? — спросил он молодого человека, стоявшего над ним.

Тот опять покраснел.

— Курю, — пробормотал он и попытался улыбнуться. — То есть не то что курю, скорее балуюсь... А, впрочем, позвольте, очень благодарен вам...

И, неловко взяв папиросу, закурил дрожа-

щими руками, отошел к подоконнику и сел на него, загорая желтый свет зари.

— А это что, — спросил Ивлев, наклоняясь к средней полке, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка, похожая на молитвенник, и стояла шкатулка, углы которой были обделаны в серебро, потемневшее от времени.

— Это так... В этой шкатулке ожерелье покойной матушки, — запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил молодой человек.

— Можно взглянуть?

— Пожалуйста... хотя оно ведь очень простое... вам не может быть интересно...

И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заносенный шнурок, низку дешевеньких голубых шариков, похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку на место; потом взялся за книжеч-

ку. Это была крохотная, прелестно изданная почти сто лет тому назад «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым».

— Эту книжечку я, к сожалению, не могу продать, — с трудом проговорил молодой человек. — Она очень дорогая... они даже под подушку ее себе клали...

— Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее? — сказал Ивлев.

— Пожалуйста, — прошептал молодой человек.

И, преодолевая неловкость, смутно томясь его пристальным взглядом, Ивлев стал медленно перелистывать «Грамматику любви». Она вся делилась на маленькие главы: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении и защите, о размолвке и примирении, о любви платонической»... Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень тонких сентенций, и некоторые из них были деликатно отмечены пером, красными чернилами. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни, — читал Ивлев. — Разум наш противоречит сердцу и

не убеждает оного. — Женщины никогда не были так сильны, как когда они вооружаются слабостью. — Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. — Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. — Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки...» Затем шло «изъяснение языка цветов», и опять кое-что было отмечено: «Дикий мак — печаль. Вересклед — твоя прелесть запечатлена в моем сердце, Могильница — сладостные воспоминания. Печальный гераний — меланхолия. Полынь — вечная горесть»... А на чистой страничке в самом конце было мелко, бисерно написано теми же красными чернилами четверостишие. Молодой человек вытянул шею, заглядывая в «Грамматику любви», и сказал с деланой усмешкой:

— Это они сами сочинили...

Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую це-

ну купил только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями, отсвечивала в лужах, мокро и зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, — жена дьякона, что молодой Хвоцинский живет с нею. Ивлев не слушал. Он все думал о Лушке, о ее ожерелье, которое оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она навсегда в мою жизнь!» — подумал он. И, вынув из кармана «Грамматику любви», медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее последней странице.

*Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостных живи!»
И внукам, правнукам покажут
Сию Грамматику Любви.*

Москва. Февраль 1915

Господин из Сан-Франциско

*Горе тебе, Вавилон, город крепкий
Апокалипсис*

Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие долгое и комфортабельное, и мало ли еще на что. Для такой уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и ре-

шил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждения жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо — не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом или рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствую! особенно тонко, — любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной, карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда

В эту пору стекается самое отборное общество, — то самое, от которого зависят все блага цивилизации: и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей, — где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стучаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там Miserere;[5] входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, — разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва отлично.

Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож

на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шэффль-борд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрыв-

шись пледями, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско, потирая от прилива жизненных сил руки, спешил в свою богатую люкс-кабину — одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире, с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из

обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в мраморной двусветной зале, устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как какой-нибудь лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, расчищенный до глянца и в меру оживленный, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой янтарного иоганисберга, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокой-

ная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, — в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, — задрав ноги, решали на основании последних биржевых новостей судьбы народов, до малиновой красноты накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, — точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, — в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания

вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в какой-то сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, похожий на прелата, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один ко-

мандир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбуждавший к себе общий интерес, — наследный принц одного азиатского государства, путешествовавший инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный — тем, что крупные черные усы сквозили у него, как у мертвого, в общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море снова пахло зимой, шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана. Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх, шубки; безответные, всегда

шепотом говорящие бои-китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен — очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, — но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятого восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих, — его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Фран-

диско, в серых гетрах на лакированных ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам — и господину из Сан-Франциско,

так же, как и всем прочим, казалось, что это для него одного гремит марш гордой Америки, что это его приветствует командир с благополучным прибытием. А когда «Атлантида» вошла, наконец, в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, — сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов-мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

— Go away![6] Via![7]

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими

утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по липкой набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и серым коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжелой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь «Снятие со креста», непременно знаменитое; в час-второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале си-

дит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять-чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сладостями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь выдался в тот год не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что «всюду про-

исходит что-то ужасное»: на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее: тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках — нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеими клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем, с черными раскрытыми головами, — безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила и прекрасна: прекрасны были те нежные, сложные

чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь в конце-то концов, может быть, и не важно, что именно пробуждает девичью душу — деньги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного грота и послушав абруццских волынщиков, целый месяц бродящих перед рождеством по острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто.

В день отъезда, — очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сто-

рону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех; ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибежавшая к ней с тазиком, — уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-таки неутомимая, — только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжело болела: последние дни благодаря дурной погоде он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек в дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то вниз. На остановках, в Кастелламаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со

всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями и дымными, курчаво-зелеными горами летел за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, третьеклассники азартно орали, где-то, точно раздавленный, давился криком ребенок, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников: «Kgoya-al! Hotel Kgoya-al!..» И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, — совсем стариком, — уже с тоской и злобой думал обо всех этих «Royal», «Splendid», «Excelsior» и об этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, наклепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувство-

вал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножия красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и с плеском шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, — несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах, всюду чувствующих себя как дома и совсем не щедрых на траты. Господин же из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар,

их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая улочка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И опять было похоже, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: взглянув на него, господин из Сан-Франциско вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как

этот, в той же визитке с круглыми полами и с той же зеркально причесанной головой.

Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то тотчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подоб-

ных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, — так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, — но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней Кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подалее от дверей, в самой, глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все, будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и дели-

катно спросил:

— Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes», [8] прибавил, что сегодня у них в вестибюле тантанелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и всему миру туристы.

— Я видел ее на открытках, — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. — А этот Джузеппе — ее муж?

— Двоюродный брат, сэр, — ответил метрдотель.

И помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез

смешившие горничных, пробежавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

— На sonato, signore?[9]

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

— Yes, come in...[10]

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытывший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Выбрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и придрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а

на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые чулки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожу в углублении под кадыком, но он был настойчив и, наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно, потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями на суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале. «Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно», — подумал он И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, женщиной, громко спросил, скоро ли они?

— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

— Отлично, — сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешала изо всех сил, но смешно, по-кури-

ному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавие некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, — как вдруг строчки

вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напряжилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом — и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше — и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую и многие вскакивали из за еды, опрокидывая стулья, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» — и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя

к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так. Неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, — самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, — прибежала его дочь, с распущенными волосами, в распахнувшемся капотике, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая, тяжелая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправи-

мо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клочотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско, —

его больше не было, — а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось — хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть, — красотой, уже давно прибавшей ему.

Вошел хозяин. «*Gia e morto*», [11] — сказал ему, шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

— О нет, мадам, — поспешно, корректно, но уже без всякой любезности, и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приезжие из Сан-Франциско. — Это совершенно невозможно, мадам, — сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и вое еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере, — оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан, — потушили электричество, за-

перли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел в стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопая. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

— Pronto? (Готово?) — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. — Partenza![12] — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов, — и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса, почтительнейше спросил:

— На sonato, signore?

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

— Yes, come in...

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соларо, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, — принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел — и крепко давил колени младшего портъе, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, квольный человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья, — целую ночь играл в кости в траттории, — и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилиански разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенчиками на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой

медной седелки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, — тем, что он до последней полушки проиграл ночью все те медяки, которыми были полны его карманы. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки — и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портъе догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик сно-

ва зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове, две тысячи лет тому назад, жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокостей сверх всякой меры, — и человечество навеки запомнило его, и те, что в совокупности своей, столь же непонятно и, по существу, столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где он жил на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и

американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади — рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной труб-

кой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруццских горца. У одного под кожаным плащом была вольнка, — большой козий мех с двумя дудками, у другого — нечто вроде деревянной цевницы. Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простирались под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, мать божия, кроткая и милостивая, с оча-

ми, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы, приложили к губам свои цевницы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю странствував из одного портового пакгауза в другой, оно снова попало, наконец, на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с ост-

рова Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами и мрамором залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но еще громаднее его был корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженные в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успока-

ивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною той большой как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, — клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем масленистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, пополам на жерло. А середина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной тол-

пы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалось и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно скромная, хорошенькая девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжело одолевающего мрак, океан, вьюгу...

Васильевское. 10.1915

СЫН

Госпожа Маро родилась и выросла в Лозанне, в строгой честной семье. Замуж вышла она по любви. В марте 76 года, среди пассажиров старого французского парохода «Овернь», шедшего из Марселя в Италию, оказалась чета новобрачных. Дни стояли тихие, прохладные, море серебристыми зеркалами терялось в туманных весенних далях, новобрачные не сходили с палубы. И все любовались ими, все глядели на их счастье с дружелюбными улыбками: у него это счастье сказывалось в бодром, резком взгляде, в потребности движения, в оживленной приветливости с окружающими, у нее — в том радостном интересе, с которым она воспринимала все... Новобрачные эти были Маро.

Он был старше ее, ростом был невелик, лицом смугл, волосом курчав; рука у него была сухая, голос чистый и звучный. А в ней чувствовалась примесь какой-то иной, не романской крови; она казалась чуть-чуть высока, при темных волосах глаза у нее были серо-синие. Через Неаполь, Палермо и Тунис они

проехали в Константинопу, в Алжирию, где г. Маро получил довольно видный пост. И жизнь в Константине, те четырнадцать лет, что прошли с этой счастливой весны, дали им достаток, семейный лад, здоровых, красивых детей.

За четырнадцать лет Маро очень изменились по внешности: он стал черен лицом, как араб, поседел и подсох, многие принимали его за уроженца Алжирии; никто не узнал бы и в ней ту прежнюю, что когда-то плыла на «Оверни»: тогда даже в туфельках ее было очарование молодости; теперь и у нее в волосах серебрилось, тоньше, золотистее стала кожа, похудели руки, и в уходе за ними, в прическе, в белье, в одежде уже проявляла она какую-то излишнюю опрятность. Жили они каждый по-своему: у него время было наполнено работами, — он оставался все тем же и страстным и трезвым, каким был и прежде, у нее — заботами о нем и о детях, о двух хорошеньких девочках, из которых старшая была уже почти барышня; и в один голос говорили все, что нет в Константине лучшей хозяйки, лучшей матери и более милой собеседницы в

гостиной, чем г-жа Маро.

Дом их стоял в тихом и чистом квартале. Со второго этажа, из парадных комнат, всегда полутемных от закрытых жалюзи, была видна Константина, славная на весь мир своей живописностью: на косых скалах лежит эта древняя арабская крепость, ставшая французским городом. Окна семейных покоев, тенистых и прохладных, смотрели в сад, — там, в вечном зное и блеске, дремали вековые эвкалипты, сикоморы, пальмы, обнесенные высокими стенами. А хозяйка вела то замкнутое существование, на которое обречены в колониях жены всех европейцев. По воскресеньям она неизменно бывала в церкви. В будни выезжала редко и держалась небольшого избранного круга. Она читала, занималась рукоделием, училась с детьми; иногда, посадив себе на колени черноглазую Мари и одной рукой играя на рояли, пела старинные французские песенки, меж тем как горячий ветер широко входил из сада в открытые окна. Константина, затворившая все свои ставни и нещадно палимая солнцем, казалась в эти часы мертвым городом; только вскрикивали си-

воворонки в садах да меланхолически, тоской колониальных стран, звучали рожки горнистов по загородным холмам, где порою глухим стуком сотрясали землю пушки и мелькали белые солдатские шлемы.

Дни шли однообразно, но никто не замечал, чтобы г-жа Маро тяготилась однообразием жизни. В характере ее не проявлялось ни повышенной чувствительности, ни излишней нервности. Здоровье ее нельзя было назвать очень крепким, но оно не доставляло тревог г-ну Маро. Поразил его только один случай: однажды, в Тунисе, араб-фокусник так быстро и глубоко усыпил ее, что она насилу пришла в себя. Но это было еще во время переезда из Франции; с тех пор таких резких падений воли, такой болезненной восприимчивости она не испытывала. И г. Маро был спокоен и убежден, что душа ее безмятежна и открыта для него. Но вот появился в Константине некто Эмиль Дю-Бюи.

Эмилю Дю-Бюи, сыну г-жи Боннэ, давней и хорошей знакомой г-жи Маро, было всего девятнадцать лет. Г-жа Боннэ, вдова, кроме Эмиля, рожденного ею в первом браке, выросшего

в Париже и теперь изучавшего право, всего же более занятого сочинением только одному ему понятных стихов и причислявшего себя к несуществующей поэтической школе «Искателей», имела еще дочь Элизу. В мае 8 9 года Элиза готовилась к венцу, но, вдруг заболев, умерла. Эмиль, дотоле никогда не бывший в Константине, приехал на похороны Легко понять, как тронула г-жу Маро эта смерть, смерть девушки, уже примерявшей венчальную фату; известно и то как просто устанавливается при таких обстоятельствах близость между людьми, даже едва узнавшими друг друга. К тому же Эмиль и в самом деле был для г-жи Маро только мальчиком. Вскоре после похорон г-жа Боннэ уехала к родным, во Францию. Эмиль же остался в Константине, на загородной даче своего покойного отчима, на вилле Хашим, и стал почти ежедневно бывать у Маро. Каков бы он ни был, чем бы он ни притворялся, все же он был очень молод, очень чувствителен и нуждался в людях, к которым мог бы прибиться на время. «И не странно ли, — говорили некоторые, — г-жа Маро стала неузнаваема. Как она похороше-

да!»

Однако эти иносказания были неосновательны. Вначале было только то, что немного веселее стала ее жизнь да игривей, кокетливее стали ее девочки, ибо Эмиль, поминутно забывая о своем горе и о том яде, которым, как он думал, отравил его «конец века», иногда по целым часам возился с Мари и Луизой совсем как равный. Правда, все же он был парижанин и не совсем обычный: он участвовал в той недоступной для простых смертных жизни, которой жили парижские писатели, он часто, с какой-то сомнамбулической выразительностью, читал странные, но звучные стихи; и, может быть, благодаря именно ему, легче и быстрее стала походка г-жи Маро, чуть-чуть наряднее ее туалеты, ласковей и насмешливей оттенки ее голоса; может быть, и была в ее душе капля чисто женской радости, что вот есть человек, которым можно слегка повелевать, с которым можно говорить с полушутливой наставительностью, с той свободой, что так естественно допускалась разницей в годах, и который так предан всему ее дому, где, однако, первым лицом, —

это, конечно, очень скоро обнаружилось, — была для него она. Но ведь как обычно все это! А главное, чаще всего он был только жалок ей.

Он, почитавший себя прирожденным поэтом, хотел и по наружности походить на поэта; он носил длинные, закинутае назад волосы, одевался с аристократической скромностью; волосы у него были красивые, коричневые и шли к его бледному лицу, равно как и черная одежда; но бледность эта была слишком бескровная, с желтым налетом; глаза у него постоянно блестели, от изможденного лица казались лихорадочными; и так суха и плоска была его грудь, так тонки ноги, так худы руки, что становилось как-то неловко, когда он не в меру оживлялся и бежал по улице или по саду, немного подавшись вперед, как бы скользя, чтобы скрыть свой недостаток, то, что одна нога была у него короче другой; в обществе он старался быть загадочным, небрежным, порой изящно-дерзким, порой презрительно-рассеянным и во всем независимым; но уж слишком часто не доигрывал он ролей, срывался и начинал говорить с ка-

кой-то наивной откровенностью и поспешностью. И, конечно, недолго сумел он таить свои чувства, притворяться не верящим в любовь и счастье на земле: вскоре о его влюбленности знал весь дом. Он уже стал доучать хозяину своими посещениями; стал каждый день привозить с виллы букеты самых редких цветов, сидеть с утра до вечера, читать стихи все более непонятные, — дети не раз слышали, как заклинал он кого-то умереть вместе с ним — а по ночам пропадать в туземных кварталах, в тех притонах, где арабы, закутанные в грязно-белые бурнусы, жадно глядят на «танцы живота» и пьют самые острые ликеры... Короче сказать, не прошло и месяца, как влюбленность его перешла бог знает во что.

Нервы его совсем перестали служить ему. Однажды чуть не целый день сидел он молча, затем встал, поклонился, взял шляпу и вышел, — а через полчаса был принесен с улицы в ужасном состоянии: он бился в истерике, он так страстно рыдал, что перепугал и детей и прислугу. Но г-жа Ма-ро, казалось, не придавала особого значения и этому исступле-

нию. Она сама приводила его в чувство, развязывая ему галстук, и только усмехалась, когда он, без всякого стеснения перед мужем, хватал, покрывая поцелуями, ее руки и клялся в своей бескорыстной преданности. Все же надо было положить конец всему этому. Когда, через несколько дней после припадка, Эмиль, о котором дети скоро соскучились, явился уже успокоенный, г-жа Маро мягко сказала ему все, что говорят в таких случаях.

— Друг мой, вы ведь как сын для меня, — сказала она ему, впервые произнося это слово, — сын, — и в самом деле чувствуя материнскую нежность к нему. — Не ставьте же меня в смешное и мучительное положение.

— Но клянусь вам, что вы ошибаетесь! — воскликнул он с искренней страстностью. — Я только предан вам, я только видеть хочу вас, и ничего более!

И вдруг упал на колени, — они были в саду, в тихий и жаркий, сумрачный вечер, — порывисто охватил ее бедра, близкий от страсти к обмороку... И, глядя на его волосы, на его белую тонкую шею, она, с болью и восторгом, подумала:

«Ах, да, да, у меня мог быть вот почти такой же сын!»

Все-таки с этих пор, до самого отъезда во Францию, только раз вновь не сдержал он себя. Как-то после воскресного обеда, за которым присутствовали и посторонние, он, совсем не думая о том, что это может быть всеми замечено, сказал ей вдруг:

— Очень прошу вас уделить мне одну минуту...

Она встала и пошла за ним в пустой полутемный зал.

Он подошел к окну, в которое сквозь жалюзи продольными полосками проникал снаружи вечерний свет, и, глядя ей прямо в лицо, сказал:

— Нет, я люблю вас!

Она повернулась, чтобы уйти. Испуганный, он поспешно прибавил:

— Простите меня, это первый и последний раз!

И точно, новых признаний она от него не слыхала. — «Я очарован был ее смущением, — писал он в этот вечер в своем дневнике своим изысканным и напыщенным слогом. — Я по-

клялся не нарушать более ее покоя: разве и без того не блажен я?» — Он продолжал ездить в город, только ночевал на вилле Хашим, — и вел себя разное, но всегда более или менее пристойно. Иногда он бывал по-прежнему как-то некстати резв, наивен, бегал с детьми по саду; чаще же всего сидел возле нее и «упивался ее присутствием», читал ей романы и «счастлив был, что она его слушает». «Дети не мешали нам, — писал он об этих днях, — их голоса, смех, возня, самые существа их служили как бы тончайшими проводниками наших чувств; благодаря им, эти чувства были еще очаровательнее. Мы вели беседы самые обыденные, но звучало в них другое — наше счастье: да, да, и она была счастлива! Она любила, когда я декламировал; по вечерам, с балкона, мы созерцали Константиноу, лежавшую у наших ног в голубом лунном сиянии...» Наконец, в августе, г-жа Маро настояла, чтобы он уехал, возвратился к своим занятиям, и в дороге он писал: «Я уезжаю! уезжаю, отравленный горькой сладостью разлуки! Она подарила мне на память бархатку, которую носила на шее в девушках. Она благо-

словила меня, и я видел влажный блеск в ее глазах, когда она сказала мне: „Прощайте, дорогой сын мой!“»

Прав ли он был, что и г-жа Маро была счастлива, неизвестно. Но что его отъезд оказался для нее весьма тяжел, несомненно. И прежде, встречая на пути в церковь знакомых, говоривших ей в шутку. «О чем вам молиться, г-жа Маро, вы и так безгрешны и счастливы!» — не раз отвечала она с грустной улыбкой: «Я жалеюсь богу, что он лишил меня сына...» Теперь мысль о сыне, о том счастье, которое непрестанно давал бы он ей даже одним существованием своим на свете, не оставляла ее.

— Теперь я все поняла, — сказала она однажды мужу. — Я теперь твердо знаю, что каждая мать должна иметь сына, что каждая женщина, у которой сына нет, несчастна. О, как нежно и страстно можно любить сына!

Она была очень ласкова с мужем в эту осень. Случалось, что, оставшись с ним наедине, она вдруг застенчиво говорила ему:

— Гектор, послушай... Мне уже совестно спрашивать тебя об этом, но все-таки... Ты ко-

гда-нибудь вспоминаешь март 76 года? Ах, если бы у нас с тобой был сын!

«Все это очень меня смущало, — рассказывал впоследствии г. Маро, — смущало тем более, что она стала очень худеть. Она слабела, делалась все молчаливее и мягче характером. У знакомых она бывала все реже, в город выезжать избегала... Я не сомневаюсь, что какой-то странный и непонятный недуг овладел ее душой и телом!» А бонна прибавляла, что, выезжая в эту осень, г-жа Маро непременно надевала белую густую вуаль, чего прежде не делала, что, возвратясь домой, она тотчас поднимала вуаль перед зеркалом и пристально разглядывала свое усталое лицо. Излишне пояснять, что совершалось в душе ее за это время. Но хотела ли она видеть Эмиля? Он представил суду две депеши, отправленные ею в ответ на его письма. Одна была от 10 ноября: «Вы сводите меня с ума. Успокойтесь. Немедленно дайте весть о себе». Другая от 23 декабря: «Нет, нет, не приезжайте, умоляю вас. Думайте обо мне, любите меня как мать». Однако достоверно только то, что с сентября по январь г-жа Маро жила тревож-

но, болезненно.

Осень того года была в Константине холодна и дождлива. Потом, как всегда это бывает в Алжире, сразу наступила восхитительная весна. И к г-же Маро снова стало возвращаться оживление, тот блаженный хмель, который испытывают в пору весеннего расцвета люди, уже пережившие молодость. Она снова стала выезжать, много каталась с детьми, бывала с ними в саду опустевшей виллы Хашим, собиралась проехать в Алжир, показать детям Блиду, возле которой есть в горах лесистое ущелье, излюбленное обезьянами... И так шло вплоть до семнадцатого января девяностого года. Семнадцатого января она проснулась от какого-то необыкновенного и нежного чувства, волновавшего ее как казалось, всю ночь. В большой комнате, где за отсутствием мужа, надолго уехавшего по делам службы она спала одна, было почти темно от жалюзи и гардин. Все же по той голубой бледности, что проникала из-за них, можно было понять, что светает. И точно, часики на ночном столике показывали шесть. С наслаждением ощущая утреннюю свежесть, входив-

шую из сада, она закуталась в легкое одеяло повернулась к стене... «Почему мне так хорошо?» — подумала она, забываясь. И смутными, прекрасными видениями стали представляться ей картины Италии, Сицилии, картины той далекой весны, когда плыла она в каюте с окнами на палубу, на холодное серебристое море, с портъерами из высохшего от времени и поблекшего красного шелка, с высоким порогом, сиявшим стертой от долголетней чистки медью... Потом увидела она безграничные; морские заливы, лагуны, низменности, большой арабский город, весь белый, с плоскими крышами, и волнистые туманно-голубые холмы за ним. Это был Тунис, в котором она была только раз, в ту же весну, что и в Неаполе, в Палермо... Но тут точно холд волной прошел по ней — и, вздрогнув, она открыла глаза. Был уже десятый час, слышались голоса детей, голос их бонны. Она встала, накинула халат и, выйдя на балкон, спустились в сад, села в качалку, стоявшую на песке возле круглого стола, под цветущей мимозой, раскинувшей над ним свой золотой намет, благоухавший на припеке. Горничная

принесла ей кофе. Она опять стала думать о Тунисе — и вспомнила то странное, что было там с нею, тот сладкий страх и то блаженное безволие как бы предсмертных минут, что испытала она в этом бледно-голубом городе в теплые розовые сумерки, полулежа в качалке на крыше отеля, слабо видя темное лицо араба, гипнотизера и фокусника, сидевшего на корточках переднею, усыплявшего ее своими чуть слышными, однотонными напевами и медленными движениями худых рук. И вдруг, думая и пристально глядя широко раскрытыми глазами на яркую серебряную искру, которой горела па солнце ложечка в стакане с водой, потеряла сознание. Когда же внезапно очнулась, — над ней стоял Эмиль.

Все то, что совершилось вслед за этой неожиданной встречей, известно со слов самого Эмиля, по его рассказу, по его ответам на вопросах. — Да, я точно с неба упал в Константинопу! — рассказывал он. — Я приехал потому, что понял, что сами силы небесные не могут остановить меня. Утром семнадцатого января я прямо с вокзала, без всякого предупреждения, явился в дом г. Маро. Я был оше-

ломлен тем, что представилось моим глазам в саду, но едва сделал шаг, как она очнулась. Она, казалось, тоже была изумлена и неожиданностью моего появления, и тем, что было с нею, но даже не издала восклицания, Поглядев на меня, как человек, только что очнувшийся от сна, она поднялась с места, оправляя волосы.

— Вот так я и предчувствовала, — невыразительно сказала она. — Вы не послушались меня!

И, взяв мою голову обеими руками, два раза поцеловала меня в лоб.

Я потерялся от восторга, но она тихо отстранила меня:

— Идем, я не одета, я сейчас вернусь.

— Но, ради бога, что такое было с вами? — спросил я, всходя за нею на балкон.

— О, пустяк, легкое оцепенение, я засмотрелась на блестящую ложечку, — отвечала она, овладевая собой и начиная говорить оживленнее. — Но что вы сделали, что вы сделали!

В доме было пусто и тихо, я сел в столовой, слышал, как она вдруг запела в дальней ком-

нате сильным, звучным голосом, но тогда я не понял всего ужаса этого звука. Я не спал всю ночь, я считал минуты, пока поезд мчал меня к Константине, я вскочил в первый попавшийся фиакр, выбежав из вокзала, я не чаял подняться в город... Я знал, я тоже предчувствовал, что мой приезд будет роковым для нас; но все же того, что я увидел в саду, этой мистической встречи и столь резкого перелома в ее обращении со мной, я не мог ожидать! Через десять минут она вышла в легком светло-сером платье с оттенком ириса.

— Ах, — сказала она, пока я целовал ее руку, — я и забыла, сегодня воскресенье, дети в церкви, а я проспала... Дети после церкви пойдут в сосновую рощу, — вы бывали там?

И, не ожидая моего ответа, позвонила, приказала подать мне кофе и села, стала пристально глядеть на меня и, не слушая, расспрашивать, как я жил, что делал, стала говорить о себе, о том, что после двух или трех очень дурных для нее месяцев, в течение которых она «ужасно постарела», — эти слова были произнесены с какой-то непонятной улыбкой, — она чувствует себя так хорошо,

так молодо, как ни когда... Я отвечал, слушал, но многого не понимал; у меня холодели руки от близости иного, страшного и неотвратимого часа. Я не отрицаю — меня точно молния ослепила, когда она сказала: «Я постарела...» Я вдруг увидел, что она права: в худобе ее рук и поблекшего, хотя и впрямь помолодевшего лица, в сухости некоторых очертаний тела я уловил первые знаки того, что заставляет так больно и даже как-то неловко, — но тем страстнее! — сжиматься наше сердце при виде стареющей женщины. Ах да, как быстро и резко изменилась она! Но все же она была прекрасна, я пьянел, глядя на нее. Я привык без конца мечтать о ней, я не забыл того мига, когда вечером одиннадцатого июля впервые обнял ее колени. Дрожали и ее руки, когда она поправляла прическу, улыбалась и глядела на меня, — и вдруг — вы поймете всю катастрофическую силу этого мгновения! — вдруг эта улыбка как-то исказилась, и она с трудом, но твердо выговорила:

— Вам все же надо поехать к себе, отдохнуть с дороги, — на вас лица нет, у вас такие страдальческие, ужасные глаза и горящие гу-

бы, что я не в силах больше видеть этого... Хотите, я поеду с вами, провожу вас?

И встала и пошла, чтобы взять шляпу и мантилью...

Мы быстро приехали на виллу Хашим. Я задержался у крыльца, чтобы нарвать цветов. Она не стала ждать меня, сама отворила дверь. Прислуги у меня не было, был только сторож, он не видел нас. Когда я вступил в полутемную от закрытых жалюзи переднюю и подал ей цветы, она поцеловала их, потом, обняв меня одной рукой, поцеловала меня. От волнения губы ее были сухи, но голос ясен.

— Но послушай... как же мы... есть что-нибудь с тобой? — спросила она.

Я сперва не понял ее, так потряс меня этот первый поцелуй, это первое «ты», и пробормотал:

— Что ты хочешь сказать?

Она отступила назад.

— Как? — сказала она с изумлением, почти строго. — Неужели ты думал, что я... что мы можем жить после этого? Есть ли у тебя что-нибудь, чтоб умереть?

Я спохватился и поспешил показать ей за-

ряженный револьвер, с которым никогда не расставался.

Она быстро пошла вперед, из комнаты в комнату. Всюду была полутьма. Я следовал за ней с тем помутнением всех чувств, с которым раздетый человек идет в знойный день в море, — слыша только шелест ее шелковых юбок. Наконец ми пришли; она сбросила мантилью и стала развязывать ленты шляпы. Руки ее дрожали, и я еще раз заметил сквозь сумрак что-то очень жалкое в ее лице...

Но умерла она твердо. В последние мгновения она преобразилась. Целуя меня и отстраняясь, чтобы видеть мое лицо, она сказала мне шепотом несколько столь нежных и трогательных слов, что я не в силах повторить их.

Я хотел пойти нарвать еще цветов, чтобы осыпать ими наше погребальное ложе. Она не пустила меня, она торопилась, она говорила: «Нет, нет, не надо... цветы есть... вот твои цветы!» — и все повторяла:

— Итак, заклинаю тебя всем для тебя священным, что ты убьешь меня!

— Да, а затем себя, — сказал я, ни секунды

не сомневаясь в своей решимости.

— О, я верю, верю, — отвечала она уже как бы в забытьи...

За минуту до смерти она сказала очень тихо:

— Боже мой, этому имени нет!

И еще:

— Где цветы, что ты дал мне? Поцелуй меня — в последний раз.

Она сама приставила дуло к виску. Я хотел выстрелить, она остановила меня:

— Нет, нехорошо, дай я поправлю. Вот так, дитя мое... А потом перекрести меня и положи мне цветы на грудь...

Когда я выстрелил, она сделала легкое движение губами. Я выстрелил еще раз...

Она лежала спокойно. Волосы ее были распущены, черепаховый гребень валялся на полу. Я, шатаясь, встал, чтоб покончить с собой. Но в комнате, несмотря на жалюзи, было светло, я резко видел в этом свете ее уже побледневшее лицо... И тут мной вдруг овладело безумие, я бросился к окну, раскидал, распахнул ставни, стал кричать и стрелять в воздух... Остальное вы знаете...

Казимир Станиславович

На пожелтевшей визитной карточке с дворянской короной молодой швейцар дешевой московской гостиницы «Версаль» кое-как прочел только имя-отчество: Казимир Станиславович; дальше следовало нечто еще более трудное для произношения. Повертев карточку в руках, он заглянул в паспорт, поданный приезжим вместе с нею, пожал плечом, — никто из приезжающих в «Версаль» не предъявлял визитных карточек, — бросил то и другое в столик и опять стал глядеться в серебристо-молочное зеркальце над столиком, взбивая гребешком свои густые волосы. Был он в поддевке и расчищенных сапогах, золотой позумент на его картузе был засален, — гостиница была и дешевая и скверная. Казимир Станиславович выехал из Киева в Москву восьмого апреля, по чьей-то телеграмме, заключавшей в себе только одно слово: «Десятого». Деньги у него откуда-то взялись, сел он в купе второго класса, серое, тусклое, но, верно, дававшее ему ощущение роскоши, комфорта.

В дороге топили, и это вагонное тепло, запах калорифера и тугое постукивание молоточков в нем могли напомнить Казимиру Станиславовичу другие времена. Порой казалось, что вернулась зима, белая, очень белая метель заносила в полях щетину рыжих жнивий и большие свинцовые лужи, где плавали дикие утки; но метель эта часто и неожиданно прекращалась, таяла, поля прояснялись, за облаками чувствовалось много света, а на станциях чернели мокрые платформы и кричали в голых тополях грачи. Казимир Станиславович на каждой большой станции выходил к буфету, возвращался в вагон с газетами в руках, но не читал их, а сидел и тонул в дыму своих толстых папирос, горевших жарко, с искрами, и ни с кем из соседей, — одесских евреев, всю дорогу игравших в карты, — не говорил ни слова. На нем было осеннее пальто с обитыми карманами, очень старый креповый цилиндр и новая, но грубая, базарная обувь. Руки его, характерные руки привычного пьяницы и давнего жильца подвалов, зажигая спички, тряслись. О бедности и пьянстве свидетельствовало и все прочее: отсут-

ствие манжет, заношенный бумажный воротничок, ветхий галстук, воспаленное и донельзя измятое лицо, ярко-голубые слезящиеся глаза. Баки его были крашены плохой коричневой краской, вид имели неестественный. Глядел он устало и презрительно.

В Москву поезд пришел на другой день совсем не вовремя, опоздал на целых семь часов. Погода была неопределенная, но лучше и суше киевской, с чем-то волнующим в воздухе. Казимир Станиславович взял извозчика без торга и велел везти себя прямо в «Версаль». «Я, брат, — сказал он, неожиданно нарушая свое молчание, — эту гостиницу еще со студенческих времен знаю». Из «Версаля», как только внесли в номер его корзинку, перевязанную толстой веревкой, он тотчас же вышел.

Вечерело, воздух был тепел, зеленели черные деревья на бульварах, всюду было много народа... Одинок человеку, прожившему и погубившему свою жизнь, в весенний вечер в чужом людном городе! Казимир Станиславович пешком прошел весь Тверской бульвар, снова увидел вдали чугунную фигуру заду-

мавшегося Пушкина, золотые и сиреневые главы Страстного монастыря... В кофейне Филиппова он пил шоколад, рассматривал истрепанные юмористические журналы. Выйдя, постоял в нерешительности, глядя на огненную сквозную вывеску кинематографа, сиявшую вдали по Тверской в синеющих сумерках. Потом поехал в ресторан на бульваре, тоже знакомый со студенческих времен. Вез его старик, согнутый в дугу, печальный, сумрачный, глубоко погруженный в себя, в свою старость, в свои мутные думы, мучительно и нудно помогавший всю дорогу своей ленивой лошади всем существом своим, все время что-то бормотавший ей, иногда ядовито укорявший ее, и наконец довез, — свалил с плеч очередную тяжесть и глубоко вздохнул, принимая деньги.

— А я не разобрал, думал, тебе в «Брагу», — медленно поворачивая лошадь, проговорил он даже как будто недовольно, хотя «Прага» была дальше.

— Помню, старик, и «Прагу», — ответил Казимир Станиславович. — А давно ты, верно, едешь по Москве!

— Езжу-то? — спросил старик, — Пятьдесят второй год езжу...

— Значит, может быть, и меня возил, — сказал Казимир Станиславович.

— Может, и возил, — ответил старик сухо. — На свете народу много, всех вас не упомнишь...

От прежнего ресторана, известного Казимиру Станиславовичу, осталось одно звание. Теперь это был большой низкопробный ресторан. Над подъездом горел электрический шар, гелиотроповым, неприятным светом озарявший лихачей второго сорта, наглых и беспощадных к своим запаленным, костлявым рысакам, тяжело ревушим на бегу. В сырых сенях стояли горшки с тропическими растениями, из тех, что переезжают с похорон на свадьбы и обратно. В лакейской к Казимиру Станиславовичу кинулось сразу несколько человек и все с такими же густыми клубами волос, как у швейцара «Версаля». В большом зеленоватом зале со множеством широких зеркал и с малиновой лампадкой, теплившейся в углу, было еще пусто и зажжено всего несколько рожков. Казимир Стани-

славович долго сидел один. Чувствовалось, что еще не совсем стемнел за окнами в белых шторах долгий весенний вечер, слышалось с улицы цоканье копыт по мостовой; однообразно плескался среди зала фонтанчик в аквариуме, где ходили облезлые золотые рыбки, откуда-то снизу, сквозь воду, освещенные. Белый половой подал прибор, хлеб, графинчик холодной водки. Казимир Станиславович стал пить водку без закуски, давил ее во рту, прежде чем проглотить, а проглотив, стискивал зубы и как будто с отвращением нюхал черный хлеб. Вдруг, даже испугав его, загрехотала на весь зал и запела машина — смесь из русских песен, то преувеличенно бурных, бесшабашных, то не в меру нежных, протяжных, задумчиво-грустных... И у Казимира Станиславовича покраснели глаза, подернулись слезами...

Потом седой, кудрявый грузин принес ему на железной пике полусырой пахучий шашлык, с каким-то развратным щегольством срезал мясо на тарелку и, для пущей азиатской простоты, собственноручно посыпал луком, солью и ржавым порошком барбариса,

меж тем как машина гремела в пустом зале подмывающим к едким изгибам и подскакиваниям кекуоком... Потом подавали Казимиру Станиславовичу рокфор, красное вино, кофе, нарзан, ликеры... Машина давно смолкла. Вместо нее играл на эстраде оркестр немок в белых платьях, освещенный и все наполнявшийся народом зал нагрелся, потускнел от табачного дыма, густо насытился запахом кушаний; половые косились вихрем, пьяные требовали сигар, от которых их тошнило; метрдотели расточали крайнюю заботливость, соединенную с напряженным соблюдением собственного достоинства; в зеркалах, в их мутно-водянистых безднах отражалось что-то огромное, шумное, сложное; Казимир Станиславович несколько раз выходил из жаркого зала в прохладные коридоры, в холодную уборную, где странно пахло морем, шел точно по воздуху и, возвратясь, снова требовал вина. Во втором часу, закрывая глаза и сквозь ноздри втягивая в свою одурманенную голову ночную свежесть, он летел на лихаче, на высокой пролетке с дутыми шинами, за город, в публичный дом, видел вдали бесконечные

цепи поздних огней, убежавших куда-то под гору и снова поднимавшихся в гору, но видел так, точно это был не он, а кто-то другой; в публичном доме он чуть не подрался с каким-то полным господином, который, наступая на него, кричал, что его знает вся мыслящая Россия; потом одетый лежал на широкой постели, покрытой стеганым атласным одеялом, в небольшой комнате, полуосвещенной с потолка голубым фонарем, приторно пахнувшей душистым мылом, с платьями, навешенными на крюк на двери; возле постели стояла ваза с фруктами; девушка, обязанная заниматься Казимира Станиславовича, молча, жадно, со вкусом ела грушу, обрезая ее ножичком, а ее подруга, с голыми толстыми руками, в одной рубашке, делавшей ее похожей на девочку, быстро писала письмо на туалетном столике, не обращая на них никакого внимания; она писала и плакала — о чем? На свете народу много, всего не узнаешь...

Десятого апреля Казимир Станиславович проснулся поздно. Судя по тому, как испуганно открыл он глаза, можно было понять, что его на мгновение ошеломила мысль о том,

что он в Москве и что было вчера. Он вернулся не ранее пятого часа. Он шатался, поднимаясь по лестнице «Версаля», однако без ошибки пошел к своему номеру по длинному вонючему туннелю коридора, где только в самом начале сонно коптила лампочка. Возле всех номеров стояли сапоги и башмаки, — все людей чужих, неизвестных друг другу. Внезапно одна дверь, пахнув на Казимира Станиславовича почти ужасом, растворилась, на пороге ее появился старик в халате, похожий на плохого актера, играющего «Записки сумасшедшего», и Казимир Станиславович увидел лампу под зеленым колпаком и тесно заставленную комнату, берлогу одинокого, старого жильца, с образами в углу и несметными коробками из-под папиросных гильз, чуть не до потолка наложенными одна на другую возле образов... Неужели это был тот же самый полумный составитель жизнеописаний угодников, что жил в «Версале» двадцать три года тому назад? В темном номере Казимира Станиславовича было страшно душно от какой-то едкой и пахучей суши. Свет слабо проникал в темноту из окна над дверью. Казимир

мир Станиславович зашел за перегородку, снял цилиндр со своих очень редких, нафигсатуаренных волос, кинул пальто в изголовье голой кровати... Все закружилось под ним, как только он лег, понеслось в пропасть, и он мгновенно заснул. Во сне все время чувствовал он смрад железного умывальника, стоявшего возле самого его лица, а видел весенний день, деревья в цвету, зал большого барского дома и множество народа, со страхом ожидавшего, что вот-вот приедет митрополит, и это ожидание мучило, томило его всю ночь. Теперь по коридорам «Версаля» звонили, бежали, перекрикивались. За перегородкой, сквозь двойные пыльные стекла, светило солнце, было жарко... Казимир Станиславович снял пиджак, позвонил и стал умываться. Прибежал коридорный, востроглазый мальчишка с лисьим пухом на голове, в сюртуке и розовой косоворотке.

— Калач, самовар и лимон, — сказал Казимир Станиславович, не глядя на него.

— Чай, сахар наш прикажете? — с московской бойкостью спросил коридорный.

И через минуту влетел с кипящим самова-

ром на ладони возле плеча, мгновенно раскинул по круглому столу перед диваном ска-терть, поднос со стаканом и полоскательни-цей, стукнул по подносу ножками самовара... Казимир Станиславович, пока настаивался чай, развернул «Московский листок», подсу-нутый коридорным вместе с самоваром; взгляд его упал па заметку о том, что вчера был где-то поднят в бессознательном состоя-нии неизвестный человек... «Пострадавший отправлен в больницу», — прочел он и бро-сил газету. Он почувствовал себя очень зыб-ко, плохо. Поднявшись, открыл окно, — оно выходило во двор, — и на него запахло свеже-стью и городом, понеслись изысканно-певу-чие крики разносчиков, звонки гудящих за противоположным домом конок, слитный треск экипажей, музыкальный гул колоко-лов... Город давно уже жил своей шумной, огромной жизнью в этот яркий весенний день. Выдавлив в стакан с чаем целый лимон, с жадностью выпив мутную кислую жид-кость, Казимир Станиславович опять ушел за перегородку. «Версаль» затих. Взгляд лениво скользил по конторскому объявлению на сте-

не: «Пробывши три часа, считается за сутки»; мышь гремела в комодѣ, катая кусок сахара, оставленный каким-нибудь проезжим... Так, в полудремотѣ, Казимир Станиславович пролежал за перегородкой до тех пор, пока солнце не скрылось из комнаты и не потянуло в окно другой свежестью, уже предвечерней.

Тогда он тщательно привел себя в порядок: развязал корзинку, переменял белье, достал дешевенький, но чистый носовой платок, обмахнул щеткой лоснящийся сюртук, цилиндр и пальто, вынул из его продранного кармана и кинул в угол затертую киевскую газету. Одевшись и расчесав красящим гребнем баки, он подсчитал свои средства, — в кошельке его оставалось всего четыре рубля семь гривен, — и вышел. Ровно в шесть он был возле низенькой старинной церковки на Молчановке. За церковной оградой мелкой зеленью зеленело развесистое дерево, играли дети, — у одной худенькой девочки, прыгавшей через веревочку, все спадал черный чулочек, — и сидели на скамье, перед колясочками со спящими младенцами, кормилицы в русских нарядах. Все дерево трещало воробьями, воздух

был мягок, — совсем, совсем летний, даже пылью пахло по-летнему, — и нежно золотилось вдали за домами небо над закатом, и чувствовалось, что в мире есть радость, молодость, счастье. В церкви уже горела люстра и стоял нагой, перед ним лежал коврик. Казимир Станиславович осторожно, стараясь не испортить прически, снял цилиндр, вступил в церковь несмело, — он не бывал в церквях уже лет тридцать, — и поместился в уголке, но так, чтобы ему было видно венчающихся. Он оглядывал расписные своды, поднимал глаза в купол, и каждое его движение, каждый вздох звучно отдавался в тишине. Церковь, блестя своим золотом, выжидательно потрескивала свечами. И вот, крестясь, но свободно, привычно стали входить священнослужители, певчие, потом старухи, дети, свадебные нарядные гости и озабоченные шафера. Когда же послышался шум возле паперти, захрустела колесами подъехавшая карета и все обратились ко входу и грянула встреча: «Гряди, голубица моя!» — Казимир Станиславович pokrылся от сердцебиения смертельной бледностью и невольно двинулся вперед. И близко,

близко прошла мимо него, даже фатой своей его коснулась и ландышем овеяла та, которая даже не знала о его существовании на свете, прошла, склонив свою прелестную голову, вся в цветах и сквозном газе, вся белоснежная и непорочная, как принцесса, идущая к первому причастию... Жениха, встретившего ее, низенького, широкоплечего, с желтым бобриком на темени, Казимир Станиславович едва видел. И за все время венчания только одно было перед его глазами: склоненная, в цветах и фате, голова и маленькая до боли в сердце милая, прелестная рука, с дрожью державшая горящую свечу, перевитую белой лентой с бантом...

В десятом часу вечера он был опять дома. Все пальто его пропахло весенним воздухом: после того как, выйдя из церкви, увидел он у паперти зеркальное, отражавшее закат стекло кареты, бело-атласной внутри, и в последний раз мелькнуло за этим стеклом лицо той, которую навсегда, навеки, увозили от него куда-то, он долго скитался по каким-то переулкам, выходил на Новинский бульвар... Теперь он медленно снял с себя пальто трясущимися

руками, положил на стол бумажный мешочек с двумя зелеными огурцами, зачем-то купленными им с лотка разносчика... От них пахло весной даже сквозь бумагу, и по-весеннему, жидко серебрился в верхнее стекло окна апрельский месяц, высоко стоявший на еще не стемневшем небе. Казимир Станиславович зажег свечу, печально осветил свой пустой, случайный приют, сел на диван, ощущая на лице вечернюю свежесть... Так просидел он очень долго. Он не звонил, ничего не требовал, заперся на ключ, — все это показалось подозрительным коридорному, видевшему, как он, шаркая ногами, входил в номер, как вынимал ключ из двери, чтобы запереться изнутри. Коридорный несколько раз пробирався на цыпочках к его двери и смотрел в замочную скважину: Казимир Станиславович сидел на диване и, трясясь и вытирая платком лицо, плакал так ужасно, так обильно, что с бакенбард его сходила и размазывалась по щекам коричневая краска.

Ночью он сорвал шнур с оконной шторы и, ничего не видя от слез, стал привязывать его к крюку вешалки. Но догоревшая свеча жутко

польхала, по запертому на ключ номеруплыли и дрожали страшные темные волны... Нет, умереть от своей руки он был не в силах!

Утром он уехал на вокзал часа за три до поезда. На вокзале он тихо ходил среди пассажиров с опущенными глазами, неожиданно приостанавливался то перед тем, то перед другим и вполголоса, ровно, без выражения, но довольно быстро говорил:

— Ради бога... Нахожусь в безвыходном положении... На билет до Брянска... Хоть несколько копеек...

И некоторые, стараясь не глядеть на его цилиндр, вытертый бархатный воротник пальто и на ужасное лицо с облинявшими фиолетовыми баками, торопясь и конфузясь, давали ему.

А потом он смешался с толпой, кинувшейся к выходу на платформу, и исчез в ней, меж тем как в «Версале», в номере, двое суток как бы принадлежавшем ему, выносили ведро из умывальника, распахивали на апрельское солнце окна и, грубо двигая стульями, выметали, вышвыривали сор, а вместе с сором — его разорванную записку, забытую им вместе

с огурцами, упавшую под стол, под спустившуюся скатерть:

«В смерти моей прошу никого не винить...»

1916

Песня о гоце

Течет река к морю, идет год за годом. Каждый год зеленеет к весне серый лес над Днестром и Реутом.

Сто лет назад весна было не хуже, но правды на земле было еще меньше. Владели Молдавией стамбульские турки, на престол молдавский сажали господарями греков. Господарь жил султаном, боер, помещик, — господарем, а податной, сардарь — как господарь и боер вместе. За народ и за Христову правду стояли одни гоцы.

Посмотри, говорят в народе, посмотри в темноту за реку, если доведется тебе ехать по берегу ночью: ты увидишь скалы, черную пещеру в их обрыве, а в пещере — груды тлеющего жара. Но то не жар, не угли, а червонные старые деньги. Вход в пещеру узок, с каменным порогом. У стены палево — камен-

ный дымник, у стены направо — каменное ложе. А над ложем ниши: в них когда-то стояли снятые иконы. И над каждой нишей вбит костыль из железа: на тех костылях теплились перед иконами лампы. Золото насыпано на полу посередине: не все успел раздать бедным гоц-войник, что жил в этой древней келье, до него служившей приютом святому божьему человеку. Верный конь гоца пасся на речном побережье. А самого гоца, — пусть радуется господь, его грешную душу! — носили на отдых в пещеру орлы на широких крыльях.

Был тот год не талгарь, не разбойник: конокрадам-фараонам ломал ноги, грабил одних богатых, из добычи оставлял себе сотую долю, остальное раздавал неимущим, убивал, только защищаясь, в среду и пятницу постился. Знаешь, какой наряд носил он? А такой, что любой пастух носит: ступни в свиной коже, шаровары и рубаха из холстины, за поясом нож, пистолы, плоска, — по-господски, фляга, — на голове баранья шапка, на плечах просторная манта из овечьей шерсти, за плечами — карабин короткий. А сам он был ста-

тен, как тополь, и, как дуб, крепок, силен, как волк, скор, как мысли, горяч, как любовь к милой, верен, как смерть, с бедным щедр и ласков, с властным — беспощаден; высоки, покаты были его плечи, широка, волосата грудь, топка талия, усы русы, длинные, лицо — словно золото с бронзой, глаза — огонь ясный.

На десятый год своих подвигов пошел гоц в святую ночь помолится в божьей церкви.

Он убил пятнадцать греков, — ты ведь их знаешь: положи в давальню десять турок, десять жидов некрещеных да десять собак паршивых, — потечет кровь грека; он ограбил тридцать сардарей, — они были богаче самого князя, снимали на подать крест и рубаху; он поймал в лесу и подковал конской подковой исправника-турка; он сложил сто двадцать песен, выпил вина сорок бочек, танцевал и в корчмах и на свадьбах; у него был конь рыжий, быстрый, как ветер, умный, как лисица, никогда не хромавший, никогда не потевший, даром что малый и дробный. Девять лет не был гоц в церкви, хоть и думал о боге не меньше нас с тобою, на десятый год собрал-

ся — и дал себе крепкую клятву: что бы ни случилось, никого в эту ночь не обидеть, будь то хоть сам дьявол.

Он оставил коня в поле, кинул на луку поводья, а сам пошел по деревне. Шел он и видел огни в хатах, убранные столы к Пасхе, выбеленные печи. Но в одной, самой старой и убогой, окна были темны, — видно, там даже на огонь не хватало. И стало гоцу скучно, — ведь в такой же он сам вырос, — и с недобрим сердцем вошел он в церковь. Почуяло его сердце, что не даст ему земля покоя даже и в Христову полночь, — так оно, по божьему хотенью, и случилось. В церкви было людно, у всех в руках свечи, на всех лицах радость. Стал гоц, где потемнее, — выше всех был он ростом, — сотворил усердную молитву, оглянулся и видит: стоит рядом с ним ребенок, заморенный, в лохмотьях, держит руку матки, бледной и бедно одетой, а хорошей и с большими глазами. Гоц наклонился и спросил тихонько: «Женщина, кто ты такая, отчего ты бледна, равнодушна?» Женщина робко взглянула на гоца и, склонивши глаза, промолчала. И в другой раз спросил он, еще тише: «Не

твоя ли это хата у балки, не в твоей ли это хате темно в окнах?» Но опять ничего не ответила матка, только поспешно отвернулась и закрестилась на иконы. И перестал гоц слушать, что пели и читали па амвоне. «Побей меня крест и божья мать! — подумал он с тоскою. — Крепкий дал я себе зарок никого в эту ночь не обидеть, да не терпит мое человечесье сердце!» И, не кончив молитвы, скорым шагом вышел вон из церкви. Далеко за балкой, за прудами, насквозь, фонарем, светился богатый дом в поместье. Как хозяин поднялся гоц на крыльцо того дома, разогнал собак плетью и как хозяин вступил в светлые господские покои, а что было дальше, ты и сам можешь догадаться.

В ту Христову полночь та бедная молдавка, что ни слова не сказала гоцу в церкви, долго не решалась войти в свою хату: возвращаясь к той хате, не раз проходила она мимо, думая, что не ее эта хата — так светло было от господских свечей в ее окнах, так богато стол был убран господской яствой. И сидел за тем столом высокий и могучий войник. В ту Христову полночь стала вдова-молдавка возлюб-

ленной гоца. И три года любила она гоца горячо и верно. А на четвертый — подкупил ее вамиш, исправник, и предала она, иуда, гоца в его руки. Тут чауши, пандуры и армаши окружили ее хату, когда гоц отдыхал от далекой дороги, и хотели взять его живого. Он проснулся, схватился за пистолы, вышиб ногой дверь хаты, сказал свое тайное слово, напустил на врагов своих туману, свистнул коня Ройбу, вскочил в седло и помчался, стреляя назад из пистолей. Да враги от него не отставали. Вплавь переплыл конь реку, переплыл другую, переплыл и третью, и уже близки были леса, Кодри, где бы гоц укрылся. Да арнаут, сыщик, — чтобы его земля поглотила! — стал заряжать карабин не пулей, — не брала гоца пуля, — а серебряной монетой, и пробил гоцу спину, а коню его — ногу. Конь споткнулся, гоц упал на землю — тут его туго связали, каблуком проломил ему темя и в оковах повезли на телеге в Яссы... Добрые Христовы люди, было это тоже в светлый Христов праздник!

Вот тянут в гору телегу, обитую железом, волы голубые. На телеге лежит гоц с кровавою раной, рядом идет старая мать гоца, оти-

рает кровь раны, молит волов круторогих: «Вы потише, волы, везите, прошу вас о том со слезами, — не трясите телегу, в ней мой сын умирает!» И, как вода, тихо-тихо качается телега, и говорит воиник: «Уходи, родная, со своим счастьем, а меня оставь с моим огнем-раной!» — Да нет, это так поется в песне. Родная мать гоца тогда еще не слыхала, что везут ее сына в ясскую темницу. И не знала она долго, как он томился, как его пытали. Суд людской не скорый, и опять прошло три года, и опять пришел праздник. Тут сказал гоц стражам: «Добрые Христовы люди, есть у меня в душе мука, взял я у господина большой кошель с деньгами и не видел, что в деньгах тех — медный образок на голубой ленте: это образок младенца, дайте мне вернуть его господину: укажу вам за услугу место великого клада и обещаюсь самим богом воротиться в темницу; снилось мне, что боер тот приехал в Яссы, торгует коней на базаре, — отдам ему образ и опять приду в око-вы».

Ты думаешь, что гоц не вернулся, что свистнул он Ройбу, на свободе гулявшего в Ко-

дрых? Нет, гоц не разбойник, слово его твердо. Он нашел на базаре господина, он отдал образок младенца в хозяйские руки. А когда сделал дело и вернулся в темницу, повели его на суд к князю. Во дворце было войско, много народу и начальников много. А сам князь, в чалме и кафтане, сел на золотом троне и спросил гоца: «Где те деньги, что ты накрал, нагробил?» И ни слова ему гоц не ответил, молча стоял перед троном, величавый и грозный. Тогда князь понял, что спрашивал дерзко, и спросил иначе: «Где те деньги, что ты отнял у богатых?» И ответил гоц князю: «Господарь, ваше высочество, вот и всегда говори так с народом: умно и учтиво. А где деньги, что отнял я у богатых, про то знает только мой конь Ройбу. И не тебе и не твоим слугам я отдам их: вы все равно проиграете их в карты, на вине пропьете!» И ударил князь связанного гоца в щеку.

«Так и Христа-бога били на суде Пилата», — сказал гоц тихо от гнева. И князь грозно крикнул: «Молчать, талгарь, разбойник!» И сказал гоц князю: «На кресте, ваше высочество, простил разбойника сын божий!» И уда-

рил князь гоца еще злее и велел предать его казни.

Ты, зеленый лист дикой яблони, вы, весенние Кодри, и вы, быстрые реки! Ни сила, ни хитрость, ни талисманы, ни заговоры не спасли бы его от позора. Уж стучали топорами на площади в Яссах, уже вострил палач на белую шею гоца свою тяжкую секиру. Да дошла, долетела весть о близкой казни гоца до его родного дома. Встань, божий воиник, слушай: вот заплакала старшая сестра твоя, с черной косой, но бессильны ее слезы; вот заплакала средняя твоя сестра, с рыжей косой ниже стана, — но и она помочь не в силах; вот заплакала твоя младшая сестра, ребенок, — расступаются от слез ее Кодри, разливаются реки, раскрываются ущелья. А теперь, гоц, крепче схватись за темничную решетку — чужей голос вступает?

Как заплакала мать гоца, задрожала его тесная темница, зашатались стены, затрещала ржавая оконная решетка.

Как заплакала мать гоца, в прах рассыпались его оковы, вышел он на вольное поле и ударил сильною ногою в землю:

— Гей, гей, добрые люди! Попомню я вам
ваш Христов праздник!

Март. 1916

Легкое дыхание

На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская.

Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям,

которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, — изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже

пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство.

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движениемправила волосы, дернула уголки передника к

плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским портретом.

— Здравствуйте, mademoiselle Мещерская, — сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. — Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

— Я слушаю, madame, — ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.

— Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, — сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. — Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, — сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом бле-

стящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.

— Вы уже не девочка, — многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

— Да, madame, — просто, почти весело ответила Мещерская.

— Но и не женщина, — еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. — Прежде всего, — что это за прическа? Это женская прическа!

— Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, — ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.

— Ах, вот как, вы не виноваты! — сказала начальница. — Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам,

вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:

— Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом — знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть

ту страничку дневника, где говорилось о Маше Лютиной.

— Я пробежал эти строки и тут же, на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее, — сказал офицер. — Дневник этот, вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июля прошлого года. В дневнике было написано следующее: «Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала, так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и заниматься. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, он остался, потому что был дождь, и

ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет — мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, — пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое от-

вращение, что не могу пережить этого!..»

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским монастырем и острогом, беллет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение божией матери. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала

бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? — Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта — классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, — она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она — идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская — предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубово-

го креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов — и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

— Я в одной папиной книге, — у него много старинных смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько насаказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, — ей-богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, — понимаешь, длиннее обыкновенного! — маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, — я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассея-

лось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

1916

Аглая

В миру, в той лесной деревне, где родилась и росла Аглая, ее звали Анной.

Отца с матерью она лишилась рано. Зашла раз зимой в деревню оспа, и много покойников свезли тогда на погост в село за Свят-Озером. Сразу два гроба стояло и в избе Скуратовых. Девочка не испытала ни страха, ни жалости, только навсегда запомнила тот ни на что не похожий, для живых чужой и тяжелый дух, что исходил от них, и ту зимнюю свежесть, холод великопостной оттепели, что напустили в избу мужики, выносившие гробы к дровням под окнами.

В той лесной стороне деревни редки и малы, грубые бревенчатые дворы их стоят в беспорядке: как суглинистые бугры дозволяют и поближе к речкам, к озерам. Народ там не слишком беден и блюдет свой достаток, свой старый быт, даром что ходит спокон веку на заработки, женщинам оставляя пахать неро-

димую землю, где она свободна от леса, косить в лесу травы, а зимой греметь ткацким станом. К тому быту и лежало сердце Анны в детстве: милы были ей и черная изба, и горячая лучина в светце.

Катерина, сестра ее, давно была замужем. Она и правила домом, сперва вместе с мужем, взятым во двор, а потом, как стал он уходить чуть не на круглый год, одна. Под ее призором девочка росла ровно и споро, никогда не хворала, ни па что не жаловалась, только все задумывалась. Если Катерина окликала ее, спрашивала, что с нею, она отзывалась просто, говоря, что у ней шея скрипит и что она слушает это. «Вот! — говорила она, повертывая голову, свое беленькое личико, — слышишь?» — «А думаешь ты о чем?» «Так. Я не знаю». Со сверстницами она в детстве не водилось, и быпать не бывала нигде, — только ран сходила с сестрой и то старое село за Свят-Озером, где на погосте, под соснами, торчат сосновые кресты и стоит бревенчатая церковка, крытая почерневшими деревянными чешуйками.

Впервые нарядили ее тогда в лапти и сара-

фан из пестряди, купили ожерелье и желтый платок.

Катерина о муже горевала, плакала; плакала и о своей бездетности. А, выплакав слезы, дала себе обет не знать мужа. Когда муж приходил, она встречала его радостно, ладно говорила с ним о домашних делах, заботливо пересматривала его рубахи, чинила, что надо, хлопотала возле печки и бывала довольна, когда ему что нравилось; но спали они розно, как чужие. А уходил он, — опять становилась она скучной и тихой. Все чаще отлучалась она из дому, гостила в недалней женской обители, бывала у старца Родиона, спасавшегося за той обителью в лесной хижине. Она настойчиво училась читать, приносила из обители священные книги и читала их вслух, необычным голосом, опустив глаза, держа книгу в обеих руках. А девочка стояла возле, слушала, оглядывая избу, которая всегда была прибрана. Упиваясь звуком своего голоса, читала Катерина о святых, о мучениках, наше темное, земное презревших ради небесного, восхотевших распять плоть свою со страстями и похотьями. Анна слушала чтение, как

песню на чужом языке, со вниманием. Но закрывала Катерина книгу — и она никогда не просила почитать еще: всегда непонятная была она.

Годам к тринадцати она стала отменно тонка, высока и сильна. Она была нежна, белая, синеглаза, а работу любила простую, грубую. Когда наступало лето и приходил муж Катерины, когда шла деревня на покосы, шла и Анна со своими и работала как взрослая. Да летняя работа в той стороне скудная. И опять оставались сестры одни, опять возвращались к своей ровной жизни, и опять, убравшись со скотиной, с печкой, сидела Анна за шитьем, за станом, а Катерина читала — о морях, о пустынях, о городе Рима, о Византии, о чудесах и подвигах первохристиан. В черной лесной избе звучали тогда чарующие слух слова: «В стране Каппадокийской, в царствование благочестивого византийского императора Льва Великого... Во дни патриаршества преподобного Иоакима Александрийского, в далекой от нас Эфиопии...» Так и узнала Анна о девах и юношах, растерзанных дикими зверьми на ристалищах, о небесной красоте Варвары,

обезглавленной своим лютым родителем, о мощах, хранимых ангелами на Синайской горе, о войне Евстафии, обращенном к истинному богу зовом самого распятого, солнцем просиявшего среди рогов оленя, им, Евстафием, на зверином лове гонимого, о трудах Саввы освященного, обитавшего в Долине Огненной, и о многих, многих, горькие дни и ночи свои проводивших у пустынных потоков, в криптах и горных киновиях... В отрочестве она видела себя во сне в длинной льняной рубахе и в железном венце на голове. И Катерина сказала ей: «Это тебе к смерти, сестра, к ранней кончине».

А на пятнадцатом году она стала совсем как девушка, и народ дивился ее миловидности: золотисто-белый цвет ее продолговатого лица чуть играл топким румянцем; брови у нее были густые, светло-русые, глаза синие; легкая, ладная, — разве что не в меру высокая, тонкая и долгорукая, — тихо и хорошо поднимала она длинные свои ресницы. Зима в тот год была особенно суровая. Завалило снегом леса, озера, толсто оковало льдом проруби, жгло морозным ветром да играло по

утренним зорям двумя зеркальными, в радужных кольцах, солнцами. Перед Святками Катерина ела тюрю, толокно, Анна же питалась лишь хлебом. «Другой вещей сон хочу себе выпостить», — сказала она сестре. И под Новый год вновь приснилось ей: видела она раннее морозное утро, только что выкатилось из-за снегов слепящее ледяное солнце, острым ветром перехватывало дух; и на ветер, на солнце, по белому полю, летела она на лыжах, гналась за каким-то дивным горностаем, да сорвалась вдруг куда-то в пропасть — и ослепла, задохнулась в туче снежной пыли, взвившейся из-под лыж на срыве... Ничего нельзя было понять в этом сне, но Анна за весь день Нового года ни разу не взглянула в глаза сестре; ездили попы по деревне, зашли и к Скуратовым, — она спряталась за занавеску под полатями. В ту зиму, еще не утвердившись в своих помыслах, часто она бывала скучная, и Катерина говорила ей: «Давно зову к батюшке Родиону, он бы все снял с тебя!»

Она читала ей в ту зиму об Алексее Божьем человеке и об Иоанне Кущнике, в нищете умерших у ворот своих знатных родите-

лей, прочла о Симеоне Столпнике, заживо сгнившем на стоянии в каменном столпе. Анна спросила ее: «А что ж батюшка Родион не стоит?» И она ей ответила, что подвиги святых людей бывают разные, что наши страсто-терпцы больше по киевским пещерам, а потом по дремучим лесам спасались или достигали царствия небесного в образе нагих, непотребных юродов. В ту зиму узнала Анна и о русских угодниках — о своих духовных пращурах: о Матфее Прозорливом, коему было даровано видеть в мире лишь одно темное и низкое, проникать в сокровеннейшие скверны людских сердец, прозревать лики подземных диаволов и слышать нечестивые советы их, о Марке Гробокопателе, посвятившем себя погребению мертвых и в непрестанной близости со Смертью обретшем такую власть над нею, что она трепетала его голоса, об Исаакии Затворнике, одевшем свое тело в сырую шкуру козла, навсегда к нему приросшую, и предававшемся безумным пляскам с бесами, по ночам увлекавшими его в скакания и вихляния под громкие свои клики, дудки, тимпаны и гусли... «От него, Исаакия, и пошли юроди-

вые, — сказала ей Катерина, — а сколько их было потом, того счесть нельзя! Батюшка Родион так баял: ни в одной стране их не было, только нас посетил ими господь по великим грехам нашим и по великой своей милости». И прибавила, что слышала в обители, — скорбную повесть о том, как ушла Русь из Киева в леса и болота непроходимые, в лубяные городки свои, под жестокую державу московских князей, как терпела она от смут, междоусобий, от свирепых татарских орд и от прочих господних кар — от мора и глада, от пожарищ и небесных знамений. Было тогда, сказала она, столь многое множество божьих людей, Христа ради страдавших и юродствовавших, что по церквям от писку и крику их не слышать было божественного пения. И немалое число из них, сказала она, сопричислялось к лику небесному: есть Симон, из приволжских лесов, что скитался и прятался взора человеческого по диким урочищам в одной рубахе издранной, после же того, обитая в городе, каждодневно был бит гражданами за непотребство свое и скончался от ран, причиненных побоями; есть Прокопий, прини-

мавший непрестанные муки в городе Вятке, зане в ночи взбегал он на кокольніцы и бил в колокола часто и с тревогою, как бы во время огненного запаления; есть Прокопий, родившийся в зырянских краях, среди дикарей-звероловцев, всю жизнь ходивший с тремя кочергами в руках и обожавший пустые места, грустные лесные берега над Сухоною, где, сидя на камушке, со слезами молился о плывущих по ней; есть Яков Блаженный, что приплыл в гробной лубовой колоде по речке Мете к темным жителям той бедной местности; есть Иоанн Власатый, из-под Ростова Великого, волосы имевший столь буйные, что в страх повергались все видевшие его; есть Иоанн Вологодский, нарицаемый Большой Колпак, ростом малый, лицом морщиноватый, весь крестами увешанный, до кончины не снимавший с себя колпака, чугуну подобного; есть Василий Нагоходец, вместо одежды носивший и в зимний хлад, и в летний вар лишь цепи железные да платочек в руке... «Ныне, сестра, — сказала Катерина, — все они предстоят господу, радуются в сонме святых его, мощи же их нетленные почивают в раках

кипарисных и серебряных, в святолепных соборах, рядом с царями и святителями!» — «А что же батюшка Родион не юродствовал?» — опять спросила Анна. И Катерина ответила, что он пошел по стопам подражавших не Исакию, а Сергию Радонежскому, по стопам зажителей монастырей лесных. Батюшка Родион, сказала она, спасался сперва в одной древней и славной пустыне, основанной на тех самых местах, где среди дремучего леса, в дупле трехвекового дуба, жил некогда великий святой; там нес он строгое послушание и принял пострижение, удостоился за покаянные свои слезы и бессердечие к плоти лицемерия самой царицы небесной, выдержал обет семилетнего затвора и семилетнего молчания, но и этим не удовольствовался, оставил монастырь и пришел, — уже много, много лет тому назад, — в наши леса, надел лапти лыковые, белый балахон из вретнца, эпитрахиль черную с осьмиконечным крестом на ней, с изображением черепа и костей Адамовых, вкушает лишь воду и снытку невареную, окошечко своей хижины заградил иконою, спит в гробу, под негасимую лампадою, и в

полночные часы непрестанно осаждают его звери воюющие, толпы мертвецов яростных и диаволов...

Пятнадцать лет от роду, в ту самую пору, когда надлежит девушке стать невестою, Анна покинула мир.

Весна в тот год пришла ранняя и жаркая. Ягода поспела в лесах несметная, травы были по пояс, и с начала Петровок уже пошли косить их. Анна с охотой работала, загорела на солнце, среди трав и цветов; румянец темней пылал на ее лице, сдвинутый на лоб платок скрывал теплый взгляд очей. Но вот однажды, на покосе, большая блестящая змея с изумрудной головой обвилась круг ее босой ноги. Схватив змею своей длинной и узкой рукой, сорвав с себя ее ледяной и скользкий жгут, далеко отбросила его Анна и даже лицо не подняла, а испугалась крепко, белее полотна сделалась. И Катерина сказала ей; «Это тебе, сестра, третье указание; бойся Змея Искусителя, опасная пора идет к тебе!» И от испугу ли, от этих ли слов, только с неделю после того не сходил с лица Анны смертный цвет. А под Петров день нежданно-негаданно попр-

силась она пойти в обитель ко всенощной — и пошла и ночевала там, а наутро удостоилась стоять в народной толпе у порога отшельника. И великую милость оказал он ей: изо всей толпы ее выгядел и поманил к себе. И вышла она от него, низко склонив голову, пол-лица закрыв платком, сдвинув его на огонь своих жарких ланит и в смятении чувств не видя земли под собой: избранным сосудом, жертвой господу назвал он ее, зажег две восковых свечечки и одну взял себе, другую дал ей и долго стоил, молясь перед образом, а потом велел ей приложиться к тому образу — и благословил быть через малый срок в обители на послушании. «Счастье мое, жертва немудрая! — сказал он ей. — Будь невестой не земной, а небесною! Знаю, знаю, сестра тебя приуготовила. Потщусь и я, грешный, о том».

В обители, в иночестве, отрешенная от мира и от своей воли ради духовного своего восприемника, Анна, нареченная при постриге Аглаей, пробыла тридцать три месяца. На исходе же тридцать третьего — преставилась.

Как жила она там, как спасалась, о том, за

давностью времени, в полноте никому не ведомо. Но все же кое-что в народной памяти осталось. Шли однажды бабы-богомолки из разных и дальних краев в тот лесной край, где родилась Анна. Встретился им у речки, через которую им нужно было переправиться, привычный скиталец по святым местам, видом невзрачный, отрепанный, даже, просто сказать, чудной, глаза у него под старым господским котелком были платком завязаны. Они стали его расспрашивать о путях, о дорогах к обители, о самом Родионе и об Анне. Он в ответ им сперва о себе поговорил: я, мол, сестрицы, и сам знаю не бог весть что, однако ж побеседовать с вами отчасти могу, ибо возвращаюсь именно из тех местностей; вам, сказал, небось жутко со мной — и я не дивлюсь этому, многим со мной не мед: пеший ли, конный ли встретится, видит — идет по лесу странничек, ковыляет себе один-одинешенек со белым платком на глазах да еще псалмы распевает — понятно, оторопь берет; уж чересчур, по грехам моим, жадные да быстрые глаза у меня, зрение столь редкостное и пронзительное, что я даже ночью как

кошка вижу, будучи и вообще не в меру зряч, в силу того, что не с людьми я иду, а сторонкою; ну, вот и решил я сократить немного свое телесное зрение... Потом он стал рассказывать, сколько, по его расчету, осталось богомолкам еще идти, на какие местности надо путь держать, где иметь ночевки и отдыхи и какова обитель есть.

— Сперва, — сказал, — придет село на Свят-Озере, потом та самая деревня, где родилась Анна, а там увидите вы другое озеро, монастырское, хоть и мелкое, а порядочное, и придется нам по этому озеру в лодке плыть. А как высадитесь, туг уж и самый монастырь рукой подать. Понятно, и на том берегу леса без конца, а сквозь лес глядят, как обыкновенно, стены монастырские, главы церковные, кельи, странноприимницы...

Потом долго повествовал о житии Родиона, о детстве и отрочестве Анны, под конец же рассказал о ее пребывании в обители:

— Пребывание ее было, ох, недолгое! — сказал он, — Жалко, говорите, такой красоты и младости? Нам-то, глупым, понятно, жалко. Да, видно, отец Родион хорошо знал, что дела-

ет. Он ведь и со всеми таков бывал — и ласков, и кроток, и радостен, и настойчив до беспощадности, с Аглаей же особенно. Был я, бабочки, на месте ее упокоения... Длинная могилка, прекрасная, вся травой заросла, зеленая... И не скрою, не скрою: это там, на могиле, выдумал я завязать себе глаза, это Аглаин пример надоумил меня: ведь она, надобно вам знать, за все свое пребывание в обители ни на единый час не подняла очей — как сдвинула покров на них, так и осталась, и на речь так скупа была, так уклончива, что даже сам отец Родион дивился ей. А ведь, небось, не легко было ей такой подвиг поднять — с землей-то, с лицом-то человеческим навсегда расстаться! И работу она несла в обители самую тяжкую, а ночи на молитве простаивала, Да зато, говорят, и возлюбил же ее отец Родион! Из всех отличил, каждодневно допуская в свою хижинку, вел с ней долгие беседы о будущей славе обители, открывал ей даже свои видения — понятно, с строгим заповеданием молчания. Ну, вот и сторела она, как свеча, в самый краткий срок... Опять вздыхаете, жалкуете? Соглашаюсь: горестно! Но я вам гораз-

до больше скажу: за великое ее смирение, за неглядение на мир земной, за молчание и непосильное трудничество он совершил неслыханное: на исходе третьего года ее продвига он посхимил ее, а потом, по молитве и святому размышлению, призвал ее к себе в единый страшный час — и повелел кончину принять. Да, так прямо и молвил ей: «Счастье мое, приспела твоя пора! Останься во моей памяти столь же прекрасною, как стоишь ты в сей час передо мной: отойди ко господу!» И что ж вы думаете? Через сутки она и преставилась. Слегла, запылала огнем — и кончилась. Он, правда, утешил ее — поведал ей перед кончиной, что, поелику лишь малое из тайных его бесед не сумела она скрыть в первые дни послушания, истлеют у нее лишь одни уста. Он пожаловал серебра на ее похороны, меди для раздачи при ее погребении, колодок свечей на сорокоуст по ней, желтую рублевую свечу ко гробу ее и самый гроб — круглый, дубовый, выдолбленный. И по его благословению, положили ее, тонкую и росточком отменно долгую, в тот гроб с волосами распущенными, в двух рубашках-саванах,

в белом подряснике, опоясанном черною по-
кромкою, а поверх его — в черной, с белыми
крестами, мантии; на головку надели зеле-
ную, шитую золотом шапочку из бархата, на
шапочку — камилавочку, после же того повя-
зали синей шалью с кисточками, а в ручки
вложили кожаные четочки... Убрали, словом,
куда как хорошо! А все же, бабочки, есть ка-
верзный, бесий слух, что умирать ей не хоте-
лося, ох, как еще не хотелось-то! Отходя в та-
кой младости и в такой красоте, со всеми, го-
ворят, в слезах она прощалася, всем говорила
громко: «Простите меня!» Напоследок же за-
крыла глаза и отдельно молвила: «И тебе,
мати-земля, согрешила семь душой и телом —
простишь ли меня?» А слова те страшные:
припадая челом ко земле, их читали в пока-
янной молитве по древней Руси за вечерней
под Троицу, под языческий русальный день.

1916

Сны Чанга

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах.

Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница — он все дремлет.

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол весь дымит густым серым дымом: море с утра до

вечера переваливается через мол пеннистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках...

В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанг с капитаном. Шесть лет — много это или мало? За шесть лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и сорока нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают — живут «на берегу», как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнувшего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда кроме того сумрачно: два окна, пробитые в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены на лево старая железная кровать; вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром.

Чанг спит в уголке за камином. Капитан ни кровати. Какова эта чуть не до полу про- давленная кровать и каков матрац на ней, легко представит себе всякий, живавший на чердаках, а нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит, — на спине, с закрытыми глазами и серым лицом, — неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде! Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками! Но и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может проспять и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга: первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из

неведомого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!» — Все же дни и ночи попрежнему существуют, и вот опять была ночь и опять наступает утро. И капитан с Чангом просыпаются.

Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно: то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный...

Видит он:

Поднялся на палубу парохода старый, кистологлазый китаец, опустился на корячки, стал

скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он принес с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок, — рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, — строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши.

— Продай лучше собаку! — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.

Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и от радости, стал кланяться и цокать: «Ve'u good dog, ve'u good!» — И щенка купили, — всего за целковый, — назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели, так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего: не видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо...

В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серо-зеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские побережья расходились, терялись в тумане — и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном, были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мгlistым небом. Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как матросы, в кованых сапогах и мокрых накидках, отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с перека-

та вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на полкофейная чашка, забытая на столике лаке-ем... И с этой минуты пошла музыка!

Дни потом были всякие: то огнем жгло с сияющей лазури солнце, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни; но качало, качало непрерывно, даже и во время стоянок. В конце замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая во-

дяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками. Слышал большой Чанг далекие командные крики, гремящие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможденный рогожными тюками чая, — и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха...

Но тут сон Чанга обрывается.

Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна с пушечным выстрелом ударила в корму — это грохнула где-то внизу дверь, с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем как Чанг, в своей рыжей поношенной шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола. На комодѣ стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдува-

ясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает лакать. А капитан закуривает и снова ложится — ждать того часа, когда совсем обедняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу, на улице, непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано. И капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно wpłyвает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так: «Ах, глупый, глупый! Есть только одна правда на свете, и если бы ты знал, какая эта чудесная правда!» И опять не то снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда, после мучительного, беспокойного океана, вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море...

Снится ему:

Проходя Перим, все медленнее, точно баю-

кая, размахивался паролод, и впал Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И очнувшись, изумился выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувшийся из-под двери на палубу, был очарователен... Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию: там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное — там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи... И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды — одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Но о другой Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную, блестящую громаду паролодной трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из ма-

шинного отделения, капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз, во всем тугом и белоснежном. И увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек, на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки.

На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым побережьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, — всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что, казалось, туда можно пере-

прыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед помощник капитана, — тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дую ему в нос, — человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облачко... Потом капитан крикнул из рубки: «Чанг! Кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сиганул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки вроде круглых стенных часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полосу. Чанг, кончив лакать, с молоком на

усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная рубаша матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу:

— Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее, — ишь, какое оно от островков и рифов пестрое, — надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоём существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов... Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе...

И говоря так, капитан вдруг строго глянул

на Чанга и дал ему пощечину:

— Лапы с карты прочь! — крикнул он начальственно. — Не смей лезть на казенное добро!

И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и плавать — скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придавал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица-жена и, в-третьих, чудесная дочка, и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек.

— Все-таки, Чанг, счастливый! — сказал

капитан, а потом добавил:

— Дочка эта самая, Чанг, девочка, резвая, любопытная, настойчивая, — плохо тебе будет временами, особенно твоему хвосту! Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней, — ну, скажем, почти в ней, — а разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? — спросил он. — Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному — от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но, насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать — тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, ска-

жем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему! Жутко жить на свете, Чанг, — сказал капитан, — очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь, или же совсем, совсем напротив?

И, помолчав, еще прибавил;

— Главная штука ведь в чем? *Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь.* И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, Боже мой, как великолепна!

Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно разрезал заштилевшее в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень, медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол — «нет, брат,

жарко!» — сказал он, — но на этот раз Чанг не обиделся: слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом...

Но тут опять прерывается сон Чанга.

— Чанг, идем! — говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный. И тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и сторбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро: его бодрит еще неулегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки...

Да, вот уже два года, изо дня в день, занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусываю-

щих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана, на полу. А капитан сидит и курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону, перебраться в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной, среди краснолицых немцев, — людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с тою целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных, — потом пойдут в кофей-

ню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрерывным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье, — и просидят там до поздней ночи...

Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в кофейне, а теперь сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете, — злая и низкая. — Ты посмотри кругом, говорит он, ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар — жизнь везде такова! Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, — нет даже простой жалости. Жизнь скучный, зимний день в грязном кабаке, не более...

И Чанг, лежа под столом, слушает все это

в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан; да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю» только в печали; в радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает... Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана — и запеваает скрипка, за ней другая, третья... Они поют все страстней, все звончее — и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятого восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то — и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир — и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море...

— Да, так как это было? — не то снится, не то думается ему. — Да, помню: хорошо было

жить в жаркий полдень в Красном море! Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике... О, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками развешенные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса, под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором, после завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на виннокрасное, лишённое лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру... Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце

спешило, спешило, — море точно втягивало его, — и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильнее заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что все-таки он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту — и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него...

Ночь же настала страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, — ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана! — при-

шел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем: из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады белоогненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон, сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и охлаждал густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как-бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую (Бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и гяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную

одежду капитана...

В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли там, в тени и свете лампы, два фотографических портрета: хорошенькая сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье, — стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царица. И капитан сказал, раздеваясь под шум черных волн за открытым окном:

— Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! *Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от самую никогда и никого не любят.* Есть такие — и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь

спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксажуры волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям самой Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных, огненно-панцырных волнах?

— У-у! сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака: — Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя, — в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще неулегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и далекими от меня! Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: «А ты еще не спишь, бедный?» Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла, — только быстро взглянула на меня, — и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: «помоги мне расстегнуть сзади платье» — и я по-

корно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки — и как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услышал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом...

И, не договорив, капитан махнул рукой.

Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, перевертываясь и укладываясь в сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна, — некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, — и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном...

Ночью капитан вдруг что-то крикнул и, сам испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно-жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:

— Да, да! «Золотое кольцо в ноздре свињи — женщина прекрасная!» Трижды прав ты, Соломон Премудрый!

Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку — и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо — только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный Крест из-за черных туч...

Но тут внезапно оглушает Чанга громовый грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о подводные камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет, кругом не ночь, не море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику:

— Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома...» Аа, женщина! «Дом ее ведет к смерти и стези ее — к мертвецам...» Но довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают, — идем!

И через минуту капитан, Чанг и художник на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг, полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном... Опять прошел день, — сон или действительность? — и опять в мире тьма, холод, утомление...

Так, однообразно, проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром, мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана — и видит, что капитан ле-

жит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижимыми. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль...

Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди — дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сживал капитан в ресторанах, — Чанг как бы каменеет... О, как страшно говорил когда-то капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем...» Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну.

А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый — только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, — точно две сестры разных возрастов, — а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиющих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается:

— Чанг! — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу: — Чанг, что с тобою?

И, коснувшись задрожавшей рукою голо-

вы Чанга, наклоняется еще ниже — и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет, нет — есть на земле еще какая-то, мне неизвестная, третья правда!

В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина — снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями... Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудями жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.

Кто-то тоже лежит теперь — там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памя-

ти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан: в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда, — третья, — а какая она — про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.

1916, Васильевское

Петлистые уши

Необыкновенно высокий человек, который называл себя бывшим моряком, Адамом Соколовичем, многим встречался в этот темный и холодный день то возле Николаевского вокзала, то в разных местах Невского проспекта. С панели Лиговки он, с непонятной серьезностью, смотрел на памятник Александру III, на вереницу трамвайных вагонов, описывающих круг по площади, на черные людские фигуры, на извозчиков и ломовых,двигающихся к вокзалу, на огромный почтовый автомобиль, выезжающий из-под вокзальной арки, на дроги, увозившие куда-то среди этого движения нищенский, никем не провожаемый ярко-желтый гроб; стоя на

Аничковом мосту, он сумрачно заглядывался на темную воду, на посеревшие от нечистого снега баржи; бродя по Невскому, внимательно изучал товары в окнах магазинов. Не заметить и не запомнить его было нельзя, и всякий, кому он попадался на глаза, испытывал чувство смутной неприятности, какого-то беспокойства и, отворачиваясь, думал:

— Ах, какой ужасный господин!

Его обувь, узкие брюки, драповое пальто, забрызганное сзади грязью, и кожаный английский картуз говорили о том, что они носят давно, бессленно и во всякую погоду. Необыкновенно высокий, худой и нескладный, долгоногий и с большими ступнями, с свежесбритым ртом и желтоватой, довольно редкой американской опушкой под сильно развитой нижней челюстью, с лицом мрачным, недоброжелательным и сосредоточенным, не выпуская длинных рук из карманов и равномерно жуя мундштук папиросы, он подолгу стоял перед витринами. Точно ли уж так интересовали его все эти галстуки, часы, чемоданы, писчебумажные принадлежности? Сразу было видно, что нет, что он из числа

тех странных людей, которые скитаются по городу с утра до вечера единственно потому, что могут думать только на ходу, на улице, или вследствие бездомности, в ожидании чего-нибудь.

Вечер он провел в дешевом ресторане недалеко от Разъезжей, с какими-то двумя матросами.

Не раздеваясь, все трое сидели в тусклой и холодной комнате за неудобным столиком у стены, причем Соколович поместился особенно неудобно: в спину ему глядел маленький круглоголовый татарин, стоявший в глубине комнаты за стойкой с закусками, перед глазами у него торчала на стене реклама пивного завода, изображающая трех счастливых хлыщей в цилиндрах на затылок и с пенящимися бокалами в руках, справа поминутно дуло ледяной сыростью, приносимой входящими с улицы посетителями, а слева веяло ветром от пробежавших к стойке и обратно официантов: тут был порог в три ступеньки, — ход в коридорчик, откуда пахло кухней и кислотой газа, — и видна была открытая дверь в бильярдную, сверху темную, а внизу светлую, где

крепко щелкали шары и ходили с киями на плечах и в одних жилетах безголовые мужчины: головы их терялись в сумраке. Садясь на свое беспокойное место, Соколович вынул из кармана пальто трубку и, перекосив брови, пристально посмотрел на пивную рекламу. Матросы разговаривали с подошедшим официантом, а он стал набивать трубку табаком и, ни к кому не обращаясь, медлительно сказал своим густым голосом:

— Почему собирают всякий вздор, а не собирают рекламы, то есть исторические документы, наиболее правдиво рисующие человеческие идеалы? Разве, например, вот эти франты не выражают мечту девяти десятых всего человечества?

— Вы ж сами панский сын, — неприязненно заметил на это один из матросов, Левченко.

— Я сын человеческий, — сказал Соколович с какой-то странной торжественностью, которая могла сойти и за иронию. — Мое панство не помешало мне видеть мир и всех богов его. Не помешало даже быть шофером... Это, знаете, очень острое удовольствие — ви-

деть, как несется на тебя улица и как мечется впереди, не зная, в какую сторону кинуться, какая-нибудь прекрасная дама.

И, сказав, закурил, поставил локоть на стол, придерживая трубку крупной левой рукой, на которой под обшлагом не видно было рубашки и на удлиненной плоской кисти синела татуировка, — изогнутый японский дракон.

Весь вечер пили из чашек, под видом чая, кавказский коньяк, закусывая мятными розовыми пуговками, и немилосердно дымили. Матросы, как все рабочие люди, постоянно оскорбляемые жизнью, много говорили, каждый стараясь говорить только о себе, выискивали в памяти наиболее низкие поступки своих врагов и притеснителей, хвастались, — один будто бы дал однажды «в харю» придиричивому помощнику капитана, другой вышвырнул за борт боцмана, — и все спорили, поминутно крича:

— Ну, хотите пари?

Соколович сосал трубку, двигал челюстью и угрюмо молчал. Завсегдатай всяческих при-
тонов от Кронштадта до Монтевидео, он, од-

нако, никогда не пьянствовал, любил только джинджер, абсент. В этот вечер он не отставал в питье от своих компаньонов, но наружно хмель не оказывал на него влияния. И это тоже задевало матросов, тем более, что их, как они признавались впоследствии, всегда раздражало сильное и отталкивающее лицо Соколовича, его склонность к загадочной задумчивости и то, что они хорошенько не знали и не могли понять ни его характера, ни его прошлого, ни его теперешней бездомности и бездельной жизни. Левченко, пьяневший довольно быстро, раз крикнул ему:

— Он тоже тип! Мы ж вас угощаем, что ж вы не разделяете компании, а только смочите свою копченую люльку?

И Соколович грубо и спокойно осадил его:

— Не орите, сделайте милость. Это меня сердит. Я уж не раз говорил вам, что вино на меня мало действует и не доставляет мне особого удовольствия. Вкус у меня притуплённый. Я так называемый выродок. Поняли?

Левченко смутился и ответил с напускной развязностью:

— Ну, да и вы тоже не задавайтесь, пожа-

луйста! Что такое я понял? Когда б вы были выродок, вы бы были больной и на вино слабый, а вы мне рассказываете обратно. Вы человека можете убить одной рукой, а говорите...

— А говорю правильно, — перебил Соколович, возвышая голос. — У всякого выродка одни восприятия и способности обострены, повышены, а другие, напротив, понижены. Поняли? И сила тут совсем ни при чем.

— А как же я того выродка узнать могу, если он здоровый, как той кабан? — насмешливо спросил Левченко.

— А по ушам, например, — ответил Соколович не то всерьез, не то насмешливо. — У выродков, у гениев, у бродяг и убийц уши петлистые, то есть похожие на петлю, вот на ту самую, которой и давят их.

— Ну, знаете, убить всякий может, если разгорячится — небрежно вставил другой матрос, Пильняк, — Я раз в Николаеве...

Соколович выждал, пока он кончит, и сказал:

— Я, Пильняк, тоже подозреваю, что эти уши присущи не одним только так называе-

мым вырождакам. Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости сидит, как вам известно, в каждом. А есть и такие, что испытывают совершенно непобедимую жажду убийства, — по причинам весьма разнообразным, например, в силу атавизма или тайно накопившейся ненависти к человеку, — убивают, ничуть не горячась, а убив, не только не мучаются, как принято это говорить, а напротив, приходят в норму, чувствуют облегчение, — пусть даже их гнев, ненависть, тайная жажда крови вылились в форму мерзкую и жалкую. И вообще пора бросить эту сказку о муках совести, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж содрогаются от крови. Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступлении без всякого наказания. Состояние убийцы зависит от его точки зрения на убийство и от того, ждет он за убийство виселицы или же награды, похвал. Разве, например, признающие родовую месть, дуэли, войну, революцию, казни мучаются, ужасаются?

— Я читал «Преступление и наказание» До-

стоевского, — заметил Левченко не без важности.

— Да? — сказал Соколович, поднимая на него тяжелый взгляд. — А про палача Дейблера вы читали? Вот он недавно умер на своей вилле под Парижем восьмидесяти лет от роду, отрубив на своем веку ровно пятьсот голов по приказу своего высокоцивилизованного государства. Уголовные хроники тоже сплошь состоят из записей о самом жестоком спокойствии, цинизме и резонерстве самых кровавых преступников. Но дело, однако, не в выродках, не в палачах и не в каторжниках. Все человеческие книги — все эти мифы, эпосы, былины, истории, драмы, романы, — все полны такими же записями, и кто же это содрогается от них. Каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут, каждый гимназист учит, что ассирийские цари обивали стены своих городов кожей пленных, каждый пастор знает, что в Библии слово «убил» употребляется более тысячи раз и по большей части с величайшей похвальбой и благодарностью творцу за содеянное.

— Зато это и называется Ветхий завет, древняя история, — возразил Левченко.

— А новая такова, — сказал Соколович, — что от нее встала бы шерсть у гориллы, умеи она читать... Ну, нет, — сказал он, кося брови и отводя глаза в сторону, — с Каином гориллам двуруким нечего равняться! Далекo ушли они от него, давно потеряли наивность — вот с тех самых пор, вероятно, как построили Вавилон на месте своего так называемого рая. У горилл настоящих еще не было ни этих ассирийских царей, ни Цезарей, ни инквизиции, ни открытия Америки, ни королей, подписывающих смертные приговоры с сигарой во рту, ни изобретателей подводных лодок, пускающих ко дну сразу по несколько тысяч человек, ни Робеспьеров, ни Джеков-Потрошителей... Как вы думаете, Левченко, — спросил он, снова поднимая строгие глаза на матросов, — мучились все эти господа муками Каина или Раскольникова? Мучились всякие убийцы тиранов, притеснителей, золотыми буквами записанные на так называемые скрижали истории? Мучаетесь вы, когда читаете, что турки зарезали еще сто тысяч ар-

мян, что немцы отравляют колодцы чумными бактериями, что окопы завалены гниющими трупами, что военные авиаторы сбрасывают бомбы в Назарет? Мучается какой-нибудь Париж или Лондон, построенный на человеческих костях и процветающий на самой свирепой и самой обыденной жестокости к так называемому ближнему? Мучился-то, оказывается, только один Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы.

— Майна! Поехало! — крикнул Левченко, желая перевести в шутку уже тяготивший его разговор.

Соколович помолчал и, сплюнув между колен, спокойно добавил:

— В войнах участвуют теперь уже десятки миллионов. Скоро Европа станет сплошным царством убийц. Но ведь всякий отлично знает, что мир ни на йоту не сойдет с ума от этого. Говорили когда-то, что на Сахалин поехать очень страшно. Но желал бы я знать, кому придет в голову побояться поехать через год, через два, когда кончится война, по Европе?

Пильняк стал рассказывать о своем дяде, который зарезал из ревности свою жену. Соколович, послушав, заметил в сумрачном раздумье:

— Людей вообще тянет к убийству женщины гораздо больше, чем к убийству мужчины. Наши чувственные восприятия никогда не бывают так внимательны к телу мужчины, как к телу женщины, низкому существу того пола, который родит всех нас, отдаваясь с истинным сладострастием только грубым и сильным самцам...

И, поставив локти на колонн, снова замолк и как бы забыл о своих собеседниках.

В одиннадцатом часу, небрежно, свысока простясь с матросами, оставшимися сидеть в ресторане, он опять направился к Невскому.

Яркое освещение Невского подавлял густой туман, такой холодный и пронзительный, что у полицейского офицера, управлявшего на углу Владимирской водоворотом надвигавшихся друг на друга карет, саней и глазастых автомобилей, усы казались седыми, белыми. Возле Палкина отчаянно бил и ерзал по скользкой мостовой копытами, силясь

справиться и вскочить, упавший на бок, на оглоблю, вороной жеребец, которому торопливо и растерянно помогал бегавший вокруг него лихач, очень странный в своей чудовищной юбке, и кричал, махая рукой в нитяной перчатке, разгоняя народ, краснолицый великан-городовой, плохо двигавший одревеневшими от стужи губами; до слуха Соколовича донеслось, что задавлен какой-то переходивший улицу старик с белой бородой и в длинной енотовой шубе, будто бы знаменитый писатель, но Соколович даже не приостановился. Он повернул на Невский.

Некоторые обгоняли его, с удивлением заглядывали ему снизу в лицо, некоторых обгонял он сам. Запустив руки в карманы и приподняв плечи, пряча влажную от тумана челюсть в ворот и косясь на мелкую черную толпу, бегущую перед ним, почти естественно выделяясь над этой толпой своим ростом, он мерно клал по панели свои длинные ступни, все время начиная с левой ноги и делая левый шаг шире правого. От электрических столбов падали в дым тумана угольные тени. Густо, с однообразным топо-

том катились в этом дыму заиндедеввшие извозчичьи лошади; рысаки неслись среди них, выделяясь силой и нахальством, кидая из ноздрей пар, мешавшийся с летевшими по ветру дымными волнами; вихрем промелькнула бешено мчавшаяся пара — молоденький офицер, крепко охвативший талию дамы, прижавшейся к нему и спрятавшей лицо в каракулеву муфту... Соколович замедлил шаги и долго глядел вслед этой паре, туда, где в ледяной мути огромного потока, которым казался Невский, терялась бесконечная цепь винно-красных трамвайных огней и вспыхивали зеленоватые зарницы. Большое лицо его было свирепо в своей сосредоточенности.

Он наискось пересек Аничков мост и пошел по другой стороне проспекта. Ветром и туманом понесло сильнее, вдали, в темной и мглистой высоте, означился красноватый глаз часов на башне городской думы. Соколович остановился и довольно долго стоял, закуривая папиросу и исподлобья оглядывая бесконечно и медленно проходивших мимо, уже появившихся на панели проституток; за ним было громадное зеркальное окно запер-

того, печально, по-ночному, освещенного магазина, откуда неподвижно смотрели восковые красавцы блондины с большими редкими ресницами, в дорогих пальто и шубах, с деревянными ножками, мертво торчащими из-под модных, великолепно заглаженных панталон... Потом он зашагал дальше, дошел до обезглавленного туманной темнотой Казанского собора и поднялся на крыльцо Доминика.

Там, в тесной толпе, евшей и пившей стоя и не раздеваясь, точно на улице, он сел в темном углу, — светло было только над стойкой, осаждаемой толпой, — и спросил себе черного кофе. Совершенно неожиданно появился у его столика какой-то щуплый господин в котелке, с озябшим личиком, быстро попросил позволения взять серник из спичечницы и, быстро осветив его, скороговоркой спросил:

— Простите, пожалуйста, вы мне ужасно напоминаете одного моего виленского знакомого Яновского?

Соколович твердо посмотрел ему в глаза и с тяжеловесной серьезностью ответил:

— Вы ошибаетесь, господин сыщик.

У Доминика он просидел до часа ночи. Наконец, опустевший зал ресторана наполнился стуком стульев, которые, переворачивая, швыряли на столики ставшие вдруг вольными и грубыми лакеи. Он взглянул на свои большие серебряные часы и поднялся с места.

Ночью в туман Невский страшен. Он безлюден, мертв, мгла, туманящая его, кажется частью той самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира, где скрывается нечто непостижимое человеческим разумом и называется Полюсом. Середина этого дымного потока еще озарена сверху белесым светом электрических шаров. На панелях, возле черных витрин и запертых ворот, темнее. По ним, напевая, гуляющим шагом, бродят беспечные на вид, но до нутра продрогшие от ледяной сырости, дешево и несоответственно обстановке наряженные женщины, и лица некоторых из них поражают таким ничтожеством черт, что становится жутко, точно натыкаешься на существо какой-то иной, чем люди, неведомой породы.

Соколович, выйдя от Доминика и пройдя шагов двести, взял из этих женщин некую,

как оказалось потом, Королькову, называвшую себя просто Корольком, небольшую, мелкую, но от дурной модной одежды на вид широкую, в шляпке, как-то очень сложно и тоже широко сделанной из черного бархата и украшенной пучком стеклянных вишен. Широкоскулое личико ее с черными, глубоко запавшими глазками имело в себе нечто, напоминавшее летучую мышь. Покачивая головой с притворной развязностью, даже как бы с некоторым сознанием неотразимости своего пола, держа одной рукой юбку, а другой, вдетой в большую плоскую муфту из блестящего черного меха, закрывая рот, она вдруг загородила дорогу сутуло шагавшему Соколовичу. Он, зорко окинув ее взглядом, тотчас же густо крикнул стоявшему на углу ночному извозчику. И вот, усевшись в низкую пролетку, покатила эта пара сперва по Невскому, потом по площади, мимо светящихся часов Николаевского вокзала, уже темного, отпустившего все свои поезда в глубь снежной России, мимо той ужасной толстой лошади, что вечно гнет, в дожде или тумане, свою большую голову, прося повода у своего дородного седока, по-

том по Гончарной — далее, по туманным улицам и переулкам, в таинственную глушь ночных столичных окраин.

Дорогой Соколович молча курил. Королева, видимо, тяготясь этим молчанием, заметила, что, по ее мнению, папиросы «Голенищев-Кугузов» лучше, чем «Сирень». Эта попытка завести разговор простой, как бы даже несколько дружеский, еще не связанный с целью путешествия, была жалка и трогательна; но Соколович промолчал. Тогда она стала просить, чтобы он заплатил ей вперед, и с напускной смелостью прибавила, что на всю ночь она согласна только за хорошую цену. Он молча вынул и подал ей два серебряных рубля. Она взяла, попробовала один из них зубом, нашла, что он фальшивый, спрятала его в муфту, говоря, что это не идет в счет, что она оставляет его только так, на память, потому что теперь война и серебро редко, запрещено, и стала просить еще. Помедлив, Соколович дал ей еще рубль. Тогда она сделала новую попытку — быть женщиной: внезапно вздрогнула и сделала движение прижаться к нему. Вздрогнула она притворно, но, должно

бить, непритворно было чувство, вдруг охватившее ее: она остро ощутила влечение к нему, большому, сильному, цельному в своем безобразии и беспощадной мрачности. Но он не ответил на ее движение. Заехали они далеко. Королькова приказала извозчику остановиться возле двухэтажного кирпичного дома с вывеской: «Номера для приезжающих Белград». Было уже без четверти два, место было глухое.

Во втором этаже «Белграда», куда Соколович поднялся с Корольковой по затоптанному половику, гостей встретил в полутемном коридоре номерной Няньчук, спавший на узком деревянном диванчике под дрянным зимним пальто с вытертым барашковым воротником. Рост, мрачно-сосредоточенный вид и жидкая, мокрая от тумана американская борода Соколовича поразили его спросонья. Он поднялся и неприветливо спросил:

— Что нужно?

— Точно ты не знаешь, болван, — сквозь зубы сказал Соколович, самоуверенно проходя мимо него и кладя ему в руку серебряный полтинник.

Няньчук хотел было обидеться и сказать: «От такого же слышу», но ощутил в руке деньги, узнал Королькову, которая, проходя, проговорила: «Не узнал меня, богатой быть!» — и только нахмурился. Недовольно бормоча, что им и так каждый день неприятности от полиции, он опередил Соколовича и, черкнув спичкой, распахнул дверь в сложно и сладко чем-то пахнувший, душный и очень теплый номер, половину окна в котором наискось загораживала крыша какой-то дворовой постройки. За окном, за черными стеклами, глухо раздавались голоса, слышался шум какой-то машины и точно в аду пылал багровый огонь огромного факела.

— Что это такое? — строго и даже тревожно спросил Соколович, останавливаясь.

— Ночные работы, ассенизация, — проворчал Няньчук, все еще чувствуя обиду, и, засветив на подзеркальнике две свечи в красных розетках и пузырями опуская белую коленкорную штору, осведомился, чего гости будут требовать.

Соколович потребовал себе квасу и, странно усмехнувшись, прибавил:

— А для барышни фруктов.

— Фруктов нету, — ответил Няньчук. — Виноград есть. Полтора рубля порция.

— Прекрасно, — сказал Соколович, — подай винограду. Корольковой такое обращение, видимо, польстило: Стараясь быть и в самом деле барышней, которую зимой угощают виноградом, оглядывая номер, потопывая озябшими ногами и дую в муфту, она капризно заметила:

— Ой, ой, он, верно, холодный!

Через минуту Няньчук принес на большом железном подносе виноград и две откупоренные бутылки, из которых полезла пена, и Соколович тотчас же запер дверь на ключ. Королькова, когда выходил Няньчук, щипала, стоя у стола и все еще дыша в муфту, пересыпанные опилками, твердые зеленые виноградины, а ее страшный спутник с своим желтым ожерелком и свежевывритым ртом снимал в углу пальто, разматывал длинный шарф из грубой лиловой шерсти. И затем номер, за окном которого пылало злое пламя и глухо шумела сокровенная ночная работа, облекся в тайну.

В четыре часа задремал в коридоре звонок. Няньчук очнулся, скинул с диванчика ноги в штрипках подштанников и войлочных туфлях и пошел к ящику звонка. Там выскочила цифра три. Из-за двери третьего номера женский голос потребовал десяток папирос «Зефир». Возвращаясь из буфета с папиросами, заспанный Няньчук спутал, в какой именно номер нужно подать их, и постучал в восьмой, отданный Соколовичу. Грубый, низкий бас медленно спросил из-за двери:

— В чем дело?

— Ваша барышня папиросы просила, — сказал Няньчук.

— Моя «барышня» не просила да ни в каком случае и не могла просить папирос, — ответил бас наставительно.

И Няньчук, тотчас вспомнив, кому нужно подать коробочку, и подав ее в полную женскую руку, высунувшуюся в приотворенную дверь третьего номера, снова лег на свое место и крепко заснул под мерное постукивание часов в конце коридора полутемной и тихой гостиницы.

Снова очнулся он только в седьмом часу:

над ним, во весь свой рост, в пальто и в картузе, стоял и толкал его в плечо постоялец из восьмого номера.

— Вот тебе за номер и за труды, — сказал он. — Выпусти меня. Мне пора на завод, а барышня велела разбудить себя в девять.

— А за виноград же? — быстро и с тревогой спросил Няньчук.

— Я все счел, — сказал Соколович. — По моему, четыре семь гривен. А я тебе пять с полтиной даю. Понял?

И спокойно пошел к лестнице.

С полузакрытыми от жажды сна глазами, поправляя плечом накинутое на плечи пальто, Няньчук опять опередил его и затопал вниз по ступенькам лестницы. Соколович терпеливо ждал, пока он одолеет туго повертывавшийся в дверной скважине ключ. Наконец дверь распахнулась. Он прошел мимо Няньчука, приподнял ворот и, как оперный певец, боящийся простуды, закрывая рукой горло, густо сказал себе в бороду: «До свиданья», — и вышел на улицу, на сырой и свежий воздух. Было еще совсем темно и тихо, но в этой темноте и тишине уже чувствова-

лось близкое утро. Надо всей окрестной далью, надо всем огромным гнездилищем еще безмолвной столицы стоял невнятный, отдаленный стон фабрик и заводов, зовущий из всех своих нищенских приютов, из всех своих низов и притонов несметный трудовой люд. Фонарь, стоявший со своей черной тенью против гостиницы, освещал часть мостовой и улицы. Туман рассеялся, ночью шел снежок, — громада теса, возвышавшаяся из-за забора за фонарем, траурно белела на черноте ночи. Соколович повернул направо и скрылся вдаль. Продрогший Няньчук хлопнул дверью и побежал по лестнице назад, наверх.

Ложиться снова было уже ни к чему. Он стал искать под диваном ботинки — и вдруг увидел, что дверь восьмого номера приоткрыта и что за нею есть свет. Он вскочил и кинулся к номеру, в номере было так страшно тихо, как не бывает, когда есть в нем хотя бы и спящий человек, трещали догоревшие в лопнувших розетках свечи, в сумраке бежали тени, а на кровати торчали из-под одеяла короткие голые ноги лежавшей навзничь женщины. Голова ее была придавлена двумя подушка-

Соотечественник

Этот брянский мужик мальчишкой был привезен в Москву из деревни, состоял на побегушках при купеческом амбаре на Ильинке, стрелой летал в трактиры за кипятком: схватит медный чайник и мчится в галереях Старых Рядов, темной водяной струей выписывая по серому полу цифру восемь... бойкий зимний день, идет снежок, Ильинка чернеет народом, бегут, тасуются извозчичьи лошади, а он, в одной рубашке, без шапки, — голова у него похожа на красного ежа, — срывается с тротуара, выскочив на улицу, и жжет на подошвах по льду в канавке...

Представьте же, как странно видеть этого мужика в тропиках, под экватором! Он сидит в своей конторе, в старинном доме голландской постройки. За окнами — жаркий белый город, голые черные рикши, магазины драгоценных камней, отели, полные туристов со всех концов земли, в теплой зеленой воде гавани — американские и японские пароходы,

за гаванью, на низменных побережьях, — кокосовые леса... Одетый во все белое, рослый, узловатый, огненно-рыжий, с голубой, веснушчатой кожей, бледный и энергично-возбужденный, даже просто шальной, — от зноя, нервности, постоянного хмеля и деловитости, — с виду он не то швед, не то англичанин. Письменный стол его весь завален бумагами, счетами. Кругом стоит сухой треск ремингтонов. Старик-индус, босой, в халате и тюрбане, бесшумно и быстро меняет своими темными, изящными руками в серебряных кольцах бутылочки холодной содовой воды и поминутно, с таинственной миной, докладывает о посетителях, к каждому слову прибавляя: сэр. А сэр весь поглощен, — или притворяется, что поглощен, — беседой с гостем из России, перед которым он играет роль радушного хозяина этого тропического острова. На столе несколько раскрытых коробок с дорогими сигарами, с турецкими, египетскими, английскими и гаванскими папиросами. Он знаток в табаках, — как и во всем, впрочем, — он угощает то тем то другим... Мельком взглянув на поданную бумагу, он, среди разговора,

твердо и коротко расчерчивается на ней; увидев входящего посетителя, меняет выражение лица, двумя, тремя фразами кончает дело и снова подхватывает прерванную беседу; принимая депешу, разрывает ее как-то особенно небрежно, на мгновение нахмуривается, пробегая: «А, идиоты!» — крепко выговаривает он с досадой и, отбросив в сторону, тотчас забывает или притворяется, что забывает о ней... У него все идиоты. Он уже успел удивить гостя своей самоуверенностью, решительным и скептическим умом, деловитостью, огромным житейским опытом и несметными знакомствами с людьми самых разнообразных классов и положений. Кого ни назови из московских знаменитостей, — купцов, администраторов, врачей, журналистов, — он всех знает, да хорошо знает и цену каждому из них. А какая у него осведомленность по части всяких закулисных тайн, редких карьер и темных историй!

Гость еще в Порт-Саиде много слышал о нем от одного его приятеля, с циничной веселостью говорившего, что Зотов прошел огонь, воду и медные трубы: «Да-а, — говорил этот

приятель, покачивая головой с насмешливой и загадочной улыбкой, — хорош мальчик!» На месте гость узнал еще больше и главным образом из отрывочных фраз самого же Зотова. Странно, неожиданно проявляются таланты на Руси и чудеса делают он при счастливых жребиях! А он вынул жребий необыкновенно счастливый, прибыв в Москву мальчишкой. Был у него там дядя, сытый, умный мужик, уже приобретший и достаток и сознание собственного достоинства, ловко умевший, не роняя себя, услужить порядочному господину. Работал этот дядя в Сандуновских банях, и многие, кого окружал он облаками горячей и душистой мыльной пены, звали его по имени, любили поговорить с ним. Любил и Нечаев, либеральный, образованный крез, большой, полный купец в золотых очках. Мудрено ли было, накинув на розовое распаренное тело скользкую, тонкую простыню, замолвить словечко о мальчишке-племяннике? И мальчишка попал не дратву сучить, не утюги раздувать, а в сумрачный, чистый и тихий амбар на Ильинке, Все остальное было делом его личной живости и талантливости. Как на-

чинают эти счастливицы и самородки, — известно: днем мальчишка на побегушках, вечером по собственной охоте, без всяких руководителей, корпит при тусклом огарке, учится читать, писать; утром, до прихода приказчиков, ничего не понимая, но упрямо одолевает газету; а только чукнут приказчики — он уже тут как тут, как лист перед травой, ловит каждое слово, каждый взгляд... Лет двенадцати этот мальчишка, обративший на себя исключительное хозяйское внимание, был взят в хозяйский дом, а на восемнадцатом году был уже в Германии, изучал бумажное дело, работал не хуже любого немца: иностранцы будто бы верить не хотели, что он русский. «Часто не верят и теперь, болваны!» — говорит Зотов, по своему обыкновению отрывисто и грубовато, бросая одну папиросу и тотчас же закуривая другую. Второй день он в черных очках, потому что одна бровь у него разбита: поскользнулся, говорит, на кожицу банана в баре, — значит, хорош был. А ведь он здесь, на острове, по своему положению персона. Все время владеет он любопытством, вниманием собеседника. Он, этот до наглости

смелый человек, заражает своей смелостью, своей энергией, порой восхищает даже. Но, слушая его, дивясь ему, глядишь на него и думаешь: да, но он ведь пьян, пьян! Он всегда во хмелю — от нервности, от жары, от табаку, от виски: много пьют англичане, но, конечно, не один из них во всем этом белом городе не выпивает за день столько, сколько Зотов, не глотает так жадно ледяную содовую воду, не выкуривает такого количества сигар и папирос, не говорит так много и путано...

После заграничной выучки он работал дома и пользовался неограниченным доверием своего воспитателя. Но в самостоятельности он уже не хотел знать меры, равно как и в тратах. Посланный в Среднюю Азию, он вдруг, по какому-то пустому поводу, поссорился, порвал все свои связи с Нечаевым — и сразу превратился в человека, ровно и твердо шедшего в гору, чуть не в искателя приключений. Он изъездил всю Сибирь, побывал на Амуре, в Китае, сторяя нетерпением начать какое-нибудь собственное дело, — такое, которое привело бы его к обогащению. Кончил он тем, что ввязался в большое чайное дело,

устроив себе еще, кроме того, две службы, и вот уже шестой год прибывает здесь, в тропиках, облеченный немалыми полномочиями... Редкий европеец поставил бы так легко крест на своей изумительной по Удаче судьбе, да даже просто на своей специальности, взявшей столько лет труда! Не отдался бы европеец на прихоть случайностей, не взвалил бы на себя и правительственную службу, и парходную агентуру, и чайные дела, не затеял бы наряду со всем этим еще афер с жемчужными раковинами, не содержал бы свою черную любовницу, — редкую, по слухам, красавицу, — на диво всему городу... Он очень себе на уме, но порою очень бестактен, одинаково сильно проявляет то большую выдержку, то несдержанность, то скрытность, то болтливость, щеголяет своим простым происхождением и в то же время хвастает знакомством с людьми знатными, на чем свет стоит ругает русское правительство и с видимой гордостью держит у себя на столе фотографический портрет красивого военного, собственноручно пожаловавшего ему этот портрет с кратким надписанием своего имени; расска-

Зывая что-нибудь, по его мнению, забавное, не понимает зачастую, что смысл этого забавного можно истолковать совсем не в его пользу: например, из его же собственных рассказов узнал гость, что уж слишком всезнающим, чуть не проходимцем казался он некоторым из тех дельцов Сибири, Манджурии, с которыми так быстро сходился он, которых очаровывал на первых порах своей любезностью и общительностью, своими замашками человека, привыкшего жить на широкую ногу, понимающего толк решительно во всем, начиная с сигар, вина, женщин, и кончая какими-то раскопками на Филиппинских островах, весьма будто бы губительными по причине земляного микроба...

Вечером гость едет с ним за город.

Там, на берегу океана, есть ресторан, где туристы и резиденты отдыхают от городской духоты, пьют чай, брэнди, шампанское и любуется закатом с площадки перед рестораном. Едут туда на рикшах, в крохотных колясочках, друг за другом, по бесконечной дороге среди вековой растительности, мимо бунгалоу и дикарских хижин, и целый час видит

перед собой гость из России только голое тело коричневого человека, мчащего его все дальше под ветвистый свод раскидистых деревьев, а за ним, за этим телом и его черноволосой головой, — большую белую фигуру Зотова, высоко и прямо сидящего в своей колясочке. На полпути Зотов вдруг обертывается и, поднимая палку, кричит гостю:

— Хотите заедем?

Гость отвечает согласием, — Зотов указал на небольшой буддийский монастырь, — и тяжело дышащие, мокрые от пота дикари подкатывают к проходу между хижинами под пальмами.

— Ну, не наше ли, не российское ли? — говорит Зотов, выходя из экипажа. — Только у нас так бессовестно много этой листвы, этого леса, этих лачуг, этих грязных мальчишек! Вы только поглядите, — говорит он, указывая палкой на хижины, на их лиственные и камышовые крыши, на голых детей и на старых и молодых туземцев, любопытно обступивших проезжих. — И вечер-то наш, летний, душный и такой анафемски скучный! — раздраженно говорит он, направляясь к старой

кумирне, стоящей на холме под тонкими кокосовыми пальмами, где уже ждет жрец в желтом плаще, с обнаженным правым плечом, с небольшой, сдавленной в висках бритой головой и пристальными, безумными глазами. Войдя в темное маленькое святилище, соотечественники снимают мокрые от пота, холодные внутри шлемы. Жрец пальцами указывает на головы и мотает им: этого, мол, не требуется.

— Много ты понимаешь, дурак! — говорит Зотов по-русски и долго, с какой-то странной серьезностью, глядит на двухсаженную деревянную статую, красно и желто расписанную и раззолоченную, лежащую на боку за черным каменным жертвенником, на котором насыпаны мелкие монеты, никелевые кольца и курятся ароматическим дымком тончайшие коричневые палочки.

— А раскрашен-то, лакирован-то как! — говорит он отрывисто. — Точь-в-точь деревянные миски и чашки на наших ярмарках...

И небрежно кидает на серебряную тарелку, протянутую жрецом, тяжелый червонец...

Когда приезжают в ресторан, лицо у него

меловое, и черные очки очень страшны на этом лице. «Я целых два часа ничем не отравлялся, ничего не пил, не курил и потому смертельно уморился», — говорит он. И как только садится к столику на площадке перед рестораном, на обрывистом берегу, заваленном внизу голубыми валунами, вечно купающимися в теплой воде океана, тотчас заказывает шампанского.

Вино очень холодное, и оба жадно пьют его, быстро хмелея и глядя на темнеющий сиреневый океан, на бесконечно далекий закат, мутно- и нежно-розовый. Дует теплый слабый ветер, дремотно звенят какие-то насекомые в кустарниках... И вдруг Зотов далеко бросает папиросу, быстро закуривает другую и снова, волнуясь, с упорством, начинает говорить о сходстве этого острова с Россией.

Гость усмехается. Зотов путано и торопливо возражает ему. Дело, говорит он, не в одном внешнем сходстве... да он даже и не сходство, собственно, имел в виду, а скорее свои ощущения... может быть, эти ощущения шатки, болезненны, ну, да это уж другой вопрос... в этом климате сам черт сойдет с ума, с этим

климатом нельзя шутить... а вот, рассуждая о всяческих дальневосточных опасностях, как-то совсем забывают об этом, забывают, что господам арийцам и особенно нам, русским, следует совершать свои победоносные шествия в тропики с крайней осторожностью, почаще вспоминая своих пращуров и завоевание ими Индостана, так знаменательно кончившееся буддизмом: ведь это же мы, арийцы, залезшие после Тибета в тропики, породили это ужасающее в своей непреложной мудрости учение... И затем горячо начинает уверять, что «вся сила в том», что он уже видел, чувствовал индийские тропики, может быть, тысячи лет тому назад, — глазами и душой своего бесконечно дальнего предка...

Он говорит, — с тонкостью, страстностью и красноречием, которых никак нельзя было ожидать от него, — что он испытал чувства необыкновенные на пути сюда, в те жаркие звездные ночи, когда впервые глядел на Южный Крест, на Канопус и на те первозданные звездные туманности, что называются Магеллановыми Облаками, видел Угольные Мешки, эти траурные пролеты в бесконечность

мировых пространств, и страшное величие Альфы Центавра, игравшей на совершенно пустом небосклоне, где точно начиналось какое-то безмерное, недоступное нашему разуму Ничто... Да, да, восклицает он настойчиво, уставясь на гостя своими черными очками, — совершенно пуст был небосклон вокруг нее! Зрелище нового мира, новых небес раскрывалось передо мною, но мне казалось, — и это ощущение было до ужаса живо во мне, уверяю вас! — мне казалось, что я уже видел их когда-то. Все дни и ночи широко размахивала нас в океане плавная мертвая волна. Мы шли навстречу восточному муссону, он дул резко и сильно, от его непрерывного воздушного тока гудело в реях и рябило в глазах, ход казался быстрым... Просыпаясь по ночам в горячей темноте своей каюты, я шел отдыхать от своего изнурительного сна на верхние палубы, на ветер, под эти звезды — совсем не те, что я видел всю жизнь, с самого рождения и с которыми уже сроднился, совсем, совсем другие, но вместе с тем как будто и не совсем новые, а смутно вспоминаемые. В их тусклом свете стоял непрерывный шум океана, паро-

ход медленно клало с одного бока на другой, и, точно удавленники в серых саванах, с распростертыми руками, качались и дрожали возле трубы длинные парусиновые вентиляторы, жадно ловившие своими отверстиями свежесть муссона, с которым уже доносилось до нас горячее дыхание нашей страшной Пра-родины. И тут порою охватывала меня такая тоска, — тоска какого-то бесконечно далекого воспоминания, — что человеческим словом не выразишь даже и сотой доли ее...

Дует слабый, сладкий ветер, дремотно звенят кустарники. Сумерки начинают нали-ваться тем сказочным оранжево-золотистым светом, который всегда возникает в тропиках вскоре после заката. Оранжево-золотистой пеной кипит прибой, в оранжево-золотистом озарении лица и белые одежды... «Как связать то, чем он дивил меня днем, и то, чем дивит теперь?» — думает гость из России про своего удивительного соотечественника. А тот смотрит на него своими черными очками и упрямо повторяет:

— Да, да, я уже был здесь... И вообще, я человек обреченный... Если бы вы знали, как

страшно запутаны мои дела! Еще больше, кажется, чем душа и мысли! Ну, да из всего есть выход. Дернул собачку револьвера, поглубже всунув его в рот, — все эти дела, мысли и чувства разлетятся к чертовой матери!

1916

Отто Штейн

I

Была осень.

Шли дожди, улицы Берлина были полны раскрытыми зонтиками и мокрыми верхами экипажей, блестели асфальтом, точно черное зеркало.

А Штейн, молодой ученый, готовившийся к отъезду, к научной экспедиции в тропические страны, целые дни проводивший в магазинах, в транспортных конторах, в бюро спальных вагонов и пароходных обществ, мысленно жил уже не в Берлине, не забывая, впрочем, что делать заказы и наводить справки надо здраво и расчетливо.

Несмотря на свои скромные средства, он постарался обставить свое путешествие всеми доступными для него средствами и обес-

печить себе его плодотворность насколько возможно: в глубине души он таил твердую уверенность, что когда-нибудь оно будет рассматриваться как событие, что оно не пройдет бесследно для науки, «для великого дела познания единосущного во всем своем многообразии мирового бытия, на разумном понимании которого человечество уже воздвигает свою новую, истинную и незыблемую религию», как не раз думал он, верный ученик и последователь Геккеля.

Все свои вещи, все те сундуки и ящики разной величины и формы, куда было уложено все необходимое для его работ, а также тропические костюмы, охотничья обувь, дорогое английское ружье, револьверы, принадлежности для фотографирования, он отправил на пароход «Лютцов», в Геную.

Затем сделал прощальные визиты знакомым и товарищам, написал прощальные письма родным и друзьям и наконец сел в автомобиль, который и помчал его на Ангальтский вокзал.

Было тихое и светлое утро начала ноября, с блеском низкого солнца на перекрестках и

легким голубым туманом в перспективе сырватых улиц.

При повороте на Унтер-ден-Линден, где на черных деревьях еще висели редкие канаречные листья, на минуту пришлось задержаться: щеголяя своими ранними выездами, медленно ехал, в блестящей каске и серой летней шинели, император, сидевший рядом со старым, ужасным в своей апоплексической крепости генералом; Штейн хорошо видел не в меру властный профиль императора — и с достоинством поднял котелок.

Потом автомобиль пошел еще шибче и через пять минут доставил его на место, а синие блузы носильщиков, гулкие громадные залы, толпа, льющаяся к высоким дверям дебаркадера, вид стройного, шипящего под его стеклянным колпаком поезда, кислая вонь газа и каменного угля, мальчишки с тележками-буфетами и звонкие их крики уже совсем перенесли его в дорожный мир.

Поезд, в который он сел, был великолепный.

Вагон, раскачиваясь и пружиня, летел почти без остановок.

Стекла нагревались от солнца, по купе ходили полосы горячего света, из-за белого дыма, пронесившегося назад, то и дело открывались солнечные осенние поля, суглинистые пашни, красные крыши ферм, мелкорослые сосновые перелески, серебристо-песчаные бугры, трубы заводов, иногда — улицы городов, их разнообразно теснившиеся крыши и стены, так близко мелькавшие с обеих сторон, что взгляд улавливал внутренность комнат с открытыми на время утренней уборки окнами.

Штейн курил, читал газету; на остановках он быстро спускал широкую раму своего окна, быстро брал из рук мальчика, бежавшего по солнечной прохладной платформе, длинный стакан с пивом...

II

В Генуе его встретил дождь и мягкий морской воздух.

Все привычное, европейское осталось по ту сторону снежных и туманных Альп.

Здесь было все другое — другой вокзал, другой народ. Другая суета, даже другая грязь на дурной мостовой.

Чувствуя себя человеком другой, высшей расы, Штейн, однако, не без удовольствия взглянул на итальянцев, на этих торопливых и разговорчивых, небольших и легких людей, и на мокрую зелень пальм на площади перед вокзалом.

Ночь он провел в сырой комнате, окна которой выходили в узкие и глубокие, нищенски и мрачно освещенные улицы на белье и тряпки, развешанные на веревках, протянутых от дома к дому.

На другой день, под дождем, на плохом извозчике, на худой лошади, которая все шла боком, точно норовя непременно попасть под трамвай, переехал на «Лютцов», который вскоре и отчалил под звуки немецкого гимна.

Натянулся канат, на котором повлек его тупоносую громаду побежавший к выходу из порта маленький буксир, и мыльная вода, взбитая его винтом, лодки, волнорезы, пароходы — все поплыло назад.

Сумрачные облака тяжело спускались по горам, синевшим за холмами, на которых пока-то белел отдалявшийся город; разомкнулся и снова сомкнулся последний мол — и откры-

лась впереди равнина неприветливого моря, сверкавшая барашками под ненастным низким небом; снег прибоя высоко взметывался вокруг темневшего вдали мыса, ветер буйно трепал еще не спущенный на корме большой флаг; музыка смолкла, пассажиры, придерживая шляпы, покидали упруго оседавшую и поднимавшуюся палубу...

Штейн, рослый, рыжеусый, светлоглазый, в сером тирольском костюме, с крупными и сильными ногами, в увесистых шерстяных чулках, в дорогих грубых башмаках, в тирольской шляпе, долго стоял один, глядя на уменьшавшиеся и мутневшие берега.

III

В сумерки девятого ноября «Лютцов» прошел мимо Неаполя, и сумерки эти были еще мягче и темней, чем в Генуе, веяло еще более вольным ветром над огромным смутным заливом, за которым длинной цепью переливались манящие к себе огни города.

Потом, в серый, совсем весенний день, Штейн увидел среди серо-жемчужной морской равнины одинокий фиолетовый конус дымящегося Стромболи, перед вечером курча-

вые облака на горах Сицилии, а ночью — новые огни, в Мессине.

На розовой утренней заре, разбуженный медленной, но глубокой качкой, мерно отделявшей от койки занавеску, о любовался в отпотевшее окно каюты, под которым глянцевитыми буграми ходила холодная вода, полосатым шатром Этны, распластанным и повисшим в ясном небе; в полдень, при южном ветре и веселом жидком блеске, записал в своем журнале, что цвет моря изменился, стал густо-лиловый...

Двое суток пробыл «Лютцов» в великолепной ионической пустыне, полной призраками воздушно-сиреневых островов, а на третьей сутки пыльной полосой означился на горизонте низкий берег, показались мачты и дома Порт-Саида.

В Порт-Саиде несколько часов стояли, и Штейн посетил город.

Назойливость несметных попрошайек, не дававших ему проходу, возмутила его; однако, вынув книжечку, он записал, что движения этих семитов, не связанных европейской одеждой, восхитительны.

Он ходил по улицам, пробовал греческие сласти и турецкий кофе, сидя возле кофейни и протягивая ноги черномазому мальчишке, стоявшему перед ним на коленях, ожесточенно работавшему сапожными щетками и порой с очаровательной детской радостью сверкавшему на него белками.

IV

Возвратясь на пароход и полулежа на палубе в полотняном кресле, он глядел, как копошились возле парохода сотни худых, полуголых грузчиков, ведрами перекидывая с широкодонных барок в их трюмы горы кокса и покрываясь его металлической пылью с ног до головы; солнце грело, чайки кричали страдальчески-блаженно, а он смотрел и думал о гении Лессепса, о том, что Лессепс совершил величайший переворот в судьбах человечества...

Когда же солнце спустилось за дальние трубы и мачты, в шафрановое зарево, «Лютцов», точно кит, заплывший в реку, потянулся по Каналу, зеленой полосой пролежавшему среди кустарников, насаженных по его бугристым песчаным берегам.

Быстро блекла и темнела, в смуглой мути терялась пустыня, вставала с востока ночь древних аравийских земель, ее молчаливая печаль, осторожно подвигался затихший пароход — и сознание близости Синая будило в душе отзвук какого-то священного, тайно сохранившегося от детских дней чувства...

А потом, слегка хмельной, самоуверенный и гордый, во фраке и с сигарой, Штейн долго стоял в толпе нарядных мужчин и женщин, вышедших после обеда полюбоваться на редкое зрелище: на носу «Лютцова», под бушпритом, солнцем пылал громадный электрический фонарь — и далеко бил от него в темноту белый слепящий свет: влачась по извивам Канала, «Лютцов» зорко озирал все, что было на его пути, — мутную воду, пласты бурого ила, пересыпанные песком кустарники, лодки возле сторожевых постов, женские фигуры босоногих феллахов, на корточках сидевших в своих длинных рубахах на кормах лодок.

Этот ил, эти аравийские и египетские пески, эти первобытные фигуры напоминали о жизни глухой, дикой, ветхозаветной.

Но темнота на горизонте все время сквози-

ла и серебрилась от приближающихся прожекторов встречных пароходов.

И раз «Лютцов» совсем замедлил ход и привалился к берегу, чтобы пропустить чуть не целый плавучий город: он надвигался, резко и фиолетово сияя своими широкими, нестерпимо блестящими, как зажженный магний, лучами, затопил дневным светом всех стоявших на «Лютцове» и с шумом прошел мимо — всеми своими этажами, высокими мачтами, трубами, золотом освещенных иллюминаторов и раскрытых на палубы дверей...

В эту ночь, у преддверия тропиков, небо от большого количества звезд первой величины казалось мрачным и торжественным.

И, чувствуя себя в избытке всех своих сил и способностей, исполненным надежд и твердой веры в себя, в свой ум, в свое сердце, в свое миропонимание, Штейн медленно ходил по палубе, строго глядя в черное звездное небо своими надменными германскими глазами.

Старуха

Эта глупая уездная старуха сидела на лавке в кухне и рекой лилась, плакала.

Святочная метель, вихрями носившаяся по снежным крышам и снежным пустым улицам, стала мутно синеть, наливаясь сумерками, а в доме темнело.

Там, в зале, чинно стояли кресла вокруг стола под бархатной скатертью, над диваном тускло блестела картина — зеленоватый кружок луны в облаках, дремучий литовский лес, тройка лошадей, сани, из которых розовыми лучами палили охотники, и кувыркающиеся за санями волки; в одном углу до потолка раскидывалось из кадки мертвыми листьями сухое тропическое растение, а в другом воронкой зиял хобот граммофона, оживавший только по вечерам, при гостях, когда из него вопил в притворном отчаянии чей-то хриплый голос: «Ах, тяжело, тяжело, господа, жить с одной женой всегда!» В столовой текло с мокрых тряпок, лежавших на подоконниках, в клетке, крытой клеенкой, спала, завернув головку под крылышко, больная тропиче-

ская птичка, — сном тонким и, в силу непривычки к нашим Святкам, грустным, грустным. В узкой комнате рядом со столовой крепко, с храпом спал квартирант, пожилой холостяк, учитель прогимназии, в классах дравший детей за волосы, а дома усердно работавший над большим, многолетним сочинением: «Тип скованного Прометея в мировой литературе». В спальне тяжело и зло спали хозяйка после страшного скандала за обедом. А старуха сидела на лавке в темнеющей кухне и разливалась горькими слезами.

Скандал-то за обедом начался опять из-за нее! Хозяйка, которой по годам уже давно следовало стыдиться ревновать, с ума сходила от ревности и наконец-таки поставила на своем — наняла в кухарки старуху. Хозяин, который уже давно красился, но все свои помыслы устремлял только на женский пол, решил сжить эту старуху со свету. И правда, была старуха куда как нехороша собой: высокая, гнутая, узкоплечая, глухая и подслепая, от робости бестолковая, готовила, несмотря на все свои старания, из рук вон скверно. Она трепетала за каждый свой шаг, из сил выбивалась,

чтобы угодить. Не радостно было ее прошлое: ну, конечно, муж разбойник и пьяница, потом, после его смерти, чужие углы и побои под окнами, долгие годы голода, холода, бесприютности... И уж как же была старуха счастлива, что опять она стала не хуже людей, — сыта, тепла, обута, одета, служит у чиновника! Как молилась она перед сном, стоя на коленках на полу кухни, всю свою душу отдавая богу за милость, столь нежданно ей оказанную, как просила его не лишать ее этой милости! Но хозяин поедом ел ее: нынче за обедом он так гаркнул на нее, что у нее руки-йоги оторвались от страха, а миска со щами полетела на пол. И что только было потом между хозяевами! Даже учитель, весь обед думавший о Прометее, не выдержал, отвел вбок кабаньи глазки и молвил:

— Не ссорьтесь, господа, ради высокочтожественного праздника!

Вот дом затих, успокоился. Посинел во дворе дым вьюги, выше крыш намело сугробы, завалило ворота и калитку... Бледный, ушастый мальчик в валенках, сирота, хозяйкин племянник, долго учил уроки, приладившись

к мокрому подоконнику в своей каморке рядом с кухней. Он был отрок прилежный и на зубок решил вытвердить то, что ему задали на рождественские каникулы. Он не хотел огорчать своих воспитателей и благодетелей, он, им на утешение, отечеству на пользу, старался на всю свою жизнь запомнить, что две с половиной тысячи лет тому назад греки (народ вообще мирный, с утра до вечера соборно участвовавший в театральных трагедиях и совершавший жертвоприношения, а в свободные часы вопрошавший оракула) наголову разбили однажды войско персидского царя при помощи богини Афины-Паллады, да могли бы пойти по пути цивилизации и дальше, если бы не изнежились, не развратились и не погибли, как было это, впрочем, со всеми древними народами, неумеренно предававшимися идолопоклонству и роскоши. А вспомнив, закрыл книжку и долго скреб ногтями лед с оконного стекла. Потом встал, неслышно подошел к двери в кухню, заглянул за дверь — и опять увидел то же самое: в кухне тихо и сумрачно, рублевые стенные часы, у которых стрелки не двигались, всегда

показывали четверть первого, стучат необыкновенно четко и торопливо, свинка, зимующая в кухне, стоит возле печки и, до глаз запустив морду в лохань с помоями, роется в них... а старуха сидит и плачет: утирается по-долом — и рекой течет!

Плакала она и потом, — засветив лампочку и раскалывая на полу тупым кухонным ножом сосновые щепки для самовара. Плакала и вечером, подав самовар в хозяйскую столовую и отворив дверь пришедшим гостям, — в то время, когда по темной, снежной улице брел к дальнему фонарю, задуваемому вьюгой, оборванный караульщик, все сыновья которого, четыре молодых мужика, уже давно были убиты из пулемета немцами, когда в непроглядных полях, по смрадным избам, укладывались спать бабы, старики, дети и овцы, а в далекой столице шло истинно разливанное море веселия: в богатых ресторанах притворялись богатые гости, делая вид, что им очень нравится пить из кувшинов ханжу с апельсинами и платить за каждый такой кувшин семьдесят пять рублей; в подвальных кабаках, называемых кабаре, нюхали кокаин

и порою, ради вящей популярности, чем попадая били друг друга по раскрашенным физиономиям молодые люди, притворявшиеся футуристами, то есть людьми будущего; в одной аудитории притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, графинях, автомобилях и ананасах; в одном театре лез куда-то вверх по картонным гранитам некто совершенно голым черепом, настойчиво у кого-то требовавший отворить ему какие-то ворота; в другом выезжал на сцену, верхом на старой белой лошади, гремевшей по полу копытами, и, прикладывая руку к бумажным латам, целых пятнадцать минут пел за две тысячи рублей великий мастер притворяться старинными русскими князьями, меж тем как пятьсот мужчин с зеркальными лысынами пристально глядели в бинокли на женский хор, громким пением провожавший этого князя в поход, и столько же нарядных дам ели в ложах шоколадные конфеты; в третьем старики и старухи, больные тучностью, кричали и топали друг на друга ногами, притворяясь давным-давно умершими замоскворецкими купцами и купчихами; в четвертом ху-

дые девицы и юноши, раздевшись донага и увенчав себя стеклянными виноградными гроздьями, яростно гонялись друг за другом, притворяясь какими-то сатирами и нимфами... Словом, до самой поздней ночи, пока одни караулили, а другие укладывались спать или веселились, горькими слезами плакала глупая уездная старуха под хриплый, притворно-отчаянный крик, долетавший из гостиной ее хозяев:

*Ах, тяжело, тяжело, господа,
Жить с одной женой всегда!*

1916

Пост

Деревенская усадьба, начало марта, первые недели великого поста.

Дни темные, однообразные.

Но это уже канун весны.

Я живу затворником, за работой с утра до вечера,

— «Се тебе, душа моя, вверяет владыка талант: со страхом прими дар».

Нынче я опять не заметил, как прошел мой день.

Но вот темнеет, синеет за окнами.

Усталый, умиротворенный, я кладу перо, мысленно благодаря бога за силы, за труд, одеваюсь и выхожу на крыльцо.

Сумерки, тишина, сладкий мартовский воздух...

Я иду по деревне, додумываю свои думы, укрепляя свои тайные вымыслы, но все вокруг вижу, зорко все замечаю и чувствую — всему открыто мое сердце, мои глаза.

Ах да, канун, канун.

Даже в зимней угрюмости этих сумерек уже есть весна — в их чуть зримой синеве.

Зыбки серые снега полей за деревней, избы в деревне чернеют смутно, нигде ни одного огня.

Темно и в усадьбе, на которую гляжу я, возвратившись из деревни.

За усадьбой облаками темнеет под хмурым небом сад.

Но и в этом весна — в том, что так поздно не зажигают в деревне огней и что сад похож на тучу, что так хмуры и небо и вершины сада.

На выгоне — церковь, там служба.

Я подхожу и различаю у церковных ворот парные сани, крытые старым ковром, помещицы.

Тут же, у коновязи, — мужицкие лошади в дровнях, мелкие, лохматые, за зиму обросшие густой шерстью.

На снегу возле них — клоки сена, перебитого с конским навозом, и все это пахнет свежо, сыро, по-весеннему.

Полевым, нелюдимым гулом гудят голые тополи, возвышающиеся над церковной оградой.

На глазах с каждой минутой темнеет — ли-

ца проходящих в церковь уже плохо видны, — к ночи поднимается легкая замять, и в гудящих метлах тополей есть что-то строгое, жуткое.

За воротами, в затишье, воздух мягче, но порой церковный двор сереет от поземки, ограда дымится, и по моему лицу пробегает холодная снежная пыль.

Когда на высоком каменном крыльце церкви отворяются двери, видна, за черными сенями, ее внутренность в немногих красных точках огней.

Поднявшись на крыльцо, чувствую тот сложный, особый запах, что бывает только на папертях русских церквей, ранней русской весной.

В церкви густое и пахучее церковное тепло, темная стена народа и свет за нею.

Там, у большого священника, стоит девушка, та, чьи сани я видел за воротами.

Она бледна, свежа и так чиста, как бывают только говеющие девушки, едва вышедшие из отроческого возраста.

Ее серо-голубое платье приняло от блеска свечей зеленоватый, лунный тон.

На спине лежит черная коса. Озарен нежный овал лица и густые ресницы, поднятые на образа иконостаса.

От каких грехов очищается она постом, стояниями, своей бледностью?

Что за чувства у меня к ней?

Дочь она мне? Невеста?

В темноте возвращаюсь домой и провожу вечер за книгой, в мире несуществующем, но столь же разделенном со всем, чем втайне живет моя душа.

Засыпаю с мыслью о радостях завтрашнего дня о радостях своих вымыслов.

Ей, господи, не даждь ми духа праздности, уныния. Больше мне ничего не надо. Все есть у меня, все в мире мое.

1916

Третьи петухи

На рассвете, в тумане и сумраке, когда все еще спали в городе Синопе, подошел к Синопу разбойничий корабль.

Петухи пели по всему нагорному берегу, по всему селению в этот темный и сладкий час, и с разбойничьего корабля с дружной радостью откликнулся им разбойничий петух.

Спали в Синопе сторожа и все жители, а разбойники, вполслуха переговариваясь, спустились с корабля в челнок, па пахучую, свежую воду, доплыли на веслах до берега и пошли к жилищам, крадучись.

Не пощадили они, волки, ни старого, ни малого!

А награбив добра, загубив пять невинных душ, — пятерых кровных родичей Фомы-угодника, синопского святителя, — воротились они на корабль и, подняв паруса, опять ушли на море.

И там был у них буйный пир.

И ели, и пили, и плясали, и пели они — до самого вечера.

А к вечеру повалились, пьяные, по кора-

бельным каморам, не убрав парусов, не засветив огня, не поставив ни кормчего, ни дозорного.

И вот пали сумерки на море, и сделалось великое безмолвие.

Как пустыми рукавами, болтая ветрилами, плыл корабль без пути, без направления.

А по каморам, в зловонной темноте, тяжело храпели пьяные.

И сказал господь:

«Так злодеям и надобно.

Замолчите, птицы морские белые, не падайте со скрипучими криками над волной морской, не будите безмолвия и спящих разбойников.

Се восстану я в ветре с Запада, осыплю Понт как бы черным песком — и промчусь над ним вихрем и красной молнией:

— Горе вам, пьяные разбойники!

Килем вверх, с громом и бурей, перекину я ваше утлое убежище!

В хлябь морскую низвергну вас, поправших уставы человеческие и божеские!»

Только кто это светится тонким призраком и поспешно спускается в темные каморы ко-

рабельные?

Это Фома, святитель морской.

Он толкает, будит разбойников, говорит им быстрым голосом:

— Ах, скорей вставайте, разбойники! Бегите наверх, спускайте паруса, ставьте кормчего, — идет на вас великая беда!

И разбойники в страхе вскакивают, бегут кто куда по палубе, — за канаты парусные, за рулевые рога хватаются, а уже ветер по морю мечется, рвет паруса, валит с ног разбойников:

— Спасайтесь, душегубы, каины!

И, пока они бьются, спасаются, призывает гневный господь в свои небеса, под красные молнии, Фому-угодника:

— Говори мне, святой, — не из того ли ты города, где злодеи бесчинствовали?

И отвечает святой в трепете:

— Оттоле, господи.

— Было ль тебе ведомо, что желал я погубить разбойников, силой похоти и своеволия воздвигнутых на попрание уставов божиих, зарезавших пятерых твоих кровных родичей?

— Было, господи.

— Ради чего же ты осмелился мне противиться?

И опускается святой на колени перед господом:

— Ради третьих петухов, господи, в слезы любви и раскаяния некогда повергнувших Петра-апостола.

Как подумал я, что не слышать больше разбойникам того радостного предутреннего голоса, восскорбела моя душа горькой нежностью.

Ей, господи! Сладка земная жизнь, тобой данная.

Ради одного этого голоса, новый день, новый путь темным и злым людям обещающего, будь во веки веков благословенно земное рождение!

И прощает господь Фому-угодника.

1916

Последняя весна

I

Шестая неделя, а еще совсем зима.

Встал в пять часов, оделся и вышел из дому. Какая радость, молодость, этот предрасветный час! Валенки, полушубок — все счастье. Еще ночь, глухо и снежно. В темном небе только чудится рассвет. Первый сладкий вздох свежестью, когда вышел на крыльцо. Пахнет новым снегом. Как неживые поют по всей деревне петухи.

После обеда ездил к селу Знаменскому. Сани с круглым задком, набитые старновкой, екает селезенкой крепкий пегий мерин. Поля очень белы, их белизна, сливаясь с бледно-серым небом, погружается в оцепенение. Вдали все смутно, зыбко. Черно сереют инеем леса.

В Знаменское заехали с задов. Глушь, пустота, все занесено снегом. Огромные горбы, сугробы между избами и пуньками. Въехав в село, сбились, не знали, по какой дороге ехать назад. А дело уже к сумеркам, стало холодать, леса вдали еще больше засерели изморозью, мерин весь оброс инеем... Наконец, из-за су-

гроба, из маленькой черной двери потонувшей в снегу избы, вылез мужик и, не проваливаясь, в разбитых валенках, перешел по сугробам к нам. Узкая рыжая борода, тонкий восковой нос, легкий армяк и ореховая (из лошадиной шкуры) шапка. Подойдя, сперва внимательно оглядел пестрыми глазами лошадь, сани, нас, потом не спеша сказал мне:

— А ты, государь милый, не тут едешь. Тут дороги нету. Табельная дорога там. Поезжай за мной...

И повел лошадь, переваливая нас с сугроба на сугроб...

Вечером пошли на Прилепы, в господское поместье, арендуемое несколькими семьями мужиков. Огней в деревне уже нет — только в двух, трех избах сонные, притушенные лампы. Морозно, душисто.

В поместье огонь только у Сергея Климова. Над избой хмуро сереют в темном небе высокие деревья. Обступили грубо забрехали собаки. Хлопнула дверь, вышел Федька.

— Не спят еще?

— Никак нет.

— А мы к Тихону Ильичу.

— Милости просим.

В избе теплая густая вонь, пар от мокрых ветошек из лоханки, под ногами чавкает мокрая, с грязью солома. Лубочные картинки в бревнах стен, потные. С почки торчат, глядят головы мальчишек. Невестка Тихона Ильича стирает в корыте белье, внучка, девка лет пятнадцати, собирается спать, перекрывает платок, стоит в одной суровой рубахе. Сам Тихон Ильич, согнувшись, сидит на печи, упершись в нее ладонями, спустив над хорами, на которых спят другие мальчишки, ужасные ноги-палки в старых портках. Лицо бледное и опухшее, борода висит, глаза текут слезливым блеском. Стал говорить о смерти, утверждать, что вот-вот умрет и что ничуть не боится.

Заговорили о войне, Федька и баба стала хвалить заграничное житье, о котором рассказывают пленные. Вот, например, ученье в школах — у нас и у немцев... У нас все учительницы, а их никто не слушается — «и что они могут знать?»

Тихон Ильич слушал, склонив голову, потом сказал:

— Все пустое. Нехай воюют. Спокон веку воевали и опять будут воевать. И ученье это ни к чему. А вот помереть великим постом, особливо на страстной, либо всего лучше в Светлый день — вот это, господа, не всякому бог дает такую радость...

II

Серо, холодно.

Шел по дороге за деревней, по задворкам. Под лозинками стоит Мотька, скучный, недовольный. В руках одностволка — стрелял на лозинках галок. Двух убил наповал — неподвижно лежат на сером снегу у его ног, третья сидит поодаль, прижалась к земле, распластав перебитое крыло, глядит блестящими переливающимися глазами.

— На что ж ты их бьешь?

Мутно усмехнулся:

— Учусь. На войну хочу проситься.

— Почему?

— А что ж тут сидеть?

— А не боишься, что убьют на войне?

— Ну что ж, пускай убивают. Авось нас, молодых, и так немного осталось. Да я и сам немало перебыю, покуда убьют...

III

Нет, уже весна.

Нынче опять ездили. И всю дорогу молчали — туман и весенняя дремота. Солнца нет, но за туманом уже очень много весеннего света, и поля так белы, что трудно смотреть. Вдали едва рисуются кудрявые сиреневые леса.

Около деревни перешел дорогу малый в желтой телячьей куртке, с ружьем. Совсем дикий зверолов. Глянул на нас, не кланяясь, и пошел напрямик по снегам, к темнеющему в ложине леску. Ружье короткое, с обрезанными стволами и самодельной ложей, выкрашенной суриком. Сзади равнодушно бежит большой дворовый кобель.

Даже полынь, торчащая вдоль дороги, из снега, в инее; но весна, весна. Блаженно дремлют, сидят на снежных навозных кучах, раскиданных по полю, ястреба, нежно сливаются со снегами и туманом, со всем этим густым, мягким и светло-белым, чем полон счастливый предвесенний мир.

IV

Легкий мороз, и пригревает солнце.

На реке, возле обмерзлых прорубей, бабы. Среди них Катька. Лапти, под ватной курткой круглятся груди. Мила, улыбнулась нам. И она и бабы: «Ишь шатаются, ходят! Их и на войну не берут!»

На горе, под барским гумном, греется на солнце белый в розовых пятнах бык. Он стоял на фоне неба, и я засмотрелся, какой приобрело оно от быка густой сине-лиловый цвет. Очень хороши были и старые темно-зеленые ели под скатом сада.

Вечером в Полевое. От Выселок шли пешком, ведя мерина на поводу: решили целиком выбраться к усадьбе. Было далеко видно. На западе только что село в огненных тучках солнце, и тучки быстро гасли, туманились; на востоке небо мертвело, становилось гуще, сильнее, а снега стали плоски, бледно позеленели...

Когда подъезжали к усадьбе, совсем свечерело, снега и белые шапки крыш резко выделились в последнем свете от заката.

В доме было темно, в прихожей краснела, топилась печь.

Грусть зимнего вечера, снегов, пустынно-

сти, одиночества... Пили чай, хозяин говорил: к Пасхе народ «обязательно» ждет мира.

Когда вышли — лунная ночь. Половина блестящей луны, прямые тени голых деревьев, среди них, на снегу, сверканье драгоценных камней; тень от дыма из трубы дома. За садом, в светлом пустом поле, одинокий обмерзлый стог снега.

V

Страстной понедельник.

Все мокрое, везде тает, везде бегут ручьи. Бугры в деревне оголились, на реке свинцовые наливывы, поля вдали траурные, пегие; чернеющие прогалины — как черные острова в белом снежном море.

С большим трудом шли по улице — грязь непролазная. Весенний сырой ветер крепко дует в голых лозинах, а на них немолчно орут только что прилетевшие грачи, — орут важно, победно и вместе с тем радостно, бестолково, нестройно. Ни с чем не сравнимое чувство — слышать их в первый раз после шестимесячной зимней смерти!

Зашли к Пальчиковым. Старик сидит на лавке и вяжет веревочные лапти. Мирное,

смирненное, ласковое лицо:

— Доброго здоровьица, господа хорошие. Синеглазая Анютка, с полнеющей грудью под замашной рубахой, работает с матерью за ткацким станом. Машка сидит у окна на лавке, прядет. На полу, на мокрой и грязной соломе, несколько овец с только что окотившимися, кудрявыми и точно облизанными ягнятами. Возле печки, за дежой с тестом, прикрытой старым армяком, лежат, распустив розовое брюшко, два поросенка. Машка покосилась на старика:

— А ты бы вот лучше спросил своих хороших господ, когда война кончится?

— А вот когда весь народ перебьют, тогда и кончится, — холодно и зло ответила ей мать из-за стана. — Когда мы все с голоду помрем.

— Эх, бабы, — сказал я, — как не грех и не стыдно! Кто же это из вас умирает? Сроду никогда не жили так сыто. Сколько теперь денег в каждом дворе? Курицы на всей деревне не купишь ни за какие деньги, все сами едите. А уж про ваш двор и говорить нечего. Ну-ка, скажите, сколько у вас скотины?

Бабы не ответили.

Вошла старуха, тоже вся мокрая, в разбитых лаптях, в армячной куртке. И тоже посмотрела на нас исподлобья.

— Что ж это ты, бабка, так вымокла? — сказал я. — А говоришь, больная.

— А что ж, не больна? Конечно, больна. То-го гляди, околею.

— А ходишь вся мокрая. Ишь лапти-то какие. Чего ж башмаков не купишь?

— Купишь! Купил бы вола, да энта гола. Я их сроду не носила, башмаков-то твоих. Венчалась, и то в лаптях. Это тебе хорошо, у тебя все есть.

— Да у меня ровно ничего нету. Одна голова на плечах.

— Голова! А на голове что? Ишь шапка-то какая! Как тебе простудиться! Ходишь, гуляешь... Напился чаю и гуляй. Ай у тебя работа какая? Не мотай головой-то, не мотай. Ай неправду говорю?

— Конечно, неправду.

— Ну, ну, молчи уж. А я вот как встала, так и пошла. Целый день шатаюсь, мокну...

И серо-голубые глаза налились слезами,

покраснели. Я шутя обнял ее, поцеловал в лоб. Она через силу, строго улыбнулась, потом взглянула на меня уже совсем ласково и, отвернувшись, пошла к печке.

Пока дошли домой, распогодилось. Вечер розовый, сияющий. В доме тишина, вся прислуга ушла в церковь. Долго сидел в зале, глядя на закат, который за черными ветвями сосен в палисаднике казался особенно ярким, розовым. Потом это розовое стало переходить в золотое...

VI

Ехали на розвальнях — с подрезами уже не проедешь.

День мрачный, пасмурный. Но тает, — дорога рыхлая, только посредине твердая, горбатая, бурая от прелого лошадиного навоза, под которым лед.

Возле Крестов мерин провалился по брюхо. С великим трудом подняли, вытащили его, постояли, посмотрели кругом. Огромная, величаво-дикая картина уже совсем траурных полей под угрюмым, медленно идущим тучами небом. Сильный, по-весеннему свежий ветер с запада. Шум леса, чернеющего в полу-

версте от Крестов, слышен даже тут. Между лесом и нами — бледный снег, темно-синие лысины обнажившейся земли. Мерин, пегий, старый, косматый, стоит, опустив голову, на высоком горбе дороги, смотрит на бутылоч-но-зеленую лужу ледяной воды, налившейся среди снега возле нее... Древняя Русь!

Возвращались по другой дороге, через Казаковку. При въезде в деревню помогали мужику, с которым случилась та же история, что с нами: утопил лошадь и розвальни в большой колдобине, полной воды и снега. Серая лошадь покато сидит в этом месиве, выкинула передние ноги, карабкается, цепляется ими и все обрывается, а мужик, еще более озлобленный нашей непрошеной помощью, не глядя на нас, бьет ее кнутовищем по голове, из которой смотрят совсем человеческие глаза.

— Вы бы лучше на войну шли, чем тут без дела околачиваться! — негромко и злобно сказал он нам сквозь зубы, дергая вожжи и работая кнутовищем.

Вечер очень темный. От темноты, грязи и воды со двора не выйдешь. Ходил по двору, от

крыльца до каретного сарая. Где-то жалобно кричал филин.

VII

Чистый четверг.

Ветер, солнце, блеск. Ночью шел снег — теперь по грязи и по старому, серому блещет новый, пушистый. В полях, к горизонту, все серебристо.

К вечеру пошел дождь.

Вышли вечером — непроглядная темь, густой туман, сырость. На деревне, за рекой, ни одного огня. Там, где людская, мгристо-красное пятно света. В овраге к реке черный мрак, глухой, словно очень дальний шум воды, потрескивание, движение льда. Совсем как в «Воскресении», И вдобавок стали кричать петухи...

Потом петухи стали кричать реже, музыкальнее. А в саду, невдалеке, но не поймешь от тумана, где именно, стал кричать филин. Сперва лай, потом детский плач, хлопанье крыльев и клекотанье — с наслаждением, с мучительным удовольствием. Мы вошли в аллею и стали слушать. Деревья над нами казались страшными, огромными, хотя мы ско-

рее чувствовали, чем различали их. Необыкновенно сладкий запах — мокрыми стволами и ветвями, корой, почками, туманом. Пошли к шалашу, пустому, одинокому, мрачному. Какой он был совсем другой летом, когда в нем жили караульщики! Всякое опустевшее жилье навсегда остается живым, думающим, чувствующим. Филин кричал совсем близко, резко, отвратительно, потом вдруг опять залаял, захлебнулся и быстро, гулко забил крыльями. Я хлопнул в ладоши и крикнул. Филин зашуршал, сорвался и стих. Немного погодя отозвался где-то в соседнем саду — как будто бесконечно далеко...

VIII

Весь день дождь.

Иногда перестает, и тогда мокрый сад оживает, поют дрозды. В этих милых, как бы шутивых переливах такая весенняя прелесть, такая сладость жизни, надежд, счастья, что никакими словами не скажешь.

Вышел на крыльцо: стоит нищий старик без шапки, держит за ручку девочку в лохмотьях, в сопревших лапотках и в слинявшем синем чепчике.

— Подайте, Христа ради, батюшка... Мы военные, беглые, дальние.

Я дал старику, потом наклонился к девочке:

— Как тебя звать? Молчит.

— Что же ты молчишь?

Молчит и смотрит ясными глазами.

Сунул и ей в кулачок рубль, — крепко, но все так же безучастно зажала.

Распрямляясь, сказал:

— Эх, нехорошо мы живем!

Нищий удивился:

— Чем, батюшка, нехорошо? Какая же у вас нужда? Ваша бедность, батюшка, по-нашему, великое богатство.

— Да нет, я не про то. Неправедно люди живут.

— Ну, родной, не нами это началось, не нами и кончится...

Падают уже только крупные капли, — облака расходятся. Деревья благоухают мокрой корой, дрозды выводят свои переливы еще слаще и милее. Медленный, редкий звон. Мимо усадьбы идут на этот звон девки и бабы.

Великая суббота.

В доме уборка. Вымытые полы, от которых пахнет теплой сыростью, застланы попонами. Моют, протирают окна. Аниска с Наташей, подоткнутые, потные, красные, утомились и потому ссорятся. Студент, теперь человек уже московский, приезжий, ходит, как посторонний, не знает, что делать, стоит на крыльце, смотрит через пенсне в поле. Дует ветер и сушит двор, сад... Предпраздничная печаль и пустота...

К вечеру все убрано, все чисто, в полном порядке. Ветер стихает. Расчистился, раскрылся золотисто-светлый запад. Воздух прохладней, резко пахнет землей с весенних полей. Проглянуло солнце — и в упор озаряет голый сад: блестят лиловатые сучья, четко видны корявые стволы лип.

Когда солнце село, долго краснел закат, а над ним, выше, горела золотая Венера. Вместе с сумерками потянулись из-под горы к церкви наряженные бабы, мужики в сапогах и пиджаках, все с белыми узелками в руках.

В десять пошел в церковную караулку. Накурено, тесно, вся караулка полна. Под обра-

зами сидит мужичок с маленькой женской головой в черных крупных волосах. Одет в черный армяк, подпоясан черной подпояской. Все моргает, жмурится, приглаживает волосы. Рядом — мужик с масленой и как будто завитой бородой, с маслеными лазоревыми глазами, наладивший всего себя под благолепие. Потом старик — весь мшистый и могучий, осанистый, совсем из древности. Возле него баба, высокая, худая, с глазами гремучей змеи, в цветистом платье.

Разговор о раненых и беженцах:

— А на раненых подай да подай! Яиц им неси, холста дай, а нам из чего давать?

— На раненых? — спросил, жмурясь, мужичок. — На каких таких раненых?

— А нам из чего на них давать? У меня вот всей земли осьминник, а я сам — семь!

— А им, этим самым беглецам, откуда ж взять? — спросил мшистый старик.

— Они побогаче нас с тобой, — сказал мужичок.

— Дурак ты, брат!

— Я дурак?

Покачал, жмурясь и улыбаясь, головой:

— Беглецы! Почему же такое беглецы? Ихнее дело, значит, там не вышло, вот они и бегут сюда? Вон к нам прислали одного, он всех кур перевел, всех пожрал...

Потом разговоры о войне. Кто говорит, что наша возьмет, кто сомневается.

— А ну, как не возьмет? — опять весело-ехидно сказал мужичок. — Его, врага-то, видать, нашими овцами не затопчешь!

На него дружно закричали. Он замолчал, но все крутил головой.

— Да, авось, мы не одни, — сказал мшистый старик. — Кабы мы одни, а то с нами Англия, Франция, дай бог им здоровья.

Вошел Бодуля, — пустой, бездельник, легкомысленный, — топнул лаптями:

— Нашего (царя) ни одна не возьмет! Наш все державы пройдет! Где ему, к чертям, немцу этому!

Кто-то с радостным удовлетворением, с кашлем захохотал:

— Вот он на Париж полез, да завяз! Всю свою державу ранеными забил!

Благолепный мужик подхватил:

— Вот бы еще стражников туда, на фронт,

согнать, они всю эту службу давно знают! А тут чего им сидеть!

Вышел в церковный двор. Темно, свежо. Небо темно-синее, сказочное от белых крупных звезд. В темноте кто-то уверенно говорил:

— Нет, это все брешут. Ничего после этой войны не будет. Как же так? Если у господ землю отобрать, значит, надо и у царя, а этого никогда не допустят.

И кто-то резко отвечал:

— Погоди, и до царя дойдут. Что ж он весь народ на эту войну обобрал? Вон опять надо на Красную Горку рекрутов отправлять. Разве это дело? Вся Россия опустела, затихла!

Х

Весенний вечер.

На деревне, возле Никитиных, народ. Отправляют солдата. Он в новых сапогах, в рубахе хаки. Стоит на крыльце со своей воюющей и причитающей бабой. Обнял ее, уперся ей в лоб лбом и качается. Баба иногда отрывалась от него и кричала, как бы падая. Он молча смотрел на нее в упор злобными, мрачными глазами. Мать стояла возле в полном оцепе-

нении. Печник, стоявший в толпе с трубкой в зубах, с удобно расставленными короткими ногами, любовался всей этой картиной с бодрым любопытством, живыми, смеющимися глазами.

Потом из-за угла избы загремела телега, подкатила к крыльцу — рысью подъехал и остановился старик-отец. Он деловито стащил с крыльца сундук солдата, поставил его, ни на кого не глядя, в тележный ящик, в солому, солдат, быстро и внезапно обняв мать, сошел за ним, сел возле сундука и вдруг зарыдал, уронив на сундук голову. За солдатом полезла в телегу его баба и, падая в нее, стала кричать на всю деревню разными голосами. Старик озабоченно разобрал веревочные вожжи и, дернув лошадь, на бегу боком вскочил на грядку телеги...

Очень высокий малый в нарядной зеленой рубашке, стоявший среди девок с гармонией в руках и, очевидно, очень нетерпеливо ждавший, когда уедут, тотчас громко заиграл. Девки подхватили, «застрадали». Выгон впереди уже забелел — стал виден лунный свет, еще мешавшийся с зарей.

1916

Последняя осень

I

Утром разговор за гумном с Мишкой.
Приехал с фронта на побывку.

Молодой малый, почти мальчишка, но удивительная русская черта: говорит всегда и обо всем совершенно безнадежно, не верит ни во что решительно.

Я стоял на гумне за садом, он шел мимо, вел откуда-то с поля свою мышастую кобылу.

Увидав меня, свернул с дороги, подошел, приостановился:

— Доброго здоровья. Все гуляете?

— Да нет, не все. А что?

— Да это все бабы на деревне. Все дивятся, что вот вас, небось, на войну не берут. Вы, мол, откупились. Господам, говорят, хорошо: посиживают, говорят, себе дома!

— Не все посиживают. И господ не меньше вашего перебили.

— Да я-то знаю. Я-то там нагяделся. А с них, с дур, что ж спрашивать. Ну, да это все пустое. А вот как наши дела теперь? Как там?

Вы каждый день газеты читаете.

Я сказал, что сейчас везде затишье. Но что англичане и французы понемногу бьют.

Он невесело усмехнулся.

— А мы, значит, опять ничего?

— Как ничего?

— Да так. Мы его (немца), видно, никогда не выгоним.

— Бог даст, выгоним.

— Нет. Теперь остался.

— Ну вот и остался!

— Да как же не остался? Чем мы его выгонять будем? У нас и пушек нет, одни шестидюймовые мортиры.

— Откуда ты это взял?

— Агитаторы говорят. Да я и сам знаю.

— Нет, у нас теперь всего много. И пушек и снарядов.

— Нет, одни шестидюймовки. А крепостную артиллерию возить не на чем.

— Опять неправда.

— Какой там неправда! По такой дороге разве ее свезешь на лошадях? Только лошадей подушишь. Станешь ее вытаскивать, а она на два аршина в землю ушла, а хобот и

совсем в грязи не видать. Нет, это вам не немцы!

— А что ж немцы?

— А то, что немец рельсы проложил — везет и везет. А войска наши какие? Легулярные войска, какие были настоящие, царские, все там остались, а это ополчение — какие это войска? Привезут их на позицию, а они все и разбегутся. Подтягивай портки потуже да драгло. Все, как один.

— Ну, уж и все!

— Верное слово вам говорю. Да вы то подумайте: чего ему умирать, когда он дома облопался? Теперь у каждой бабы по сто, по двести штук спрятано. Отроду так хорошо не жили. А вы говорите — умирать! Нет уж, куда нам теперь!

Махнул рукой, дернул лошадь за повод и пошел, даже не поклонившись.

Утро светлое, на почерневших, почти голых лозинках, на их сучьях и редкой пожухлой листве — блески растаявшего мороза. На мужицких гумнах золотом горят свежие скирды, стаями перелетают сытые голуби, давая чувство счастливой осени, покоя, доволь-

ства, — это правда: «облопались». Вдали, у нас, в сизо-туманном утреннем саду, мягко, неизъяснимо-прекрасно краснеют клены.

II

После ужина пошел по деревне. Темно, ночь бодрая, холодная.

Пройдя деревню, увидал с косогора огоньки внизу, на водяной мельнице у Петра Архипова. Пошел туда.

Спустившись, подошел к открытым воротам мельничного сруба: там внутри все шумит и дрожит, — мельница работает. Возле жирновов стоит и тускло светит в мучнистом воздухе запыленный мукой фонарь, а вверху сруба, — он без потолка, — и кругом, в углах, — мрачный сумрак. Пахнет тоже мукой, сыровато, хлебно.

Петр Архипов сидит возле фонаря, похож на Толстого. Большая, побелевшая от муки борода, побелевший полушубок; картуз, совсем белый, надвинут на брови. Глаза острые, серьезные.

Против него, на обрубке гам, сидит какой-то кудрявый мужик, незнакомый мне. Уперся локтями в колени, курит и смотрит в

землю.

Поздоровавшись, присел и я себе.

— А мы Вот о войне говорили, — сказал сквозь шум мельницы Петр Архипов. — Вот он ничему не верит, никакой нашей победы не чаает.

Мужик поднял голову и ядовито усмехнулся.

— А как ты сам-то, Петр Архипыч? Тоже не чаешь?

Он холодно взглянул на меня.

— Я? А я не знаю. Пусть их воют. Воюйте на здоровье.

Это, господа дворяне, ваше дело.

— Это как же так?

— А так. Нам, мужикам, надо одно: ничего никому не давать, никого к себе с этими поборами и реквизициями не пускать. Чтобы никто к нам не ходил, ничего нашего не брал. Ни немец, ни свой. Да.

Помолчал, потом опять заговорил, еще повышая сквозь шум голос:

— Да. А то вон приехал на той неделе какой-то с грибами на плечах — сыновей ему давай, хлеба давай... всего давай! Раз наше де-

ло не выходит — мировая, и шабаш. Миколай Миколаевич Младший, вот это воин. Ух, рассказывают солдаты, что только за человек! Отца родного за правду не пожалеет. Ночью встанет тихонько, чтоб ни один генерал за ним не увязался, и пошел в обход по окопам. Солдат простых увидит: «Здорово, друзья! Надейтесь на меня, как на каменную гору. Я об вас ночи не сплю!» А господам офицерам, если завидит, что в карты играют, бездельничают, без всякой церемонии шашкой голову долой! Вот это воин.

Сумрачно помолчал, потом встал и подошел к трясущемуся рукаву, по которому серой струей текла мука. Взяв горсть муки, помял ее, понюхал и спросил, почти крикнул:

— Ну, а этот самый человек, где он теперь?

— Какой?

— Сухомлин.

Кудрявый мужик, куривший на пне трубку, со свистом захохотал и махнул рукой.

— Вона! — сказал он. — Хватился! Его теперь и след простыл! Его давно покрыли и спрятали!

Петр Архипов строго посмотрел на него, на

его плечи и голову, потом еще строже на меня:

— Где, по-вашему, такой человек может находиться? И что такому человеку должно быть? Что он для России может быть? Что он для ней сделал? Через кого там теперь миллионы лежат, тухнут?

Обив и вытерев руку о полушубок, он опять сел и опять замолчал. Потом тем же тоном, но уже спокойнее:

— Да. На нас, мужиков, как там глядят? Тычь его куда похуже, а нас, господ, не тронь, — мы высокого званья. А те пускай преют, этих дураков еще великие тысячи наделают. Сейчас вон опять берут, а зачем? Чтобы последних перебить? Вы, барин, — дерзко и громко спросил он, — вы нам уж откровенно скажите, какая ваша задача: чтобы нас всех перебить, а скотину порезать да в окопах стравить?

— Петр Архипыч, как тебе не стыдно? Ведь ты человек умный!

— Умный! — сказал он, несколько смутившись, и вдруг опять сдвинул брови и поднял тон:

— Вам хорошо говорить. А у меня вот сын два месяца ни одного письма. Где он теперь, что он теперь? Мертвое тело? А потом, как перебьют всех, вы что же будете делать? Приедете, конечно, к царю и скажете: «Погляди, государь, где твоя держава теперь? Нету тебе ничего, все чисто, одно гладкое поле!»

1916

Примечания

1

Большое спасибо (франц.).

[^^^]

2

Помни о смерти! (лат.).

[^^^]

3

И шумит, и гремит, и разверзаются небеса
(лат.).

[^^^]

4

Ни одного места без гения! (лат.)

[^^^]

5

«Смилуйся» — католическая молитва (лат.).

[^^^]

Прочь! (англ.).

[^^^]

Прочь! (итал.).

[^^^]

Да (англ.).

[^^^]

Вы звонили, синьор! (итал.).

[^^^]

Да, входите (англ.).

[^^^]

Уже умер (итал.).

[^^^]

Отправление (итал.).

[^^^]